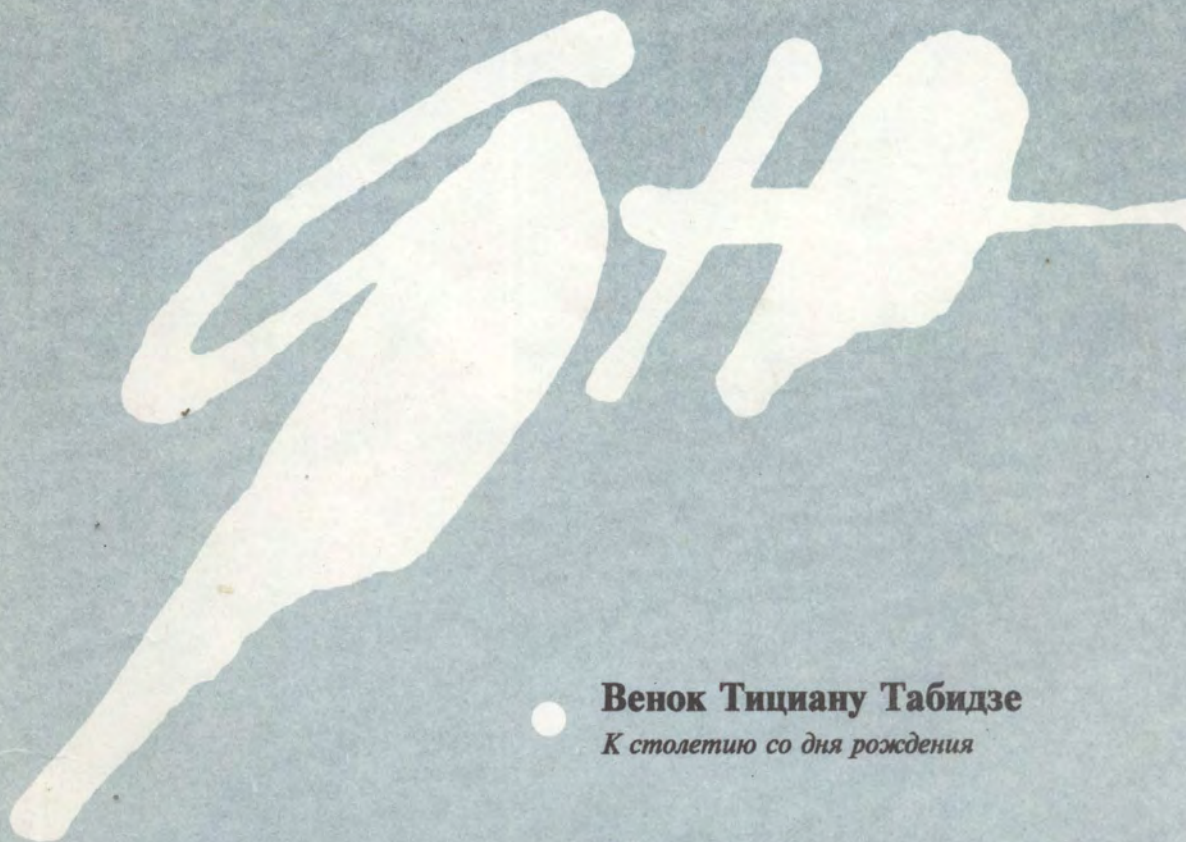




ДРУЖБА НАРОДОВ



• **Венок Тициану Табидзе**

К столетию со дня рождения

• **Иван Оганов**

Осень милосердия

Притча

• **Евгений Рейн**

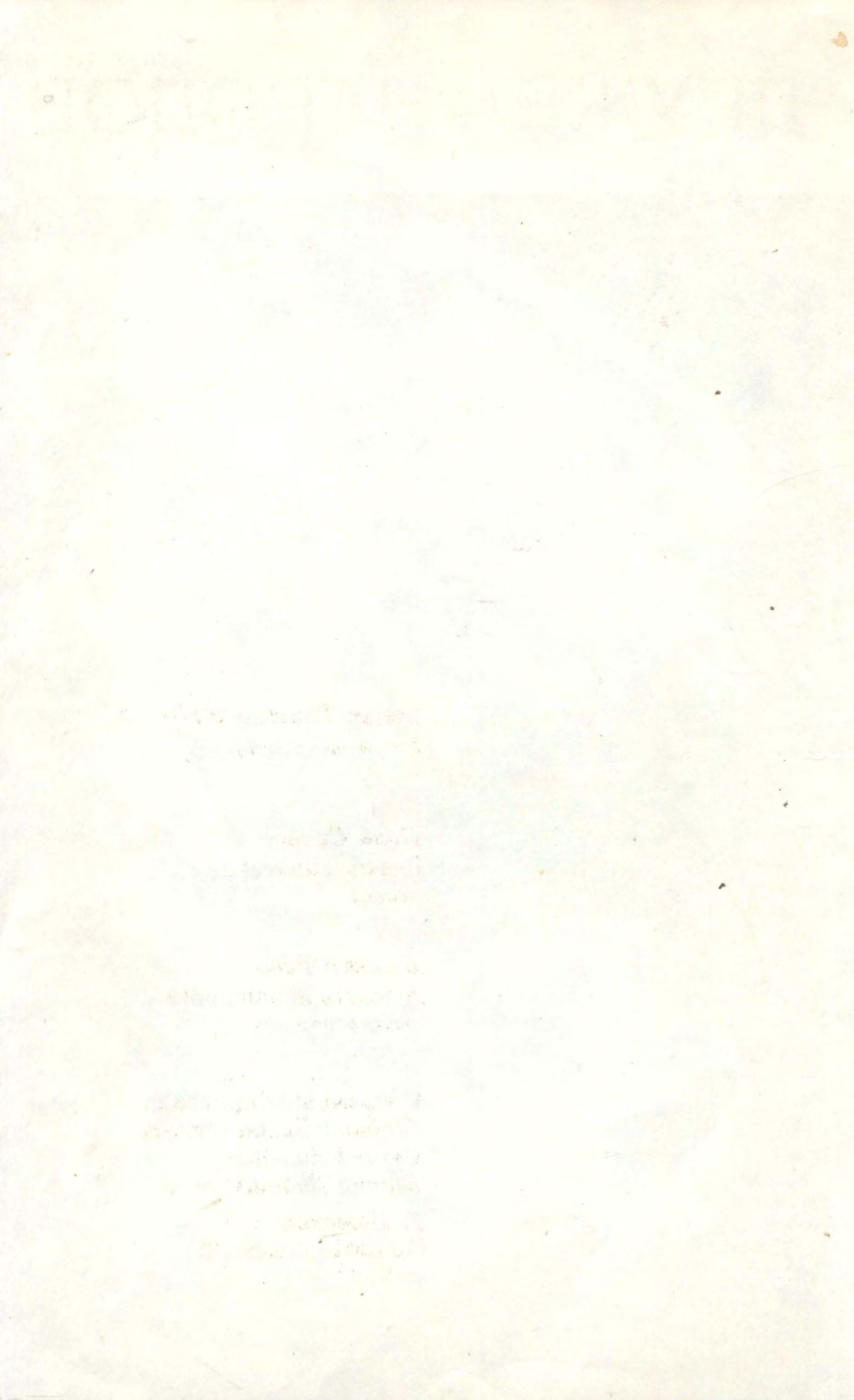
Дышать прошедшим...

Стихи разных лет

• **Современный рассказ**
Марина Вишневецкая,
Сергей Антонов,
Мария Войтишонок

• **Г. Померанц**
Одинокaя школа
любви

12'95



ДРУЖБА НАРОДОВ



Независимый
литературно-художественный
и общественно-политический
ежемесячник

12'95

Учредитель — трудовой коллектив редакции «ДН»

Основан
в марте 1939 года

СОДЕРЖАНИЕ

Венок Тициану Табидзе

Владимир ЛЕОНОВИЧ. Шум стихотворства и колокол братства	4
Юрий СУРОВЦЕВ. Открываю архивную папку...	7
Тициан ТАБИДЗЕ. Из литературного наследия	12

Проза и поэзия

Иван ОГАНОВ. Осень милосердия. <i>Притча</i>	20
Евгений РЕЙН. Дышать прошедшим... <i>Стихи разных лет</i>	41

Современный рассказ

Марина ВИШНЕВЕЦКАЯ. Архитектор запятая не мой	46
Сергей АНТОНОВ. Песня	54
Мария ВОЙТИШОНОК. От холодной стороны солнца. <i>С белорусского. Перевод В. Жиженко</i>	58
Олег ЗОЛОТОВ. Мужские собачьи канканы зимою. <i>Стихи</i>	68
Дмитрий СТАХОВ. Из цикла «Разбитая-бутылка-темного-стекла»	73
Лилли ПРОМЕТ. Мир, повисший на травинке. <i>Стихи. С эстонского. Перевод Елены Печерской</i>	91
Ежи ЖУРЕК. Казанова. <i>Роман. С польского. Перевод К. Старосельской. Окончание</i>	93

Публицистика

Мэлор СТУРУА. Сапожки царицы Тамары	128
Геннадий ЛИСИЧКИН. Есть ли будущее у России	152
Рудольф БАЛАНДИН. Вселенная живая и мертвая. <i>М. А. Волошин и В. И. Вернадский о двух синтезах Космоса</i>	162

Нация и мир

Шуга НУРПЕИСОВА. Вся власть — брахманам	143
П. НЕГРЕТОВ. Мелкодержавный национализм. <i>Письмо читателя</i>	186

Критика

Г. ПОМЕРАНЦ. Одиночная школа любви	173
------------------------------------	-----

Эхо

Лев АННИНСКИЙ. «Зона. Незабвенная шестая часть земли»	181
Содержание журнала «Дружба народов» за 1995 год	188
Summary	192

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

Начиная с № 7 этого года,
распространением журнала будет заниматься
агентство «Роспечать».

Ищите «ДН» в его каталогах.

Начиная с № 7, 7 тыс. экз. журнала «Дружба народов»
выписывает и направляет в библиотеки ряда стран СНГ
Институт «Открытое общество».

Главный редактор
Александр ЭБАНОИДЗЕ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Лев АННИНСКИЙ, Леонид БАХНОВ, Владислав ЗАЛЕЩУК, Наталья ИГРУНОВА, Владимир МЕДВЕДЕВ, заместитель главного редактора Бронислав ХОЛОПОВ

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Василь БЫКОВ, Альгимантас БУЧИС, Евгений БУДИНАС, Юрий В. ДАВИДОВ,
Тиркиш ДЖУМАГЕЛЬДЫЕВ, Нафи ДЖУСОЙТЫ, Иван ДЗЮБА, Фазиль ИСКАНДЕР,
Грант МАТЕВОСЯН, Геннадий ЛИСИЧКИН, Евгений ПОПОВ, Кнут СКУЕНИЕКС,
Константин ЩЕРБАКОВ, Атнер ХУЗАНГАЙ, Лев ХУНДАНОВ



Венок Тициану Табидзе

У каждого народа среди выдающихся сынов, в ряду избранных имен есть имена, любимые особо — тепло и просто, без робости, внушаемой титанами и небожителями; без надрыва, вызываемого трагическими обстоятельствами жизни и ранней гибелью. Так любит Грузия замечательного поэта Тициана Табидзе, столетие со дня рождения которого отмечает литературная общественность. И хотя его поэтический дар Борис Пастернак справедливо назвал «непомерным», а конец жизни, едва перевалившей за сорок, был поистине трагичен, поэт остался интимно и светло близок многочисленным почитателям. Видно, такова эманация открытой человеколюбивой души, не знавшей спеси и злобы. По ее велению, созвучному завету яснополянского старца, Тициан Табидзе раскидывал вокруг себя паутину любви, уловившую многих и многих. Не случайно к нему обращены бесчисленные строфы собратьев по перу; и через десятки лет после гибели он остался желанным

спутником, собеседником — чутким, бережным, отзывчивым. Среди нитей, связующих грузинскую и русскую литературы, Тициан Табидзе одна из самых прочных.

Но сердцу поэта были ведомы печаль и боль. Как открытая рана, мучили Тициана воспоминания о трагическом прошлом родного народа, залитые кровью страницы его летописей. Увы, в последние годы эти страницы пополнились новыми — давно Грузия не знала такой беды и смуты! В одном из ранних стихотворений Тициан сравнил себя с тростниковой свирелью, прижатой к губам отчизны, и с обезоруживающей искренностью воскликнул:

Чтоб час твоей печали минул,
Свободно мной располагай!

Сегодня больше, чем когда-либо, он нужен Грузии и России — любимый поэт, пример стойкости и терпимости, нравственная опора в поисках самостояния и взаимопонимания.



Владимир Леонович

Шум стихотворства и колокол братства

...Преследует, останавливает, ускользает то коренное и неуловимое в грузинской жизни и культуре, что я до сих пор не сумел схватить и выразить... — пишет за год до смерти Пастернак Георгию Маргвелашвили и оставляет кому-то в наследство эту заботу и тайну. Невольно примеряешь собственные откровения к этому коренному. Так в ответ на заметки Лихачева «О русском» Гурам Асатиани писал о сокровенном своем грузинском. Так, сойдя на платформу Навтлуги, перенимаешь тбилисский акцент и для грузинского феномена не хочешь русских слов, а пишешь: *цамеба, гадавардна, тависуплеба*... (Перевести это как мученичество, как полет очертя голову, как свобода — значит перевести н и к а к, и лучше этого не делать.) Так русская воля или русский авось останутся с нами как национальная мета, в каждом из нас обретая собственное толкование, проясняя личную память — результат пристрастий, случайностей жизни и чтенья.

Кажется, на девятом — если не на десятом! — десятке Микеланджело заметил, что начинает что-то понимать в своем деле. Стало быть, не убрался его гений в 90 лет и требовал еще век. Века...

Пастернак, убитый, допустим, в возрасте Тициана в 1931 году, не успел бы даже увидеть Грузию. Его проза, переводы, его могучий поздний возраст и нравственный пример, его стихи последнего двадцатилетия, его приговор системе как государственной подлости, его Голгофа — где бы все это было?

Нет-нет, это не арифметика на досуге и не упражнения с «если бы». Это боль народа, одаренного воображеньем и умеющего любить своих поэтов... Именно так.

Это наша история — та, которая посложней кибернетической мышки, бегающей по тропинке фактов, фактов, фактов. Чем ты занят с утра на свежую голову уже много-много лет? Только одним: несбывшееся воплотить. Твой день наполнен призраками, и пока друзья, которых ты оплакал, беседуют с тобой, пока сквозь гранитный цоколь спесивого особняка 30-х годов просвечивает снесенная церковка, пока в толчее вшивого рынка опора твоя — юношеские обеты бескорыстья, — ты еще жив.

Миха Квливидзе собирает друзей каждое новогодье:

*Отдаляются стены, и странно свежее, светает,
Мои гости широко рассаживаются кругом.
Позабывтое слово звучит, и веселье блистает,
И блестят и не тают снежинки — на одном, на другом...
Как скала в отдаленье стола возвышается Гогла¹ —
Первый гость на Москве, первый в Грузии тамада,
И глаголу его отзываются мерзлые стекла,
И Симон² мой, потупясь, улыбается, как всегда.
Звон бокалов наполненных, перезвон колокольных:*

¹ Георгий Леонидзе.

² Симон Чиковани.

*...Как пылкий дифирамб,
Все затмевая оптом,
Огнем садовых ламп
Тициан Табидзе обдан.*

*Сейчас он речь начнет
И мыслью — на прицеле,
Он слово почерпнет
Из этого ущелья.*

*Он курит, подперев
Рукою подбородок,
Он строг, как барельеф,
И чист, как самородок.*

*Он плотен, он шатен,
Он смертен, и однако
Таким, как он, Роден
Изобразил Бальзака.*

*Он в глыбе поселен,
Чтоб в тысяче градаций
Из каменных пелен
Все явственней рождаться.*

*Свой непомерный дар
Едва, как свечку, тепля,
Он — пира перегар
В рассветном сером пепле.*

Борис Пастернак

Это сдвинулось время, и вьюгой заносит Москву.
 Кто-то новый в прихожей — туда устремляется Гольцев¹,
 И оттуда идет горловое гудящее «уууу».
 Это взял он у вьюги, у смутных заводских предместий...
 Встали все. Заболоцкий сидит, опершись на кулак.
 Входят — быть им по смерти назначено все-таки вместе —
 Лара² — в черном до пят — и небесно-седой Пастернак.
 — Тициан не придет, он не может, он ищет могилу —
 Он прошел как слепой перед нами и канул в буран,
 И Паоло³ за ним, и еще... Но баллада погибла,
 Телевизор включили — и хлынуло время в проран...

То, что с нами случилось, медицина зовет фантомной болью. Куда же направился Тициан? Быть может, на площадь, где черные торцы в белых прошвах поземки сутулятся стеганой спиной. Быть может, там, на подсвешне Лобного места, уже горит Царь-свеча за упокой невинно убиенных. Тесен ему и некрепок Соганлугский овраг, куда их выкидывали, как падаль. Слава Богу, хоть Паоло, с ним и тут неразлучный, погребен по-человечески. Но до могилы, до самой ямы проводил его один Колау⁴ — остальные убоялись...

И вот теперь он преследует, останавливает, ускользает... Из порыва протянутых рук — постой, Титико⁵, генацвале! — рождается все и длится, и в частности, перевод. Вся природа, все твоё разумение, все твоё существо против пустоты твоих протянутых рук! Ты никогда не постигнешь, зачем убили этого большого, доброго человека с глазами ребенка, — зачем?? Ответ невозможен.

Зато понятно, почему гениально одаренный мальчик примерял рубаху мертвого Паоло и Тицианом подвигнут был на жертвенный труд поэтического перевода. Володя Полетаев не вынес собственного дара, но успел проявить мудрый вкус к грузинской культуре. От него можно было ждать нового русского Важа⁶ и такого высокогорного фольклора, который мог бы утолить нравственную жажду всего, не только русского, читающего мира. Одна только песнь о юноше и тигре, о двух осиротелых матерях, в порыве горя обнявшихся над телами неразумных своих детей, остановила бы чью-то жестокость... Но виновники войн стихов не читают.

Когда совершаются торжественные собрания с президиумами, некая сила уносит меня в некую область, из которой видна крошечная трибуна, человек на ней, горстка человечков на сцене и другая, побольше, в зале, и первая что-то внушает второй — пока остальное мирозданье остается ни при чем.

От участия в этих комических микродействиях Господь меня уберет, а демократическая мода изменила их форму. Помню из галактионовских торжеств 73-го, кажется, года пыланье граната в садах Вани и Чквиси⁷, красоту Ламары Абашидзе, дом Галактиона⁸, дом Тициана. Помню наказ Константина Симонова перед собранием в честь 80-летия Тициана: забыть, что был 37-й год. Помню Тбилиси с квартирой Ниточки Табидзе⁹ на Гогебашвили, фамильный дом,

¹ Виктор Гольцев.

² Героиня романа «Доктор Живаго».

³ Паоло Яшвили.

⁴ Колау Надирадзе.

⁵ Уменьшительное от «Тициан».

⁶ Важа Пшавела.

⁷ Село, где родился Тициан Табидзе.

⁸ Галактион Табидзе.

⁹ Танит Табидзе — дочь Т Табидзе.

Мы за стол садились неумело,
 Дружеству застольному учась.
 Мы не знали, время ли шумело,
 Ночь прошла или короткий час, —
 Только были мы белее мела.

Тут, конечно, в памяти провал...
 Тут, охрипнув, только бы добиться
 Слова у пирующих, вставал
 Со стаканом Тициан Табидзе.

Кроток сердцем, выдумкой богат,
 Как Крылов, дороден и спокоен,
 Говор останавливал рукой он,
 Начинал как будто наугад.

Шла раскачка речи полусонной.
 Но смолкали разом остряки
 От почти навзрыд произнесенной
 Пушкинской таинственной строки.

Павел Антокольский

теперь музей на Грибоедова, помню и могу рассказать это невозможное — воздух Города, где все-таки был мир татар, армян, курдов, ассирийцев, евреев, славян... Я тогда понял, что «всемирная отзывчивость», нам приписываемая классиком, есть вполне грузинская черта. И всегда со мной была Тициана хромая строка, две строки, да и вся пьеса — так! — исполненная широко, бравурно, вздохом, *гадавардна*... с подспудным тяжелым ритмом *марш фюнебр* —

*Если ты брат мне, то спой мне за чашею,
И пред тобой на колени я грянусь...*

Тут была удаль, открытая страсть и тот жест, с которым надо родиться... То-то Пастернак отводил душу в этих темах и вариациях, забывая *состенуто* своей русской музыки!

*...Здравствуй же, здравствуй, о жизнь сладчайшая!
Твой я вовек и с тобой не расстанусь...*

А в апреле 89-го я получил удар саперной лопаткой по голове — чтобы вспомнить всех насильников этого милого бесшабашного народа — и всю вину собственного. Быть может, такой, ударенный, я неправ, но империализм и шовинизм центра мне ужасны и отвратительны. Ответные крайности национализма меня не шокируют. Ты взвоешь не своим голосом, когда тебя опрокинут на пол и штиблетом наступят на мошонку.

*Он в гостинице швейцарит, в вестибюльчике царит,
бородой в ночи мерцает, дремлет — слушает и зрит.
Надзиратель в годы оны и теперь еще сексот,
отирает фальш-колонны, службу главную несет.
Со своим коллегой в паре он без дела не грустит
в ресторанном перегаре в холле бывшей «Мажестик».
Утром, стоя за хинкали, тосты дикие шепча,
душу греют, пьют, ракальи, за бессмертье Палача.
А словесности царица, проходя у фальш-колонн,
— Здрасссьте, дедушка-убийца! — делает ему поклон.
Он отпрянет деревянно: будто в темя обушком
тот поклон от Тициана вместе с царственным смешком.*

Бывшая «Мажестик» — теперь бывшая «Тбилиси», и гостит в ее номерах ветер. Дедушка-убийца, понятно, убрался, пора, а несравненная Белла¹, которую Тбилиси всегда носил на руках, да и сейчас, в сумерках сознания, не выронил, совсем недавно перевела еще несколько пьес Тициана. А на вечере в Петербурге этой зимой свои переводы читала Лиза Ахмадулина. (Торжественная часть была поручена скучному батюшке, почти замполиту, не в обиду будь сказано грузинскому питерскому братству, принимавшему нас, как подобало случаю.)

Помраченный Тбилиси. Опустевший. Отсеченный пропастью исторической вины и вряд ли гордый своими осетинскими и абхазскими делами. Все смешалось, всплыв из трехсотлетней давности и повершась самой свежей кровью.

Что ж. Тем строже наше дело, у кого оно еще не выпало из рук:

Шум стихотворства и колокол братства...

И рыдающая хевсурка в черном и воющая тигрица на скале — на высочайшей скале сострадания.

¹ Белла Ахмадулина.

*На Мцхету падает звезда,
Крошатся огненные волосы,
Кричу нечеловечьим голосом —
На Мцхету падает звезда!..*

*Кто разрешил ее казнить,
Кто это право дал кретину —
Совать звезду под гильотину?
Кто разрешил ее казнить...*

*Война — тебе! Чума — тебе,
Убийца, выведший на площадь
Звезду, чтоб зарубить, как лошадь.
Война — тебе! Чума — тебе!*

*На Мцхету падает звезда.
Уже не больно ей разбиться.
Но плачет Тициан Табидзе...
На Мцхету падает звезда...*

Юрий Суровцев

Открываю архивную папку...

Грузинской литературой я стал заниматься в 1953 году, работая в «Литературной газете»; с тех пор она стала любовью на всю жизнь.

В далеком — страшно подумать: почти сорок лет назад! — 1957 году я задумал статью о реабилитированном «оттепелью» замечательном поэте Тициане Табидзе. Незадолго до того публикацией в «Литгазете» Ираклий Абашидзе вернул на «общесоюзном» уровне доброе имя Михаилу Джавахишвили, Тициану Табидзе, Паоло Яшвили. Редактируя его статью, я прочитал многое из доступного и, скажем так, полудоступного об этих писателях. Но теперь выяснилось, что доступного недостаточно, а спецхран и в годы «оттепели» держали на замке.

Опирались надо было на грузинских друзей. Мне помогли тогда Г. Маргвелашвили и Г. Асатиани; много дали откровенные беседы — о Тициане, «Голубых рогах», об особенностях грузинской поэзии и грузинского менталитета — со старшими в поэтическом созвездии Грузии: Георгием Леонидзе, Симоном Чиковани, Шалвой Апахидзе, Ираклием Абашидзе. Им я обязан знакомством с вдовой Тициана — Ниной Александровной Табидзе, она и сыграла решающую роль в том, что моя работа о «вехах творческого пути Тициана Табидзе» была написана, а затем и опубликована сначала по-грузински, а потом и порусски в Грузии и в Москве.

Нина Александровна Табидзе была человеком завораживающе прекрасным — и внешне, и духовно. Ее рассказы о Тициане, о Пастернаке, о жизни грузинской интеллигенции в страшные бериевские годы открывали мне мир поэта, и открывали так, как никто не мог бы этого сделать.

Угол в одной из комнат квартиры выше середины стены был занят... боже мой, сколь уместной оказалась нерасторопность тогдашних грузинских литературоведов и архивистов (настоящих и тех, «в штатском»), которые после реабилитации Т. Табидзе небрежно-быстро вернули вдове большую часть архива поэта. Тут были черновики, наброски стихов, масса машинописных копий, вырезки из газет и журналов с конца десятих до середины трагических тридцатых годов, обширнейшая переписка. Нина Александровна при мне разбирала эту гору. Отобрала в отдельную стопку то, что написано было Тицианом по-русски, — этим языком поэт владел свободно (чувствовалась выучка «предоктябрьского» филфака Московского университета). Всеми этими материалами я распоряжался — по решению хозяйки — «как хотел», а некоторые грузинские тексты она сама переводила для меня.

Когда же статья вышла из печати, Нина Александровна сделала мне царский подарок — подарила ту самую папку материалов, из которой теперь малая толика публикуется в «Дружбе народов».

Сорок лет прошло, но в памяти отчетливо сохранилась картина: большой стол, высокий шкаф, на верху которого, поражая размерами, стоял медный тульский самовар, впрочем, бездействовавший («...подарок Тициану, ценимый, но редко употребляемый в дело, — так она и сказала, помню, «в дело», — грузины чай больше выращивают, чем пьют...»); бумаги, которые Нина Александровна переносила на стол; мои конспекты и записи на столешнице... слышится ее глубокий голос. Тогда я впервые узнал, кем были для Пастернака Тициан и Нина Табидзе (письма Бориса

*Прекрасный Тициан любил гвоздику.
Держа в руках, как знаки лучшей власти,
и пиришественный рог, и золотую книгу,
он родину благословлял на счастье.*

*И умолкал — и слушал: отзовется...
Тогда листва без ветра лепетала
и красная гвоздика — искра солнца —
на грудь избраннику слетала.*

*И помнят: против сердца неизменно
алел цветок любимый Тициана.
И постепенно, постепенно
ему навстречу расцвела рана.*

*... Не говорю: судеб предназначенье.
Гвоздиками цвела — какая свалка?
Не выберу — ни мести, ни прощенья.
Мне — совестно. Мне — Тициана — жалко.*

Шота Нишанидзе

Леонидовича, его признания в любви появились в печати куда позже); узнал я о том, что портрет Тициана Пастернак и в страшные годы носил в медальоне на груди, узнал о помощи, которую оказывал Нине Александровне Борис Леонидович после гибели друга.

В нынешней публикации перепечатывается из журнальчика, выходившего в Тбилиси на русском языке перед «советизацией», небольшая статья Тициана о творческой группе «Голубые роги». Она написана рукой уверенного в своей правоте, широко мыслящего критика, теоретика, по-сегодняшнему сказать, культуролога. Тут скрыт парадокс, который, пожалуй, небезынтересно осмыслить. Едва ли не все, кто писал о Тициане-лирике, восхищались непосредственностью поэтического переживания и выражения; его стихи — это, по его собственным образным определениям, горящий трут, для которого не нужно кресала... стих-«порыв», «обвал лавины». Знаменитое: «Не я пишу стихи...» — конечно, звучит по-русски как стихи пастернаковской чеканки. Но пастернаковская переводная строка точно передает то качество лирического стиля Табидзе — стиля мгновенной, но и как бы постоянно настроенной на это душевной реактивности, — которое, как толковал мне, комментируя подстрочник, Гурам Асатиани, заключено и в грузинском оригинале. Такие разные по индивидуально-человеческим характерам, эти поэты чувствовали друг в друге двойников поэтических. Еще, из «угла» взятое, читал я письмо Пастернака (потом в Литературном музее Грузии в Фонде рукописей оно получило N 20 897), где сказано по-пастернаковски многозначно: «Он слишком близок мне...»

Другой переводчик Тициана на русский — Павел Антокольский — характеризовал лирику грузинского собрата как «свободно выразившее себя сильное чувство. Отсюда широкое дыхание поэта, его смело

меняющаяся интонация, не подчиненная никакому заранее предугаданному плану». А С. Чиковани напомнил в связи с этим лирическое кредо Тициана, которое передавалось грузинским словом «гадавардна», что означает «бросаться очертя голову».

И вот он, парадокс: человек такой непредсказуемой лирической импульсивности, человек безудержной непосредственности, берясь за работу критика, становится совершенно другим. Нет, его критическая проза тоже эмоциональна, насыщена символической образностью, но не может не броситься в глаза четкость общей структуры, даже самой малой статьи, забота об историко-культурной и логической аргументированности любой параллели, аналогии, сравнения фактов грузинского поэтического опыта с русским, французским опытом (их Тициан знал детально!), вообще «западным», вообще «восточным» контекстами.

Такой «второй» Тициан, Тициан-критик, Тициан-воспитанник Московского университета, Тициан как хранитель и толкователь культуры, обладал этими качествами, старался ими руководствоваться уже с самых начальных шагов, со статей, выражавших самосознание группы молодых кутаисских поэтов-бунтарей, взявших для своей группы символистско-экзотическое название «Голубые роги».

Этот певец «экстатического воспоминания», обладавший «поэтическим ясновидением» — так называл Тициана «старший» из «голубороговцев», Григол Робакидзе (цитирую из той же папки, взяв статью Робакидзе «Грузинский модернизм», — журнал «Ars», 1918, № 1, с. 50), — этот «грузинский Блок, если возможен Блок в Грузии» был в своих теоретических и критических суждениях не велеречив и субъективен, как сам Робакидзе, а уж, скорее, действительно по-блоковски четок и точен. В лирических масках цикла «Халдейские города», вызвавшего у Робакидзе восторг, а у «младшего» «голубороговца» Гоглы

*Подъем Чавчавадзе опять
вспоминается мне.
Опять растревожена память старая рана.
Дом по Грибоедовской.
В полуприкрытом окне —
что там промелькнуло —
тень тополя? тень Тициана?
Подъем Чавчавадзе опять окликает меня.
И память меня обступает так тесно,
как город,*

*где он появлялся в разгаре
грузинского дня, —
гвоздика в петлице,
свободно распахнутый ворот.
Сегодня я думаю:
чем становился поэт,
когда непогода и души и кости дробила?
Мне всю судьбой Тициан посылает ответ:
глазами следя навсегда ускользающий свет,
останься собою и светом останься для мира.*

Леонидзе «ощущение исторического простора», было немало наигранного, лучше сказать, осознанно-игрового, но и в стихах самых ранних пробивалась всерьез, можно сказать, по-современному, культурологически поставленная «национальная тема», мессианская, но без провинциального самодовольства, тема Грузии, соединяющей «Запад» и «Восток» на собственной почве: «Мной взращен цветок Хафиза в вазе треснувшей Прюдома...» И все же в таких всплесках-откровениях много импрессионистичного. В статьях — в том числе и печатаемой здесь «голубороговской» — Т. Табидзе строг и логичен.

Думаю, безынтересно будет привести отрывки из других статей того, «голубороговского», времени, написанных по-грузински (их перевод записан мной под диктовку Н. А. Табидзе и Ш. Н. Апахидзе).

20 декабря 1915 года газета «Сакартвело» (№ 173) напечатала статью студента Т. Табидзе «Прислуга и богема». В ней излагается привычная для символистов позиция: художник свободен, его труд — бескорыстен, общество этого не понимает, заставляя художника или быть «прислужкой», или находить себе пропитание, возможность жить, занимаясь не своим, не художника, делом. Так, великий Илья должен был служить в банке, в отличие от Акакия, который, не будучи богемой в душе, «жил жизнью богемы».

Статья «Грузинское искусство в 20-м году» («Сакартвело», 1921, № 8) резко критична по отношению к «меньшевистской власти»: она мнимо патристична, по сути, неревOLUTIONна, обывательско-мещанская. Власть, допустившая, чтоб «на проспекте Руставели немцы играли Вагнера», хочет — в обстановке, когда бушует ветер революции, «примчавшийся из Петербурга», — остаться «ни горячий, ни холодный». «Ни вправо, ни влево, сидеть посередине — вот сегодняшняя формула банальности. Под этим знаком инерции живет Грузия сегодня». И по этой причине

выпадает из современности. «Воинствующий коммунизм задыхается в собственном огне: мир еще не видел такого страдания и такого пафоса, как в русской революции». В том числе — страданий и пафоса русской эмиграции: это «новый библейский исход». А Грузия? Она изменила себе. Власть не поняла: «Мы раньше русских были миссионерами революции», теперь же кемалистская Турция и та обогнала нас в революционности...» Критика политики, как видим, эстетическо-этическая. «Революционность» тут скорее состояние национального и общечеловеческого духа. Но существенно, что отнюдь не на внутрилитературный фон проецируется литературное бунтарство «голубороговцев».

В том же двадцать первом году в предисловии к сборнику «Революция и поэты» Тициан писал: подобно французской и русской литературам, грузинская тоже продолжает традицию революционности, борьбы, неприятия старого во всех его видах. «Грузинские поэты думают так, что национальная свобода зависит от социального освобождения и защиты революции. Это и есть защита национальной идеи, потому что при освобождении труда освобождается и народ».

А через полтора года (газета «Баррикады», статья «Голубые роги» спустя восемь лет) у Тициана Табидзе не случайно возникли аналогии с Апокалипсисом.

Стоит вникнуть в несвойственную обычно Тициану сумятицу чувств, вырывающихся из-под логически четкой конструкции статьи: да, «Голубые роги», взволновав всю Грузию» своим литературным восстанием, твердо стоят на ногах и сейчас, тем паче выдвинув лозунг «возвращения к земле» (в смысле приобщения к «национальной почве»), «голубороговцы» и по сей день стоят «вызывающие, отрицающие, создающие». Впрочем, насчет последнего — дело сложно. И другие творческие движения, и они, «крестоносцы революции», перед ее новой реальностью если

*Склон Удзо высокой луной осиян.
Что там происходит? Размолвка, помолвка
у соловьев? Как поют, Тициан!
Как майская ночь неоглядна, Паоло!*

*Вином не успел я наполнить стакан,
не вышло! Моими слезами он полон.
Во здравье, Паоло! За жизнь, Тициан!
Я выжил! Зачем, Тициан и Паоло?*

*Вином поминальным я хлеб окропил,
но мне ваших крыл не вернуть из полета
на грешную землю, где горек мой пир.
Эгей, Тициан! Что мне делать, Паоло?*

*Пошел бы за вами — да бог уберег.
Вот вход в небеса — да не знаю пароля.
Я пел бы за вас — да запекся мой рот.
Один подниму у пустого порога
слезами моими наполненный рог,
о братья мои, Тициан и Паоло...*

Георгий Леонидзе

и не спасовали, то обнаружили н а и в н о с т ь (слово настойчиво акцентируется автором). «Создать пафос революции (я переспрашивал: создать? Ш. Апахидзе отвечал: да, поэтам надо было не просто «отразить», но создать, сформулировать ее пафос! — Ю. С.) не сумели и они, «крестonosцы революции», умеющие действовать разве что «динамитом». «При настоящим разливе революции все это («голубогороговские» программы. — Ю. С.) оказалось наивным. Если раньше Акакий Церетели, фигурально говоря, был превращен в икону, то сегодня настоящие иконы побросали в воду, в селах позакрывали церкви — так у кого сейчас есть время защитить традиции поэзии? Сегодня в Грузии происходит такая перестройка, что ни один левый поэт не смог бы пойти так далеко».

Думаю, что только невнимательное ухо не услышит здесь сложного д и с с о н а н с а чувств автора, недаром начавшего свою статью ссылкой на любимого Андрея Белого, на его символику революции как продолжающейся бури, «унять» которую не известно как и чем, это — птица, рождающая яйцо какого-то нового мира, который пока невозможно представить...

В рукописи то ли статьи о Белом, то ли приветственной речи в связи с его приездом в Грузию (в конспекте только отдельные фрагменты и фразы завершены) настойчиво проводится мысль о «катастрофе культуры», о трагичности мира и восприятия мира художником. И используется еще один символ-образ, из лекции Белого: «Двигается поезд, машинист которого обезумел, поезд мчится с адской скоростью, а машинист только сопровождает его к месту катастрофы». Пассажиры об этом не знают. Из вагона «выглядывает Ибсен, почуя тревогу, но только лишь почуя, да Гоголь и Достоевский, а мы прибавим — и Андрей Белый в мертвой хватке сцепляются с обезумевшим машинистом».

Это отнесено Тицианом к Белому как

автору «Петербурга», но символы живут своей куда более широкой и долгой по смыслу жизнью.

Во всяком случае, Грузия, свернув с «полпути меньшевистского мещанства» не сумела «уберечь себя от коммунистического прорыва»...

Я не намереваюсь здесь говорить о том, какие вехи обозначили дальнейший путь Тициана Табидзе, как происходила «советизация» его творческого и политического сознания. Скажу лишь о том, что его, как и многих писателей, начавших творческую работу в досоветские времена, представления о с о в е т с к о с т и расходились с официальными, с годами все более враждебными гуманности, культуре и свободе. Довольно робко высказанная поэтом вера в то, «что идеологическая борьба не будет подменяться голым администрированием» (со ссылкой на грузинских критиков-работчиков и критика-«администраторщика» Керженцева в Москве), рухнула. Его речь на Первом Всесоюзном съезде писателей, где была эта вера выражена, производит такое впечатление, будто выступает человек о г л я д ы в а ю щ и й с я. Тициан сказал много верного, умного, тонкого, но общий тон речи — оправдывающийся¹. Ведь в официальном докладе о грузинской лите-

¹ Обоснованность такой тревоги, необходимости «оправдываться» тонко и заранее, еще до разгула террора в отношении грузинской интеллигенции, почувствовал Борис Пастернак. Предсъездовская переводческая бригада, возглавлявшаяся П. Павленко, работала в Тбилиси напряженно, много, с охотой. Московские писатели принимались коллегами на ура, с щедростью и вниманием, в том числе и со стороны лиц официальных. Но Пастернак, при все том, «чувствовал себя неважно». И тому были, как он писал в письме к жене 17 ноября 1933 года, «местные причины»: «...параллельно с нарастающим моим убеждением в общем превосходстве Паоло и Тициана я встречаюсь с фактом их насильственного

*Я не успел застать живыми вас.
В провидческом каком-то упованье
я, поднимаясь в горы,*

*каждый раз
искал следы, оставленные вами.*

*Здесь вы ходили с облаками вровень,
и подпевали эти птицы вам.
Я перед вами,*

*мертвыми,
виновен,
Паоло, Михаил и Тициан.*

Но нет, —

*неправда правду не обманет
ни действием,
ни сутолокой фраз.*

*Он понимал, что все на место встанет,
лишь виду не показывал —*

Кавказ.

*С его травой пахучей на ботинках
здесь вы прошли у каменной гряды,
и снова проступают на тропинках
дождем враждебным смытые следы.*

ратуре на том же съезде высказано было зловещее сожаление: бывшие «голуборовцы», «так быстро развивающиеся в сторону социалистической поэзии», остаются «в положении литературного попутничества».

И все же две важные темы творческой позиции Табидзе — и как поэта, и как литературоведа — были заявлены отчетливо.

Первая — несогласие с упрощенчеством, которое иными ораторами на съезде считалось адекватным понятию «народность»: к чести грузинских делегатов, все те из них, кто выступал, такую концепцию опровергали, объединяя понятия «служение народу» и «высокая культура».

И вторая тема — та, что неразрывно связана была с гуманистическим, демократическим понятием «советскости», — это интерес к литературам «братских республик», борьба за равноправие в связях между ними, невозможность и неприятие какого-либо, — а по сути, провинциально-самодовольного, — сепаратизма в области любого национального художественного творчества.

исключения из списков авторов, рекомендованных к распространению и обеспеченных официальной поддержкой. Я бы тут преуспел, если бы от них отказался. Тем живее будет моя верность им». Верность свою Борис Леонидович доказал делом. Но тучи сгустились. Антиэстетичность времени нарастала, как и его аморальность, — и вот в письме от 1 октября 1936 года Пастернак так делится трагической радостью по поводу выхода книги Тициана на русском языке: «...появление Вашей книги освежает весь воздух в литературе, напоминает о поэзии, о том, что водились такие люди когда-то, поэты, и вот, как это ни невероятно, один еще уцелел, один на весь союз. Честное слово, этой радостью делюсь именно в таком духе» (у меня в папке письмо это отмечено номером рукописного фонда Литературного музея Грузии, № 209 000). Недолго длилась эта радость, «не уцелел» вскоре и «один на весь союз» поэт...

Об этом — несколько слов в конце моих заметок. И тоже — с «заглядыванием» в архивную папку.

Известно, как хорошо знал Тициан русскую поэзию, русскую историю — его суждения на этот счет всегда глубоки, взволнованно уважительны и лично-оригинальны. Пушкин — это его вечный спутник, его на всю жизнь любовь и предмет постоянного интереса как исследователя и эссеиста. Тициан — один из первых, кто с чувством национальной грузинской гордости целеустремленно разрабатывал тему «Кавказа как очага свободлюбивых, демократических, гуманистических мотивов в русской литературе» — от Грибоедова и Пушкина до советских русских поэтов. «...Лозунг нового искусства, национального по форме и интернационального по содержанию, нужно укрепить творческими фактами», — пишет Т. Табидзе, понимая под «интернациональным содержанием» в переиначенной сталинской формуле «общность задач и интересов» разных народов страны, разных культур. И еще: взаимную их заинтересованность друг в друге как непереносимое условие их культурности. Должен прийти конец, настаивает поэт, «небрежно невнимательному отношению к культуре ранее угнетавшихся наций, подходу «старшего» брата к «младшему», ибо в такие формы часто маскируются те же «великодержавность» и национализм...» (затрудняюсь дать точную сноску, в моей папке — бездатная вырезка статьи из газеты «Заря Востока» под скучным редакционным названием «Культурное сближение народов Закавказья»). Это июнь 1930 года. И сегодня, когда рухнул СССР, давно исчезла ЗСФСР, когда «карабахская», абхазо-грузинская, югоосетинско-грузинская, осетино-ингушская и страшная чеченская раны терзают тело многонационального, поликультурного региона: Кавказа — Закавказья — Юга России, — это звучит все так же актуально.

*Сны о Грузии — вот радость!
И под утро так чиста
виноградная сладость,
осенившая уста.*

*Ни о чем я не жалею,
ничего я не хочу —
в золотом Свети-Цховели
ставлю бедную свечу.*

*...Пусть всегда мне будет в новость
и колдует надо мной
милой родины суровость,
нежность родины чуждой.*

*Что же, дважды будем живы —
двух неимоверных стран
речь и речь нерасторжимы,
как Борис и Тициан.*

Белла Ахмадулина

Тициан Табидзе

Из литературного наследия

Грузинская поэзия

«Голубые Роги»

Писать о грузинской поэзии — значит писать о поэтах [группы. — Ю. С.] «Голубые Роги». Проходит четвертый год после издания первого номера журнала «Голубые Роги», но шум вокруг него не ослабевает; не было в Грузии другого литературного события, которое вызвало бы столь страстные споры и столь продолжительный интерес.

Надо думать, что затяжной характер борьбы объясняется тем, что в литературном споре отсутствовала традиционная школа поэтов и вызов приняла сама публика, а обыватели и по сей час не чувствуют себя побежденными, составляя живучую оппозицию во всех выступлениях новых поэтов. Поэты же, которых привыкли раньше называть модернистами, поняли всю эфемерность своего положения и очень прилежно учатся у «Голубых Рогов», перенимая у них манеру письма, но старые привычки и врожденная склонность к банальности мешают тому, чтобы хоть один возвысился до настоящего, и надо предполагать, что все усилия ни к чему не приведут и их дело безнадежно проиграно.

«Голубые Роги» вышли в 1914 году, в самый разгар войны. К тому времени символизм уже закончил свой цикл развития и боевая когда-то школа все больше замыкалась в академический круг. Победная атака футуристов еще более ускорила это замыкание, и вскоре два поколения поэтов очутились в разных лагерях. В



это переходное время пришлось в Грузии выступить новым поэтам и не могла эта двойственность не отразиться на их выступлении. Русским футуристам было с кем и с чем бороться, они многому научились у символистов, между прочим и методам литературной борьбы, — откуда понятно их отрицание.

В Грузии полоса влияния символизма прошла бесследно; та культура стиха и богатство литературных идей, чем знаменовался символизм повсюду, отсутствовали в Грузии, нужно было начать сначала и пройти непройденный путь.

Инициативу взял на себя только что вернувшийся из Парижа поэт Паоло Яшвили. Он из всех поэтов, примкнувших к «Голубым Рогам», был наиболее свободен от рутины традиционной грузинской поэзии, и кроме того, на его глазах в Париже пронесся Маринетти.

Паоло Яшвили и мне равно пришлось разделить идеологию новой школы, что почти всегда бывает навязанной, как об этом говорит и Валерий Брюсов. Манифест Паоло Яшвили больше подходит к футуризму, там отрицание выставляется как единственный тезис, хотя в контексте оно и смягчается немного, прославляется оргиазм творчества и, главным образом, обрушивается на прежних поэтов.

Мне пришлось обосновать новую школу и вскрыть ее содержание. Я проследил творчество грузинских поэтов 19-го и начала 20-го века и доказал, насколько эти поэты отступили от подлинной поэзии, если взять за исходный путь творчества творчество символистов. Вместо «*nihiil*» я сказал «нет» поэтам XIX века и извлек из забвения поэта Бессики, как французские поэты Ронсара, а русские — Тютчева.

За эти четыре года новая школа уже успела выявить свой творческий путь, и он определенно клонится к футуризму. Сейчас готовится издание третьего выпуска журнала, в котором и будет помещена декларация новой школы и «Манифест к Азии». Здесь будут подведены итоги за четыре года идеологического искания. Можно заранее сказать, что этим положена большая победа. Есть полная аналогия между поэтической и политической жизнью Грузии. Потребность создать собственное государство заставила революционный грузинский народ остановиться на полпути меньшевистского мещанства и уберечь себя от коммунистического прорыва. Отсутствие творческого наследия символистов в Грузии помешало школе «Голубые Роги» сначала же определиться в футуризм; но многие пробелы творчества уже заполнены и грузинские поэты в революционности опередили свой народ; об этих достижениях скажет последняя книга стихов «Голубые Роги».

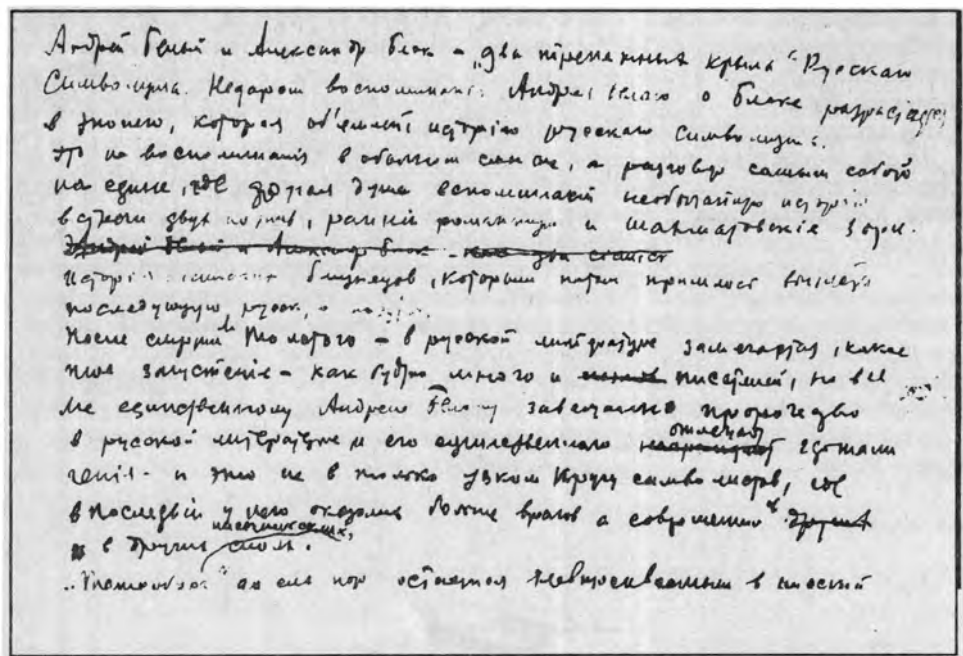
«Куранты», 1919, № 2



Об Андрее Белом

Среди черновых набросков статей и выступлений Тициана Табидзе, переданных редакции «ДН», особенно интересными и значительными нам показались его слова об Андрее Белом. Из этого наброска видно, как хорошо знал Табидзе русскую культуру и особенно литературу, как глубоко интересовался ею, как высоко ценил.

К сожалению, черновик сложен для расшифровки: почерк нелегок, иные слова остались недописанными. Тем не менее мы рискнули прочитать эскиз статьи или речи, которые, очевидно, связывались с приездом А. Белого в Грузию и относились, по нашему осторожному предположению, к 1934 году.



Андрей Белый и Александр Блок — «два трепетных крыла» русского символизма. Недаром воспоминания Андрея Белого о Блоке разрастаются в эпопею, которая объемлет историю русского символизма. Это не воспоминания в обычном смысле, а разговор с самим собой наедине, где добрая душа вспоминает необычайную историю встречи двух поэтов, ранний романтизм и шахматовские зори. История сиамских близнецов, которым потом пришлось вынести последующую русскую поэзию.

После смерти Л. Толстого в русской литературе замечается какое-то запустение — как будто и много писателей, но все же единственному Андрею Белому завещано пророчество в русской литературе, и его единственного отмечают чертами гения — и это не только в узком кругу символистов, где впоследствии у него оказалось больше врагов, а в совершенно других писательских слоях. «Петербург» до сих пор остается [неповторимым?] в русской литературе, Вячеславу Иванову показалось, что в петербургских рассказах Гоголя он нашел ключ к стилю «Петербурга» и вообще творениям А. Белого — но теперь для всех становится яснее, что А. Белый открывает совершенно другие шифры письма, неизвестные доселе. Влияние А. Белого на современную русскую прозу уже нельзя назвать влиянием, это порабощение всех, и вряд ли найдется сейчас писатель в прозе, который не прошел бы [сквозь?] А. Белого, как раньше проходили [сквозь?] Гоголя и Достоевского. Мне недавно пришлось вычитать в одном журнале, что подготавливается книга о Хлебникове, в этой книге доказывается, что футуристы всех формаций — «нахлебники Хлебникова», мне кажется, что это трудно будет доказать, во-первых, потому, что сам Хлебников косноязычным лег в могилу, а во-вторых, потому, что очень сомнительны произведения оставшихся футуристов, чтобы в них выкристаллизо-

валось мутное начало Хлебникова. Но (с) гораздо большим правом последующих писателей-современников можно назвать нахлебниками А. Белого, но нужно прибавить, что кормится этим хлебом очень многое, что в них окрашено эпигонством.

Для Андрея Белого символизм никогда не был фетишем. Как всякий ищущий духа, он искал новых откровений, и никак нельзя его вывести из ортодоксального (?) символизма. «Биология теней» ведь еще не изучена, а именно биологией теней был занят Андрей Белый.

В России еще не было писателя, который был бы так творчески подготовлен к октябрьским потрясениям, как Белый.

Александр Блок и Андрей Белый с раннего творчества почуяли новое землетрясение — в музыке этот путь проделал Скрябин. Мессинское землетрясение¹ было лишь прелюдией этому великому пролому [прологу?].

Нам кажется, что эта созвучность эпохе больше [богаче?], чем всякая «попутническая» срединность, в этом есть и «маленькое (?) неудобство» профессионала-писателя, а ведь как будто и знаем, что величие, правда, имеет свои неудобства.

В последнее время Андрей Белый на одну треть остается непопутным [непонятным?] и для писателей, очевидно, он ищет суть новых шифров и новых симфоний, но ведь литература-то идет по его магистрали, и всякий немеренный документализм (?) В. Шкловского и даже И. Эренбурга в своей прозрачности тянет такую пустоту, что раньше всех им самым страшно. Ведь и Андрей Белый не скрывает кризисы: ведь достаточно прочесть названия его книг [.....?], чтобы понять, в каких дебрях приходится ему работать.



В оформлении использованы: портреты Т. Табидзе, выполненные П. Яшвили и К. Зданевичем, а также фрагмент автографа заметок об А. Белом.

¹ Одно из самых мощных в XX веке землетрясений, от которого пострадал г. Мессина на о. Сицилия. Произошло в 1908 г.

Из книги «Автопортрет»

С грузинского.

* * *

Перевод Натальи Соколовской

Ни молнии, ни ливень проливной,
Ни этот мир, где злые ветры дуют,
Они не смогут справиться со мной:
Не окольцуют и не околдуют.

Пусть буйствуют! Я обращусь назад,
Туда, где не слышны грозы раскаты.
Там зазвучал опять фруктовый сад,
Который голос ставил мне когда-то.

Между 1909 и 1914 гг.

Сонет поэта

Все кончится. Всему придет конец.
И не останется на свете очевидца,
Который описал бы наши лица
В тот час, когда срывали с нас венец
Любви, что не смогла осуществиться.

Кто станет вспоминать, как жили мы?
Как мы любили — вспомнят ли об этом!
Но для того, чтоб вырвать нас у тьмы,
Воображение мучает поэтов.

Надгробьем нашим станет нам Сонет.
Он воскресит и озарит слезами
Все, что для вас давно сошло на нет,
Но животрепетало между нами.

А под конец попросит он Творца —
В бездушных буднях и бессрочных битвах
Поэтов беззащитные сердца
Не обходить в живых Своих молитвах.

Октябрь 1915

Сезон в Орпире

Река гниет, как труп Левиафана.
За родниками следом — не спеша
Уходят аисты. Сгибается душа,
Как ветвь орешины. И вечерет рано.

Лишь донкихоты пасмурных болот —
Худые аисты, да в разоренных гнездах
Лягушки зябкие... И никого. И вот
Октябрь приходит в воспаленных звездах.

На дилижансе прибыл он сюда.
Привез простуды, ухмыляясь едко.
О, родина моя, моя беда,
Ты замерзаешь, как зимой наседка.

И над вселенской грязью наших мест
Лотреамона жаба тонко плачет.
Орпирская земля несет свой крест.
Она — земля, ей не дано иначе.

Земля Орпири, окажи мне честь,
Прими меня, как я тебя приемлю.
...Всем пантеонам, что на свете есть,
Я предпочту болот орпирских землю.

Апрель 1919

Орпири

Да где ж они, все эти двадцать лет?..
Опять лежу ребенком на подворье.
Еще своих не оставляли мет
На лбу моем ни радости, ни горя.
В озера опускается закат.
Как Саваоф, застыла Нарикала.
И вид окрестностей замысловат:
В нем узнает ошеломленный взгляд
Тамары достопамятный наряд —
Над этим платьем десять лет подряд
Сто мастериц голов не подымало.

Поэзия, втяни меня, втяни
В могучее свое коловращенье.
...Как я люблю глаза открыть в тени,
Как женственно листвы прикосновенье.

Меня терзает неба высота!
Холодный блеск светил изводит зренье!
Стихи со мной лукавят неспроста
И вызывают вновь сердцебиенье.

Чем безыскусней скажешь, тем скорей
Твои слова другим придут на помощь.
...И яблоневою белизной своей
О грудь мою уже разбилась полночь.

В прожилках небо. Ни души на свете.
Под утро непременно будет ветер.

Тбилиси
20 февраля 1926

Не удивляйся

Не удивляйся, если вдруг услышишь,
Что Тициан молчит уже давно.
Я раб мечты. Когда мечтою дышишь,
Все прочее забыть немудрено.

Сегодня я не стану лицемерить:
Мне нравился когда-то дадаизм.
Терзался я. И можешь мне поверить,
Что в этом раздвоенье был трагизм.

Как эшафот — Халдея... Наважденье!
Плач неба надо мною не затих.
Невозбранимы сердцу заблужденья.
И я поддался одному из них.

Вихрь пролетел у нас над головами.
Я только нынче начинаю жить.
Нельзя огонь пересказать словами,
Как пригоршнею море осушить.

О, детский мир былых стихотворений:
Где истина, где фарс — не разобрать...
Под натиском внезапных откровений
Я начинаю новую тетрадь!

15 июня 1926

Из Соганлуга

А Кура — колыбельного тише напева.
Только здесь, у Метехи, разгуляться не прочь.
И луна разлеглась безмятежно, как дева,
На плотях облаков, уплывающих в ночь.

Татарчонок оборванный из Соганлуга
Погоняет ослов и протяжно поет.
Залитая сияньем ночная округа
Допоздна разговоры со мною ведет.

Я беспечен и гол, как гора Шавнабада.
Только мысли — и судьи мои и родня.
Я не баловень этой судьбы — и не надо.
Лишь одно до глубин уязвляет меня:

Что и времени минуло вроде не мало,
Но Крцаниси еще потрясает озноб,
Что — простреленная — замерла Нарикала
И стоит в темноте напряженно, как гроб.

...А Кура колыбельного тише напева.
Только здесь, у Метехи, разгуляться не прочь.
И луна разлеглась безмятежно, как дева,
На плотях облаков, уплывающих в ночь.

1927

Сергею Есенину

Так жить — одному Чагатару под силу.
Свободен ты был, словно конь на скаку.
Скорблю я. Возьми за собою в могилу
Вот эти стихи за строкою строку.

Степная печаль за тобою по следу
Гналась и гнала до Дарьяльских высот.
Мы плачем. Кружи хоть по целому свету —
Что толку? Душа от себя не уйдет.

Нет счета слезам и конца угрызенью
Безжалостной совести, меры стыда.
Но разве из тех, кто не рад был спасенью,
В живых ты один оставался тогда?

Стихи твои кровью сердечной стекали
Из раны пожизненной, капали вновь.
Но разве ты смертью спасешься? Едва ли.
Лишь кровь приумножит пролитую кровь.

Светало. И с пьяною удалью кепку
В котле из-под хаши Паоло варил.
Светало. И смерть обняла тебя крепко,
На улице кровли мороз серебрил.

Поэзия не изменилась. И зори,
Как встарь, словно двери, откроет она.
Но мне все сдается, прикончат нас вскоре —
Такие внезапно пришли времена.

Верны твоёму завещанью, отныне
Мы в каждом застолье тебя помянем.
Ты кровью исходишь в глухой мешковине,
Как хлеб, пропитавшийся красным вином.

Ей-Богу, мы родичи были друг другу —
Монгольскую кровь разгоняли сердца.
Взяв душу, стервятники в небе по кругу
Парят, чтоб и пададь склевать до конца.

Давно Амиран изнемог здесь от пыток —
Подобная участь и нам суждена.
Как миро, ты выпил смертельный напиток —
И нам допивать это зелье до дна.

Взрел по тебе, так что треснул от рева,
У Чопурашвили орган заводной.
Скрываю я даже от брата родного,
Какой в моем сердце спекается гной!

Вовек потому не избуду печали,
Что верности клятвы, признанья в любви
При жизни, Есенин, тебя не застали,
Ты не отзовешься — зови не зови.

Друзья, если головы наши в канаву
Покажутся разом, пусть знает любой,
Что, как бы то ни было, братом по праву
Есенина Орден считал Голубой!

Иван Оганов

Осень милосердия

Притча



Ладонь ее сжала горсть праха — остаток вчерашней горьковатой ночи, крупинки темного табака, жалкая блестящая слизь фольги, обертка бутылки, застывшая слюда малиновой помады, две холодные слезы, огрызок яблока, — и это все надо было бросить в какое-нибудь облако, в какую-нибудь сторону света, может быть, под шкаф, но только подальше от груди в тоненькой розовой рубашке с эвакуированным малокровным детским сердцем.

И вот рука очень долго металась, зависая в пространстве, искала ход света, молчала под стареньким одеялом с васильками, что вышила мама, и, наконец, ладонь замахнулась, с силой разжалась, и прах полетел к солнцу, чтоб закрыть его, замусорить или освятить.

А рука снова упала на васильки, так что один матерчатый цветок задрожал, заразил своей дрожью другой — и волна побежала, понеслась к лицу маленькой тринадцатилетней девочки. Лицо это или кулачок, что-то светлое, очень прозрачное и сморщенное, высохшее с мешками и темными пятнами, старость и детство. Это была тень, а если она снимет покрывало со лба, то два глаза так и не раскроются, хоть они и дрожат, как слепой шенок; лицо будет ежиться на сентябрьском солнце, и на дне глаз блеснет голубой ручей, обрамленный жиденькими волосами девочки. Это Неля.

— Мать, вставать-то пора, чего валяешься? — сказала хриплым голосом Ирка, женщина-подросток небольшого роста с короткой прической под тифозную, вся какая-то мальчишеская, резкая, с цепким и быстрым взглядом карих глаз. Темные и тонкие губы ее дрогнули.

Но губы эти родились и жили не в холоде, а в тепле.

Они были по-детски горячими и вздрагивали, когда летний ветер или чужой глаз касался их.

Они даже могли быть раскаленными, надо всегда помнить, что это их самое трезвое состояние. Ирка в джинсах. Она курит сигарету и деловито прибирает комнату, квадратную и небольшую, возле Красногвардейского бульвара. В коммунальной квартире, — комнату с гардеробом, раскладывающимся диваном, немывыми тарелками, грудой бутылок; каждый с любовью сюда входящий не мог не заметить белого листа на стене, над зеркалом, — черная голая девушка с развевающимися волосами на берегу моря.

Об окно цепляется ветка тополя, дерево запуталось в золотистом воздухе. Из окна виден на углу старый продовольственный магазин. Неля никак не могла встать. Тело ее было разбито, болела голова, тяжестью налились виски.

— Ой, не хочууууу! — застонала Нелька.

— Вставай, вставай, нечего барахтаться, ишь морда охалюзная! — Ирка сдернула одеяло. И потянула подругу за тонкую кисть. Босоногая и худая, стояла на холодном полу заспанная и озябшая девушка. Одиноким, случайно забредшим сквозь небесную занавеску луч лег на плечо. — Иди умойся! — и не отпускала руки.

Она понимала, эта умная и хитрая Ирка, любившая порассуждать, что подружка ее вчерахватила, слишком нахлесталась коньяка, но нахлестаться она имела полное право, ведь сначала Нелька ездила к матери в больницу, возила ей еду, сидела там, выносила судно, обмывала, а потом, в трамвае, почувствовала надвигающийся припадок эпилепсии, это всегда возникает как подземный толчок перед землетрясением, и ей в такие минуты кажется, что начинает умирать воздух и гаснут деревья.

— Не могу я сегодня работать! Не ма-а-а-гу! — обиженно протянула она.

— Одевайся! — прикрикнула Ирка. — Вот держи юбку, синюю, что ль, напялишь, свитер держи! Поедешь, отпросишься, скажешь, мол, так и так!

Ирка почти насильно одела подругу, разогрела кофе, намазала на белую булку масла.

— Деньги-то на трамвай есть, а? Возьми единый!

И, выпроводив, почти прогнав Нелю, Ирка вернулась в комнату, принялась веником скрести пол, вымыла всю посуду, потом отложила белье для стирки, надела брезентовую куртку, хлопнула дверью и позвонила из телефона-автомата матери в Медведково; небо было ясным и голубым, как это часто случается в середине сентября, а сегодня какой-то особенный день, будто он вобрал в себя всю свою мудрость, охапку воспоминаний о лете, замер, остановил для себя вечность и отдал обратно, выжал неторопливо голубизну, одел воздухом улицу, крышу дома, Иркино гладкое лицо, тополя, заблестевшие оголенными ветками, день отдал дань, отыскал где-то в календаре на позабытых страницах засохший между его ладонями, как цветок, нерасплесканный вздох бабьего лета.

— Мама, а мам! Я сегодня не приеду! Не могу сегодня, Нелька снова в больницу к матери едет, потом еще дела, а сейчас я на работу бегу, дел много, надо еще к одному кадру зайти. Когда приду? Да на днях, ладно, ты не вой-то, чего случилось? Отчим не скандалит? Скажи ему, что приеду! Напугай окаянного, я ему, фраеру, устрою веселую жизнь! Ты, ладна, чего колбасу, говоришь, дорогую купила, тысячную? Ну, ладна, отличной закуской будет, слышу! Чего? Ладна! А бабка как? Здорово, на улицу выползает, я ей пряников возьму, скоро, скоро, говорю! Ну, все, я мотаю, мне пора, бегу, ты, мам, не хнычи!

Теперь надо ей доехать с двумя пересадками до журнала, там Ирка работала курьером, а кроме того, немножко рисовала, иногда ей давали оформлять чего-то для обложки, так что тридцатка в месяц и шестьдесят за курьерство выходило, ну там, долой налог, да мать подбросит когда двадцатку, из барахла чего-нибудь подарит, брать сейчас папку с бумагами, ехать в типографию, оттуда в другую редакцию, взять снимки у фотографа, отвезти пакет на вокзал, снова в свою редакцию, на почту, а мимоходом забежать в Пушкинский, в домик, поглядеть литовскую гравюру, еще к другу, художнику-мультипликатору Женьке, забежать, одолжить трояк и заодно купить ему пожрать, супруга его три дня как оставила, он в трансе, в закидоне, ему колбасы любительской и бутылку водки, а там еще потом с Нелькой встретиться, они сегодня через клуб щенка черного терьера покупают, долго ждали собаку, потом везти псину домой, купать, обмыть это дело, как полагается, а если Нелька опоздает из больницы или с мужиком каким забалдеет, придется ее искать, стерву, тащить домой.

А звонки — в двадцать мест надо позвонить, друзьям, бабам, о многом в жизни поговорить, загадок и вопросов тысячи: о том, художник Лешка или дерьмо, спала Нинка Середова с Мишкой, или она просто так, мозги пудрит, а потом Колокольчикову звякнуть, хорошему малому, который когда-то где-то неплохие стишки парапал, а сейчас спился, выяснить про Акутагаву, чтоб он объяснил, что к чему, нет-нет, она вовсе не дура, у нее свои мозги и свое рассуждение есть, но хочется проверить, правильно она, четко или нечетко, усекла идею этого бреда, и правда ли, что японецэтотнюхом почувствовал страшненький поворот, изъян один человеческой души, или это чисто японские штучки-дрючки, харакири там, цветущая вишня и всякая дребедень, ну, положим, до Феди Достоевского ему как до Луны, но есть, есть заявочки, а как отзвонит она Колокольчикову, на это не меньше получаса (Колокольчик по-дикому заикается), она сразу же Пуни на работу, простите, мол, извините, пожалуйста, не будете вы так любезны Вячеслава Наумовича? Кто? Из редакции! Пуни — молодой, талантливый психиатр, эрудит, маг и еще черт знает что, но в людях он четко разбирается, во всяких там ситуациях и комплексах, он

Ирку однажды из одного стресса абсолютно гениально вывел, это когда ей взбрело в башку, что все на свете ее ненавидят, не любят, считают за паскуду корыстную, злоумышленную; и даже друзья, это ее, бессребреницу, ей и в самом деле начало казаться, что она злой человек и все свои подлые помыслы и мотивы добрыми побуждениями прикрывает, это она-то, нищая, она, у которой ни кола ни двора и которой ничего не нужно, кроме верной подруги, чтоб о ней можно было заботиться, кроме пары настоящих друзей, ребят с мозгами, о самых тонких материях болтать, а потом снова поддать и снова говорить, и чем больше пить, тем более зрело себе все прояснять, все ситуации, настроения, джаз обсудить, она с ума от него сходит, чтоб стал он по стерео таким чудодейственным и балдежным, без всякой там дешевой хипповатости, а вещь, старика Чарли Паркера послушать, с его тенор-саксом, и до того, как бесповоротно закосеть, — смысл человеческой игры ворошить, искать его, ханыгу, а если какой-нибудь пришлый сосунок лохматый со стороны, не свой человек, начнет хамить, молодой, да из ранних, запустить в него стакан, хоть и водку жалко, чтоб облить его морду и красную рубашку...

Неля долго ехала в трамвайном вагоне, выходила на золотую землю осени, шелестела по листьям белыми босоножками, как будто хотела расслышать эхо, зарытое в самой глубине земного шара, под этим московским тротуаром, она даже останавливалась два раза с наивной детской надеждой на чудо, но потом, вздохнув, шла дальше. Никто не звал ее. Ни один юный красавец, мальчик или, еще лучше, всепонимающий чувак из тех, которых любит Ирка, никто пока ни разу не поглядел в ее сторону, если не считать этого где-то надравшегося алкаша рабочего вида с матом, пропахшего бензином и картофелем, он обнаружил ее лицо, испитое, накрашенное, с подведенными глазами, и решил, хахаль, что легко будет девку закадрить, — ну совсем такой, опустившийся, кепка, — а она не обратила на него внимания и глазом не повела, он все шагал и шагал за ней, спотыкаясь, а когда она остановилась, чтоб оглядеться по сторонам, подбежал к ней и схватил за руку, стал тянуть к себе, к листьям. Куда он ее тянул, дыша водочным перегаром? Может быть, к солнцу? К самому настоящему солнцу или к цветам, медовым флоксам, вот здесь, у метро ВДНХ, стоят бабы с ведрами. Но он и не думал тащить ее к ведрам, тогда она сама, вырвавшись, подошла к ним, а мужичье стоял за спиной, качался на ногах и глупыми глазами взирает на цветы. Они расплывались в его зоре, казались мокрыми, багровыми и оранжевыми, сумасшедшими огнями, пьяный вынужден был сжаться, чтоб не ударило в голову; и, набрав воздуха, он только руганулся слабо и малодушно, так что даже флокса не сумел оскорбить, не раздавил жалости к свежим, ясным одуванчикам, которые дрожали, звали... А ей стало жаль себя, под сердцем стало так сладко и горько, она принялась рыться в кошельке, чтоб отыскать двадцать копеек, чтоб хоть какой-нибудь, самую замухрышку, но живую замухрышку понюхать и поддержать в руке. Но мелочи не было, ни одного захудалого гроша, легкого, как несостоявшаяся жизнь, дырявого, как Нелькино сердце, а цветок звал к себе и ничтожный и небесный, он просил взять его на руки, как капризный ребенок, он мечтал, чтоб девушка в золотой короне погладила мягкие его волосы.

— Эх, колокольчик! — хрипло сказала Неля. — До чего же ты небесплатный!

И, оттолкнув пьяного мечтателя в грязной кепке, села в автобус, проехала до студии две остановки; она шла по стране кино, по загадочной стране совсем не чудаков, а издерганных профессионалов, пробиваясь напролом сквозь декорации, сбивая худым плечом бумажные солнца и уронив тряпичного белого клоуна со смеющимися и плачущими глазами, всплыла в столовую, где ее накормил один осветитель, заплатил тридцать копеек за тарелку борща, Нелька, не оглядываясь, осушила ее среди людей, вылепленных из фальшивых красок, хриплых, чуточку наивных, болтливых, развязных и зловеще целеустремленных, сзади самый главный на студии за блюдом дешевых котлет болтал с толстой кинодамой-редактором и сказал про какую-то новую девочку, актерку, что она сделана из картона, а дама в ответ заказала еще одну порцию гуляша, запихала его в рот одним махом, проглотила и только потом молниеносно рассмеялась, то есть сделала вид, что смеется, потому что это была плохая имитация злобного, собачьего лая, замахала толстыми, как ляжки, руками и бросила горсть грязи на этот картон, из которого вырезали комедиантку, но все было сволочно, потому что Неля знала девочку, она отказалась в начале своей карьеры переспать с самым главным.

Наконец Нелька добралась мягкими шажками до монтажной. Постановщик Хвылин ждал ее на диване, а рядом с ним стоял и курил другой фильморезжиссер, Марк Собачкин, дымил чужими сигаретками, сделав свое лицо чистым и вдохновенным. Он рассказывал с легким презрением и со слюной о том, как один знаменитый молодой постановщик Куклов недавно в Италии был, и там он жил в маленьком замке где-то в горах, каждое утро купался в бассейне с розовой водой, и ему, голому и одинокому в водах этого парфюмерного океана, подталкивали игрушечный парусник с фужером апельсинового сока, и на тарелочке, завернутый в фольгу, блестел деликатес. Марк Собачкин с горящими от зависти глазами осуждал счастливицу и поносил официальное искусство. Собачкин считал себя художником, седьмой год подряд снимал короткометражные фильмы с игровыми кусками про пожарников или методы технической безопасности на строительстве газопровода, окрестил себя кристально честным, неподкупным и всех убеждал в том, что не берет художественный фильм оттого, что нет подходящего сценария, и был в пятый раз подряд женат на совсем юной, очаровательной девчущке, которой беззлобно и по-детски изменял, но делал это так наивно, что измена и не была изменой. Он сейчас в кружевной, сверкающей ослепительной белизной рубашке с роскошным жабо, а глаза его при пристальном взгляде превращались из змеиных в откровенно голубые.

Хвылин, с которым работала Неля, выглядел слегка нетрезво, но по счастливой случайности еще не потерял рассудка и вот уже целых два часа ждал своего монтажера. Неля не любила Собачкина, и ей не хотелось при этом чистюле отпрашиваться у Хвылина.

— Ну, чего? — спросил Хвылин. — В трамвайную катастрофу попала?

Неля не отвечала. Она захотела сигарету, Хвылин протянул ей пачку, дал спичку, но она сердито молчала и поглядывала на Собачкина. Марк Собачкин усмехнулся, напялил на плечи свою пижонскую куртку и отъехал отсюда на малой скорости.

— Дядь Хвиль! — капризно начала девушка со сморщенным лицом.

— Не отпущу! — отмахнулся и без того сердитый режиссер. — Давай прыгай за монтажный столик.

— Дядь Хвиль, мама от рака в больнице...

Хвылин, длинный и тощий, как жердь, киношник с козлиной бородкой, дернул массивной челюстью, подпрыгнул до самого потолка, погас и упал на диван, веки его отяжелели, руки стали восковыми и слабыми.

— Дай бутылку! — обиженно вздохнул он.

— Дядечка Хвильчeka! — радостно воскликнула Неля и бросилась, спотыкаясь, к огромному черному дубовому шкафу, где за сделанным будто из чугуна, а на самом деле бутафорным замком хранилась недопитая ангелом смерти бутылка водки.

— Пью из сострадания к жертвам бабьего лета! — объяснил себе безликий и бородатый. — Только лихо, лихо! Как на коне! — рывкнул он. — Не играть на службе с огнеопасными напитками! — и залпом осушил стакан, полстакана налил и девочке. Девочка раскрыла чуткие глаза, вздохнула и насладилась бальзамом.

— Mam! — всхлипнула она.

Хвылин вообще-то человеческий мужик, только очень уж неотесан до всего, что касалось не того, чтоб крутить кино. Он был на «ты» с самим Сергеем Аполлинарьевичем, Иоганном Себастьяном, отдельными строфами пакистанской поэзии, а вообще ни черта толком не знал. Слышал, что художник просто обязан быть темным хамом и дремучим неучем.

А Ирка уже достигла редакции и бодро перездоровалась со всеми деятелями бумаги, ворвалась в кабинетик своего мецената, верноподданного и эпикурейца, циника Коклюшева, красивого, но потрепанного мужчины, ни на кого никогда не злящегося; в жизни еще не плакавшего или смеявшегося, неженатого, оттого что тьма вешающихся ему на шею женщин отбила у него всякое, хотя бы самое маленькое, ничтожное, понятие о любви. Он и не догадывался о том, что на свете существует и когда-нибудь существовала любовь, был изнежен женскими заботами и добрым отношением к себе окружающих, хотя для этого ни разу в жизни не ударил мизинцем о мизинец. От него исходили флюиды, от его обворожительного детского голоса, от томного взгляда, от манер. Жил он вдвоем с мамой, господин сорокалетний человек, носил тонкое белье, и от его ручек всегда благоухало.

Находили в нем также что-то от раннего Блока. Ирка вела себя с ним запанибратски, простая дружба, здоровая, ровная и ни к чему не обязывающая. Коклюшев многим помогал, если его деяния не отражались на его благополучии и не требовали особых усилий. Он боялся добра и зла, понимая, что творит равнодушное.

— Рисуночек там тебе хочет заказать Сомов! — вздохнул Коклюшев и зажмурил сонные глаза.

— Вермут видела я в одном честном и богоспасаемом доме! — сообщила Ирка, она всегда говорила каждому то, о чем собеседнику приятно слышать.

— С черной наклейкой из винограда португальского? — Коклюшев с детства собирал бутылки. — На горлышке этикеточка с оранжевой ласточкой? — спросил Коклюшев и почесал лысину ногтем. — И старичок с биноклем глядит на женщину?

— Ах, мужичье балдежное! — захохотала Ирка. — Нет для тебя тайн небесных!

Коклюшев сидел обложенный альбомами с репродукциями. Он вменил себе за правило нынешний месяц наслаждаться японской гравюрой и наслаждался. Был эстетом.

— Коклюшев! — крикнула, мальчишески дернувшись и взмахнув короткой прической, Ирка. — Мы сегодня через клуб долгожданную собаку покупаем.

— Ах, как это чудно и немного грустно! — вздохнул Коклюшев. — Человек привыкает к собаке, а потом человек обязательно умирает.

— И душа умирает детская! — разозлилась Ирка. — Что же теперь, плакать, что ли?

— Ладно, вы потом меня со своей собакой познакомите! Только не учите ее пить водку!

Коклюшев, как хамелеон, снова сменил окраску, слился с окружающей средой, с блестящими цветными альбомами, сувенирами, заморскими вещичками, раковинами, минералами. Он, как хитрая ящерица, притаился за стаканом, выдавая свое присутствие только язычком, что быстренько лакает воду.

В больнице пахло солнцем и тлетворной надеждой. Неле чудилось, что она, зажмурившись, бродит по лесу и слушает осень. Маленькие чудотворные стоны кажутся ей вспышкой на речной траве. День в палате пахнет не камнем, не словом, не святой водой. Неле всегда приходится плакать светло. Дочь свернулась в калачик, у больной на погребальной земле, она валялась рядом со старыми, грязноватыми туфлями матери и целовала песчинку на сбитом каблуке. Целовала материнские босые следы на паркете. Может быть, именно поэтому она не могла слышать, как бороздят пространство палаты белые парусные корабли, а чайка безмолвно летала над простоволосой головой девушки.

Неле хотелось вымученно целовать поцелуй детства в светлом воздухе.

Женщина когда-то родила дочь с черными, высохшими от света глазами. Светлая птица родила темную птицу. И все было охвачено надеждой. Облако опустилось на лоб больной. Она не была мертвой.

— Я куплю собаку! — плакала дочь.

Ирка выволокла рыжебородого Женьку из его мрака на выставку литовской гравюры. Она вдруг потянула руку друга к залитому пресным солнцем окну. В одичалых глазах ее заблестала мечта. Это была собака. За стеклом. Она чинно висела на белом шнуре в гладкой раме. Грациозная псина. Незлопамятная мольба на четырех черных ногах, пронизанная солнечной дрожью. Это было красиво, сильно и безнадежно. Даже рыжий художник, скатившийся в болото халтуры, вздрогнул. Жилка забилась на виске. Детство? Детство — это заболевание памяти. Оба смотрели на собаку, как на день и ночь. Светлый, добрый час. Победа собаки была удивительной. Ирка позвонила Неле в больницу и Вячеславу Наумовичу. Неля сейчас же приехала зареванная.

— Вячеслав Наумович! — объяснила Ирка. — Наумыч! Собака. Черная. Прекрасная. Умная. Одним словом, собака.

— Будет новая жизнь, — вздохнул крутолобый человек в белом халате. Он курил папиросы. Одну за другой. И конечно, крепко пил. Но всегда ясный, до жестокости.

— Ага! — пробормотала Ирка и сжалась.

Она почему-то растерялась и была не рада тому, что впопыхах наивно сообщила психиатру о надвинувшемся собаководстве. Вячеслав Наумович, отшельник и загадочная личность, одним тоном холодного своего голоса мог с самого первого шага убить надежду на счастье.

— Я не хочу быть больной! — испуганно шептала она в трубку. — Я так долго болела! — дрогнули ее сухие, мальчишеские губы.

— Ладно! — холодно ответил Вячеслав Наумович. — Тогда со мной не советуйся.

Собака выпрыгнула из стекла. Неля радостно взвизгнула. Собака бежала по листьям к девушке. Она была молодой и доверчивой, она радостно лаяла, бросалась к красному мячу, мир вокруг был для нее неожиданным, вот только странно, что так много пустых бутылок валялось под диваном, и все как-то ненадежно в этой комнате. Собака должна радоваться жизни, она своим тонким нюхом чувствовала, что в новом доме с новыми людьми ей будет дана вечная свобода, новость придала ей много сил, ведь ни у одного пса в мире не было такого выбора; все другие собаки рабы своих хозяев или готовы погибнуть бездомными нищими на улице, одна только Рада была вне закона, с тех пор как ее увели из музея две странные женщины. Ей предлагали новый, сладкий и, наверное, совсем нестрашный мир.

Вот наступил неожиданный и дерзкий вечер, может быть, чреватый какой-то непонятной опасностью. Собака была ядром события. В духовном ли воспоминании оно сверкнет, в душевном, никто, конечно, не мог сказать определенно, хотя все тут словоблудствовали на одной интуиции. Любой из актеров мог сыграть роль оракула, каждый был полон таких магических сил, что страшно нормальному человеку общаться с лицедеями. Вот являются участники криминальной пьесы, и затмение в подъезде, и соседи закрылись в своих отчужденных комнатах, пьют чай с баранками и трясут поджилками, как сказал бы гениальный московский графоман Лен.

В фешенебельном и модном московском подвальном театрике разговор у парадного подъезда. Но не будем кошунствовать, божьи твари!

СОБАКА И МЕРТВЫЕ ДУШИ

*Одноактная пьеса с примесью лирического абсурда
Исповедь автора*

Сцена представляет из себя квадратную комнатку. Одно окно, темная, глухо задвинутая штора. Здесь царит странная, напряженная атмосфера. На всем печать рока, но рока, так сказать, маленького, пижонского, с примесью тургеневщины, впрочем, испорченной...

ХВЫЛИН (киношник с козлиной бородкой, рожа рязанская): А чего? Кого судить будем?

ЖЕНЬКА (рыжебородый, бледный): М-да... Собака... это хороший закусон, собак даже туберкулезники едят!

Вячеслав Наумович появится позже. Врач-психиатр, с ним вы знакомы, худоватый, смуглолицый, напоминающий развратного мальчишку, что-то в нем детское и всегда ходит в белом, ослепительно белом халате.

АЛИСА (подруга Нельки и Ирки, когда-то высокая и очень благородная, бывшая красавица, но давно водка иссушила ее облик. Она всегда с маленьким сыном, даже когда пьянствует, глаза у нее потрясающей красоты, серые и сильные, грозные. В опьянении сквернословит площадно): А чего, скоро того, начнем, так сказать, водяру...

КОКЛЮШЕВ (сидит в кресле, в бордовых вельветовых брюках и такой же сногшибательной куртке. Закрылся западногерманским журнальчиком, разглядывает рекламу крепкого напитка, что лакает голая толстая женщина): А я не замечаю вашей славной компании, мне как-то все равно!

ИРКА. Вот только полусухое, три бутылки, водяры дринкнем, нечего тюльку гнать и портвейнгеноссе! Сейчас я в честные доли вам, как аптекарь, плесну всем поровну. Нелька, не кокетничай с Женькой, он мой друг, мой кореш.

НЕЛЯ. Мама умерла сегодня! А может, не умерла, а лежит просто на белой простыне.

Собака молчала. Она глядела на публику.

ХВЫЛИН. Я пью за собачью честь! За достоинство собачье!

ЖЕНЬКА. Не трепись, балда! Пижон!

КОКЛЮШЕВ. О, рабы обстоятельств!

Ирка пьет, можно сказать, хлещет. Неля тихо плачет, утираясь, смахивая с подбородка слезы и капли портвейна. Собаке налили вина, раскрыли пасть, влили.

КОКЛЮШЕВ. Это преступление.

ИРКА. А воспитывать собаку мы не будем, мы будем пить, вставать как обычно, поздно, на службу ходить будем не часто, и никакого порядка. Пусть она себе растет свободным существом.

НЕЛЯ. А теперь каждый из вас покажет, что может он дать собаке или взять у нее! Как он будет терпеть животное в своей жизни?

Хвылина вытолкнули на сцену

Хвылин в осеннем лесу. Он молчит. Хвылин ведет собаку на поводке, но он не любит мучить домашних животных, он быстро отстегивает ошейник, и Рада помчалась, как гончая, по лугу, да так прекрасно и вольно и неподвластно, что зависимого и подчиненного своим слабостям Хвылина обуяла ревность, он хотел бежать за собакой, но тяжелая одышка от коньяка и сигарет остановила его, он только помахал рукой вслед черной стреле с мудрыми глазами и опустил на траву, достал из кармана плаща бутылку водки и стал пить жадно и равнодушно, потом вытерся красивым платочком, что жена с утра припрятала в его кармане, и задумал осуществить побег из царства природы. Влез, кряхтя, на дерево и скрылся там в листьях. Он хотел слиться с веткой. Надеялся приобрести окраску ветви. Чтоб тихо качаться, гнуться над обрывом и не ждать, не мечтать, не жалеть, чтоб не быть хриплым и деятельным. Но Рада неслась обратно, она почуяла что-то неладное, она была преданным другом. Собака лаяла под деревом. Вдруг что-то, как камень, свалилось на сентябрьскую траву. Это был Хвылин. Он похолодел. Собака обнюхала лоб павшего.

Когда пространство совершенно опустело, когда желтизна времен года стала прощальной, сюда прилетел ворон, он долго кружил с карканьем над лежащим.

В комнате Вячеслав Наумович. Как обычно, в белом халате и до неприятного трезвый. Он опустил на праздничный стол пакет с красными яблоками. Святые яблоки.

— Легко дураку Хвылину! — процедил он.

Все избегали глядеть в глаза молодого, подающего надежды психиатра и автора двух популярных книг по шизофрении. Вячеслав Наумович понимал, что он является невольной сердцевиной внимания, может быть, эпоха была такой, что врач казался самым противным идиолом сентября.

— Жить всегда так, как будто сегодня умрешь! — тихо сказал Слава-психиатр.

Все сжались в своих креслах, люди думали, что никогда не наступит смерть. Все жаждали беспечности. Одна собака должна была отвечать за всеобщее разгильдяйство, раз уж волей судьбы она очутилась в руках одномерного человека.

Алиса Ситникова взяла на колени своего златовласого сыночка, мальчика с живыми, впечатлительными глазами. Женщина эта казалась викторианской, можно было представить ее завернутой в серебристую шубу, черно-синее платье, а она в дырявых чулках, худая и плывущая в сторону бездны. Неля встала на колени и заглядывала в глаза Раде. Собака была счастлива. Схватив хвост селедки, Неля поднесла ее к пасти собаки и стала шептать:

— Знаешь, мамочка моя сегодня тихо умерла. На больничной койке, и ничего светлого она в жизни своей не видела!

Ирка оттащила Радку от пьяной:

— Чего собаку в пессимизм вгоняешь? Смотри, мать, стукну тебя по голове, ты мне псину не порть черной тоской, не дам я тебе нашу дочь заразить.

Но эти легкие разговоры не могли заставить людей забыть о Вячеславе Наумовиче. Он, как ночное солнце, прятался за спины собравшихся и обещал обязательно их согреть когда-нибудь в недалеком будущем.

— Чья очередь? — невзначай как будто, но властно спросил он.

Женька вдруг подбоченился, приподнялся над столом, над скатертью с разбросанными примулами, взмахнул манжетом, потом один глаз его сжался, сделался крошечным и потек по подбородку, как желтый сок какого-нибудь вечно юного растения. Женька молчал, он схватился за ребра, за грудь, словно хотел вырваться из своего тела, хватал ртом воздух, но воздуха не было и не было, он в испуге поглядел на людей, но ничье лицо не давало ему надежды, только мальчик Херувимчик с сожалением и непонимающе ответил ему и покрепче прижался к своей прекрасной маме. Женька мечтал торопливо, скороговоркой рассказать ребенку, что и у него был когда-то вот такой же сын, но теперь пропал и пропал навсегда, может быть, утонул в море, а может, просто ненавидел отца, но никто не желал выслушивать его, все ждали только, чтобы он поскорее сыграл свою роль, чтобы они, видя чужие страдания, могли насладиться недолгой свободой, безмятежным ожиданием.

Тогда он махнул рукой мальчику, как будто прощаясь или просто надеясь на будущую встречу, и, рыжебородый, похожий на больного купца Калашникова на снегу, он вышел из-за стола и мрачно поплелся в опустевший детский сад.

Этот сад бросили дети, может быть, они невзлюбили его за то, что солнце редко заглядывало сюда. Кругом росли одни грушевые деревья. Груши были очень спелыми и ждали, когда чья-нибудь рука сорвет их. Но у Женьки не доставало сил заниматься такой никчемной благотворительностью, он оставил три дерева судьбе и сел на скамеечку, обхватив голову руками. Розовый шарф жены мелькнул у его глаз. Ветер нес его, шарф пылал за стволом. Борода художника горела. Он взял в пальцы мокрую кисть и стал разрисовывать зверей с детской карусели.

Долго занимался верблюдом. Верблюд вышел очень желтым, праздничным. Потом он взялся за жирафа, и жираф тоже был неприятно нарядным. Теперь пора браться за льва, и этого несчастного царя он тоже довольно легко одолел, выкрасил в лиловый цвет, поиздевался над хищником, и так, что даже разгорелся у маляра аппетит, Женька вдруг почувствовал силу, прилив надежды, новых планов и свершений.

Всю мертвую природу он оживотворял, она трепетала под его вдохновенными ладонями. Женька распрямил плечи в своей богемной куртке, и первый раз за последние пять лет что-то вроде смеха прозвучало, прошлестело у его тонких дрожащих губ. Теперь, когда он снова возвращался к жизни, он даже подумал, что розовый шарф жены, как шарф Айседоры Дункан, вылетает обратно из-под колеса автомобиля, освобождая горло, и свет летит на него мыльным пузырем надежды, и весь мир медленно разворачивался и стелился под его ногами, под его стоптанными замшевыми туфлями на высоких каблуках эпохи последнего Людовика. И ручьи зашумели где-то вот тут, недалеко, стали очень живо, по-молодому кричать в своих норах лисы, и художник, высоко подняв голову и счастливо улыбаясь солнцу, шел навстречу сентябрю с кистью в руках, как вдруг случилось что-то неожиданное, и художник побледнел. Это была Рада, добродушное общительное создание, она бежала смело и легко, раскрыв пасть, и острые, заточенные зубы ее блестели. Женька отступил. Он молчал и больше не улыбался. Кисть дрожала, обескровленная, в его руке. Женька рванулся к горячей, полной крови собаке. Собака доверчиво потянулась к ладони странного человека и обнюхала ее с интересом. Художник мазанул кистью по ее глазам. Рада с визгом отпрянула. Художник тихо позвал собаку, он мечтал выкрасить Раду в желтый цвет, чтоб собака несла печать его вдохновенной манеры. Он гнался за собакой по песку детской площадки, опрокидывая цветные ведра, совочки хрустели под его туфлями, раздавленные, но собака не хотела его любить. Когда он упал, слезы покатались на песок, он лежал на родной и не разлюбившей его московской земле, а Рада стояла над обнаженным сиреневым кустом и глядела на бородатого Женьку.

Художник снова увидел розовый шарф, что летел где-то далеко, к облакам. Когда он медленно встал на ноги, опираясь о ствол яблони, Рада дрогнула, что-то похожее на соучастие шевельнулось в собачьей груди, но художник ослеп. Он потянулся рукой к яблоку и сорвал. Бросил его на песок, собака обнюхала яблоко.

А когда он полез на дерево, она рвалась вслед за ним, выла, скулила и молила. Но ничего уже не могло спасти дня. Художник повис на ветке, может быть, он не умер, а просто решил захватить место яблока в этом мире, сброшенного им на холодную землю. Только туфли его раскачивались над оставленными осиротевшими игрушками. Собака лаяла и звала его обратно.

Все смотрели на Вячеслава Наумовича, а тот, как назло, отвернулся и, тихонько прихлебывая чай, читал газету. Неля испуганно обхватила Радугу и стала гладить ее шерсть, уложила на постель рядом с собой, закрылась одеялом и стала целовать ее пасть, приговаривая со слезой:

— Не дрожи так, маленькая! Ты теперь большая, так много ты теперь знаешь! Ты стала человеком.

Но Коклюшев уже вышел из-за стола, надел модную шляпу и, нежно улыбнувшись зрителям, легкими шажками засеменял к Раде. Он откинул одеяло, поморщившись, вытащил собаку, оттолкнув Нелю и взяв Радугу на поводок, отправился гулять степенно и размеренно вокруг стола с остывающим самоваром.

— Сколько раз я говорил, что нельзя портить собаку! Нельзя обучать ее страшным человеческим грехам! Мир собак гораздо чище мира нашего. Не воспитывая, а опустошая собак, вы делаете страшное дело. Вы преступники, собака погибнет. Она у вас уже алкоголичка, и невоспитанна, и психика ее расстроена, хоть и не до конца вы вытравили у нее доброе, чистое начало. Вы сами опустошены и опустошили собаку, а теперь она должна отвечать за ваши черные души, быть жертвой, в то время как сами жаждете жить!

Вячеслав Наумович хихикнул.

— А вы чего смеетесь, модный московский психиатр, популяризатор антипсихиатрии. Вы со своим гипнозом и внушением теперь порядком всем надоели. Что положительное можете вы предложить? Локальное лечение одной клетки, в то время как болен весь мозг. Все эти ваши опыты и психиатрические тесты — это обман один, вот тут собака нашей жизни гибнет, и мне кажется, ничего не способно ее воскресить.

— Послушайте, Коклюшев! — отозвался желчно Вячеслав Наумович. — Не лезьте в науку, это не ваше дело, вы сибарит, ну и сибаритствуйте себе на здоровье! Вы любите себя, свой комфорт, привычки, взгляды, ну и живите в своей скорлупе и не мешайте эксперименту, а то как бы от вашей скорлупки не остались одни крошки. Ясно?

Коклюшев поморщился.

— Фу, какой базарный и солдафонский тон! Я таких вещей не выношу! Не люблю я эти дискуссии ученых! От них всегда кровью операционной понахивает!

Коклюшев выпустил собаку, вздохнул, натянул лайковые перчатки и отправился на первый в своей жизни бал.

Алиса давно храпела, опустив голову на белую скатерть, и маленький ее сын тоже заснул, обняв мамину худую и нищую ногу. От ноги в рваном чулке пахло теплым пыленком.

— Я посижу за ширмой, почитаю заграничный медицинский вестник, а вы пока тут, девочки, не теряйте времени даром. Надо будет, позовете! — Вячеслав Наумович надел пенсне и, солидно вздохнув, блеснул мальчишескими молодыми глазами и скрылся за ширмой.

К потолку побежал дымок: доктор закурил.

А жизнь все равно продолжалась и не думала останавливаться, не было и в мыслях у нее таких ничтожных порывов. Она была ключом, даже когда день пасмурный, все равно это была жизнь, могучая, крутая, берущая все положенное, все до последнего вдоха, но только неизвестно, куда она тащила за собой людей, или не людей, а хотя бы их души. Могли или не могли люди, ощутившие, что в груди их не дыра, вдруг оказать яростное сопротивление жизни, но не слабое, не ущербное, хитрое такое, сшитое белыми нитками, а смело и просто, не осознав, а хотя бы догадавшись, куда клонит жизнь, идти с ней в ногу, падая, но каждый раз поднимаясь. Может быть, надо нам поучиться этому у черного терьера, он лежит под

диваном и слушает, как подружки ссорятся, а потом мирятся и нежно обнимаются, целуют друг дружку в восковые щеки, в стареющую кожу лба.

Вот одно маленькое солнце медленно восходит в восточном углу комнаты и бежит на запад, вот второе, а вслед за ним и третье, не успеешь разыграть отведенную тебе роль до конца.

Ирка шефствует над Нелей. Она занимается хозяйством, заставляет ее утром рано вставать, идти в гастроном, не опускаться, не пьянствовать чрезмерно; сама Ирка — воля и характер, и что ей надо, она всегда делает, и не дай бог, если появится на ее пути кто-то и помешает дерзкому человеку в юбке. Перекусит горло. Неля полностью ей подчинена и не имеет права голоса. Дружба так дружба, никаких измен. Однажды Неля обманула Ирку, стала встречаться с мужиком, ничего подружке про него не сказала, Ирка за предательство хотела ее побить, а потом не стала пачкать руки, но факт запомнила. Так они и жили.

Рада была свободной, такой же свободной, как родилась. Правда, собака оставалась необразованной, не знала ни одной команды, ничего не выполняла и никого не слушалась, лаяла где надо и не надо, ночами тяжело стонала, как бешеная прыгала на стол и бегала по столу, опрокидывая бутылки и стаканы. Соседи и прохожие боялись одичавшей собаки. Посыпались письма, жалобы. А тут Ирке представился прекрасный случай, великолепная возможность предать Нелю.

Тихонечко приоткрылась дверь, и кто-то будто заглянул в комнату. Тогда вдруг из-за ширмы вышел Вячеслав Наумович. Таким озабоченным подружки его никогда еще не видели. В руках он держал вестник американского центра психиатрических исследований на английском языке.

— Вот, девочки! — задумчиво сказал он и потрепал голову собаки. — Теперь будьте осторожны.

Ирка, всегда чутко относившаяся к словам Славы Наумовича, почувствовала что-то неизвестное, но несущее перемены и замерла. Она слегка побледнела. Неля по своему легкомыслию отнеслась безразлично к психиатру, отмахнулась от него.

— Я вас предупредил! — донеслось из-за ширмы, где снова скрылся врач.

— Я с моей Радкой никого не боюсь! — выпалила Неля и чмокнула собаку.

Снова приоткрылась дверь. Снова стало очень тихо за ширмой. Было слышно, как напряженно дышит Вячеслав Наумович.

— Добрый вечер! — тихо прозвучало в комнате.

Это был ласковый и очень нежный голос со страшилкой, но очаровательный. Подружки увидели девушку в желтом платье, маленького роста с курносым носиком и зелеными глазами. Она стояла робко, но в то же время с каким-то правом на свое появление, и правом довольно жестоким. Утро было раннее и молчаливое, комната казалась огромной, золотой и очень тихой. Пряный аромат мертвых листьев шел от двора за окном. Девушка была горбатой. Гребень возвышался на правой лопатке, там, откуда должно было расти маленькое крыло злого ангела.

— Я из страны сосен и тихих радостей! — негромко объявила девушка и пошла прямо к Ирке с протянутой ладонью. Ирка радостно пожала маленькую руку и даже задержала в своей.

— Привет! — сказала Нелька. — Фокусница!

Рада пролаяла.

Девушка очень мягко, как по волнам, подошла к столу и тихонечко опустила руки на скатерть.

— Кто нальет мне фруктовой воды?

Ирка с радостью схватила бутылку, раскупорила и налила в хрустальный стаканчик.

— Звать меня Юлей! — ласково произнесла горбатая. — Да вы не бойтесь, садитесь, я никого не обижу и дурного ничего не скажу, почему-то все меня боятся, все думают, что я злая, будто в моих словах всегда какая-то подковырка; напрасно, напрасно, я вовсе не плохая, я, к примеру, прекрасно говорю по-итальянски. Вы не думайте, что раз я такая невеличка, то и юная, кто так подумает, ошибается, я двадцатипятилетняя, и недавно папа купил мне белые туфли, решил, что наконец-то я выйду замуж, но обманулся. Он каждый раз ошибается, вот только одно он премило сделал, когда три года назад подарил мне автомобиль, я теперь заядлая гонимая, гоняю и гоняю по ночным улицам, люблю встречать тихое, светлое утро в своих «Жигулях», летящих по Кутузовскому проспекту за лучом света. И папа снова

понял, что я навсегда останусь одинока, а тут у меня что-то вроде жениха появилось, совсем недавно, молодой человек, недурен собой и неглупый, только очень робкий какой-то и нерешительный, он и приходить стал ко мне — решил, что я сильная, увидел, как лихо я гоняю в машине, а сам очень боится, все думал, что мы непременно разобьемся, погибнем, а он очень хотел жить. И когда я сидела за рулем по утрам, он все дрожал и восхищался мною и так боялся солнечного розового огня, который несся на нас. А я еще доставала отличные американские диски, негритянские лирические блюзы, он их очень любил, я думала музыкой еще сильнее привязать его к себе, и он через эти гонки на рассвете и негритянскую меланхолию вцепится в меня, поверит в мою душу и никогда не уйдет, а мое уродство, мой горб, не должен был пугать его, он понемногу к нему привыкал, так что, если горба вдруг не оказалось бы на месте, он, наверное, смутится, и ему тогда чего-то обязательно не достанет. А мой папа молчал, он купил мне автомобиль, и дело с концом. Но потом однажды Алька принес осенью букет астр, и у папы снова возникло какое-то сомнение в моем будущем. Однако я сама была во всем виновата, я ведь злая, и не немножко злая, я сознаюсь в этом вам, и мне совсем не стыдно, я злая потому, что несчастная, другие калеки, может, и добры, но мы злые.

И я растоптала чувство Альки, когда еще только начала зарождаться любовь. Я не могла в это поверить, я не хотела надеяться на счастье, и потому я первая, я сама все погубила. Так мне было бы не очень больно... Я могла думать, что сама во всем виновата, а не мой горб. Мы сидели на лавочке у нашего дома в Черемушках, это было после того, как вернулись от одной нашей подруги. Мы застыли на лавочке, и незаметно протекла ночь, от холода он обнял меня, только рука его незаметно дрожала, наверное оттого, что было противно. А на рассвете ему стало не по себе, он уже не казался тем светлым юношей, он очень устал, и мы пошли в гараж, я вывела машину, посадила его, и мы помчались к его дому по безлюдному проспекту. Солнце напугало его, и он молчал, он думал, что я и солнце — это одно и то же, думал, что я вся сделана из воздуха и света, и только камень, камень на моей спине, казался мне проклятием, каким-то наказанием за грехи родителей, может быть, моего отца, которого никогда не любила мать. А когда я привезла Альку в его дворик, весь заросший желтеющим виноградом, и в воздухе, пустом и ясном, стелился горьковатый дымок сжигаемой прелой листвы, он был смущен, и ему было неудобно, он никак не мог уйти, выбраться из автомобиля, оставить меня одну и из жалости, я это прекрасно знала, предложил мне подняться вместе с ним, в его крошечную комнатку, но я видела по его побледневшим и чуточку синим губам, что ему совсем не хочется, чтоб я туда шла, и тогда я решила немножко его помучить. Я ничего не ответила. Опустила голову на руль, волосы мои были растрепаны, они закрыли мою голову, и это его напугало, он ведь родился для сострадания и жалости, конечно, сердце его должно было сжаться, увидев, как я плачу и какая я несчастная и больная, брошенная в пустом, золотистом автомобиле, залитом осенью.

Он не знал, что я не плакала, а просто притворялась, потому что грудь моя никогда не знала слез, я была слишком опустевшей и злой для этого. Но мне было по-своему плохо. И я по-своему страдала с точно рассчитанной мстительностью, мне хотелось помучить его, расстроить, сделать так, чтоб я стала его виной на всю жизнь, чтоб эта вина как язва и как тяжкое воспоминание лежала на его душе. Я хотела его чуточку покалечить. Он осторожно поднимался по грязной каменной лестнице на свой четвертый этаж и был рад тому, что не слышит моих мраморных шагов, но когда он уже собирался осторожно закрыть за собою дверь, когда только тонкая полоска утра прошалась с ним и успокаивала его душу, я застучала каблуками белых свадебных туфель. И он, вздрогнув, нарисовал радостное лицо, белый, как смерть, распахнул дверь. Я сделала вид, что раздумываю, и зажмурила глаза, и он тоже, ему тоже пришлось замереть, я слышала, как тревожно стучало утро в его груди, оно остановилось громким, и я стояла вот так, с закрытыми глазами, ровно столько времени, сколько нужно, чтоб вконец испугать его, вконец довести до изнеможения, но не настолько долго, чтоб он вдруг, разозлившись, захлопнул дверь.

Я вошла как робкая кошечка, промелькнула в его милую студенческую комнатку. Увидела розовую хрустальную вазу, огромную карту мира во всю стену и маленький диванчик, который служил ему экраном пустых фантазий. Я вошла, и он стал как будто очень добрым, мягким, женственным, я улыбнулась, видя его

усилия, я застыла в дверях, чтоб он снова не понял, пришла ли я сюда навсегда или скроюсь вот сейчас, немедленно, как тяжелая муха с черными ядовитыми крыльями.

Я попросила налить мне чистой, прозрачной воды в стакан, и он побежал на кухню исполнять поручение, но его долго не было, наверное, он страшился снова войти сюда, в свою комнату, где эта ужасная девушка. А утро становилось все более прекрасным. Прохладную тишину утра разбивало только пение птицы. Окно в прохладный сад было налито светлым туманом, и ярко блестело в пожухлых листьях солнце. Вода в стакане оказалась лучезарной, но очень тяжелой. Небо оцепенело в комнате. Я пила чудотворную, равнодушную воду и молчала, но молчала я так, что он страдал, снова задышался и боялся меня, я хорошо знала это, и мне было весело от всего этого, а он готов был крикнуть, чтоб я уходила навсегда, вон с его глаз, растворилась в легком тумане, но я все не уходила, будто желая, чтобы он лег со мною на грязный диван, делала вид, будто раздумываю, будто не знаю, чего мне хочется и как мне хочется, стремясь вызвать в нем опять чувство вины, чтоб он пожелал искупить ее, согласился обнять мои неуютные, холодные плечи, он даже приблизился ко мне, очень осторожно, нетвердым, но мужественным шагом, и лицо его оставалось спокойным, словно он решился на какое-то страшное добро, а я беспощадно зажмурила глаза, тихо по-детски улыбнувшись, однако улыбка моя была коварной, и я почуяла, как похолодела кровь его горла, и тогда я сразу приоткрыла рот, блеснули мои ровные, жемчужные зубы, в руке моей дрожала вода, а он молчал, потом внезапно сел на диван, обхватил голову руками и молил, все молил солнце, чтоб оно перестало быть сентябрьским и примолкло на мгновение. Вот почему мне не было жаль его, он мне был безразличен оттого, что не мог обнажить одинокий мой горб и страстно целовать. Он потянулся к моей воде, и я оставила ему совсем немножко на дне стакана, все так же улыбаясь, стала медленно покидать его крошечную обитель, а он не верил своим глазам, он боялся глядеть на дверь, я остановилась, чтоб заставить его страдать еще больше, а когда все-таки, сама не знаю как, очутилась во дворе, он бросился на диванчик и ждал, пока не исчезнет мой автомобиль.

Но я не собиралась так быстро облегчать жизнь нервному мальчику, я долго прогревала мотор, потом как будто заснула на руле, а мотор все работал, и солнце становилось просто каким-то демоном. Я знала, как болит горло робкого мальчика, я знала, как ранена его горловина, но он вовсе не казался мне жертвенным человеком, его груди не хватало болезненной, оставляющей глубокий след травмы.

Алька жмурился, как слепой, умоляя зыбкое утро исчезнуть, но ничто не могло помочь ему, только внезапный крик разбуженного мотором соседа спас его. Этот жлоб выругал меня грубо, очень грубо. Страшное ругательство, самое отвратительное, какое только может быть сказано женщине. И тогда я нажала на педаль и с воем унеслась на светлый воздух, на открытый проспект, на бешеной скорости, невиданной и безумной. Грязное, циничное, оскорбительное ругательство взбудоражило Альку, он был раздавлен им, но в то же время ему было приятно; странно, он стыдился себя, но знал, что ему хорошо оттого, что меня обозвали так бесчеловечно. Будто гора свалилась с его плеч, и он на мгновение вздохнул свободно и легко, но это оказалось обманом, иллюзией, потому что вслед за этим он выбежал на улицу, чтоб найти мои следы, он слышал грохот, скрежет, звон, он решил, что я врезалась в его сердце и мертвая лежу в крови на тротуаре.

Я тихо пряталась за деревом. Я была жива и злопамятна. А он, бледный и страдающий, стоял на проспекте в стареньких джинсах, в майке и непонимающе глядел на свои руки убицы...

Горбатая девушка улыбалась. Очень милая, только горб пакостил ее лучезарность. Она улыбнулась Ирке.

— Я Юлия! — повторила она.

— И ты будешь дружить с нами? — обрадовалась Ирка.

— Я хочу дружить с тобой! — сказала Юлия.

— Кури! — деловито протянула сигареты Ирка.

Девушки закурили.

— Какой черный, черный терьер! — вздохнула Юлия. — И что, он вам приносит счастье?

— Не касайся моей собаки! — капризно закричала Нелька. Собака потянулась к Нелькиным губам.

— А кто это храпит за ширмой? — удивилась горбатая.

Подружки заглянули туда. Вячеслав Наумович безмятежно спал, опустив голову на старенький портфель.

— Ах, он! — усмехнулась Юля. — Ну, этот человек с большими мозгами нам не помешает.

— А мы с Радой на вас чихали! — обиженно отрезала Нелька, оседлала черную собаку и стала кататься на ней по комнате, как амазонка, размахивая босыми ногами, грязными пятками. Но ее не слышали уже две девушки. Что-то невидимое, что-то прекрасное зарождалось в их душах. Может быть, счастье. Может быть, овеществленный, грубый образ его. Ах, опасно дружить с Ирккой. Она предательница. Она может нанести очень большой, почти незалечимый удар. Но здесь сошлись две стихии, и не так просто победить одной из них. Ирка, идущая всегда напролом для достижения любых своих целей. А цели — самые простые и сложные. Ирка хотела иметь подругу, это прежде всего, этого требовало все ее существо; натура; природа ее не терпела одиночества, она, как плющ, должна обвиваться вокруг какого-нибудь дерева или самой быть деревом, пусть сосут ее соки. Она хотела чувствовать себя не потеряннм человеком, а победительницей. Делать очень простые вещи с уверенностью и сознанием своей силы и необходимости самого деяния.

...Встречаться с подругой, идти с ней куда-нибудь, в кино, на прогулку, в гости, вместе бродить по магазинам, добывать что-нибудь из тряпок, совершать поездки, например в Питер, на белые ночи. Заботиться о подруге — вот ее страсть. Отдавать себя всю, без остатка, на тьму мелочей, необходимых душе подруги, но это не безвозмездно, за это она должна брать, брать во что бы то ни стало, и не дай бог встать тогда на ее пути, не дай бог! Юля ласково потрепала Ирку по плечу, потрепала ее волосы.

— Я дам тебе целый мир! Мир ласки, нежности и сочувствия. Тебе не придется заботиться обо мне. Я буду твоей птицей. Ты станешь мягче, добрее, меньше будет срывов, злости, и пить ты совсем перестанешь, так, иногда только со мной, по рюмочке сухого пригубим, иногда, уютным вечером.

Рада скулила.

— А я? — спросила Нелька. Лицо ее осунулось, мордочка стала такой худенькой и детской.

— Ты нам ни к чему? Хватит тебя в Иркиной жизни, слава богу, несколько лет на тебя угробила! А что ты ей дала? С мужиками накальвала, когда кто напоит?

— Мама умерла сегодня! — сказала Нелька.

Но никто ее не слышал. Ирка и Юля танцевали молодежный танец. Потом обе, не оглядываясь, оделись и выбрались на осень. Холод облаков был пророчеством святого. Неля молчала. Она молчала и тогда, когда Вячеслав Наумович наконец проснулся и вдруг, спохватившись, стал лихорадочно собирать свой профессорский потрепанный портфелишко, торопясь на прием в лечебно-трудовые мастерские.

— Что ж... — сказал он Нельке. — Все очень даже хорошо получается.

— Вот вы какой! — обиженно поджала губы Нелька.

— До свиданья, девочка! — он нахлобучил на седеющую лысину гимназиста шляпу.

— Как жить дальше? — закричала Нелька.

— Тебе остается собака! — донеслось из подъезда.

Она думала, что для этого достаточно заглянуть псине в глаза. Она думала, что для этого надо только быть несчастной.

— Опять лают! — недовольно вздрогнули соседи.

Никто из людей в вечеряющий час не мог догадаться, что Нелька стоит на коленях и зовет свою мать. Но это кричали две девушки. Это было одно горло, пропитанное солнцем.

Поскуливать в платочек за общим столом праздника, а потом молчать и не глядеть на Ирку и с надеждой ждать, что она, отпив из рюмки водки и выпустив деловито из носа дым, подойдет незаметно к ней сзади, и так властно и дружески

обнимет за плечо, и так тепло и сладко станет от этого на душе у Нельки, ей захочется лететь куда-то, распрямив крылья, вон к тем облакам, к тому солнцу, и дрожать от ветра, он будет так легко, юный, биться о ее худые щеки...

А потом дома, когда они придут из гостей, надо не отвечать на взгляды Ирки и делать вид, будто ничего не замечаешь, снова отойти в сторонку и сесть на диван, отвернувшись, поставить пластинку и закрыться ладонью, словно не видишь жизни и ничего и никого не знаешь, а самой сжаться, чуть дыша, и напряженно ждать, когда своенравный друг в юбке, навсегда любимая и родная подруга, знакомая до самой последней родинки, вдруг громко и совсем незлобно произнесет: «Ну, хватит, мать, дуться!» — и крик радости вырвется у Нельки, и она бросится на грудь незлопамятной, чудесной товарки.

И снова счастье, вот ведь как странно, чего только люди не называют счастьем, но правда — для Нельки это самое настоящее и единственное, снова водой из солнечного ведра обольет голову, снова распахнутыми окажутся окна ее жизни и в каждом окне девушку станет ждать непорочно зачатый голубь ее детства. Ах, она сама тогда могла унести, выпорхнуть из окна в ночной рубашке с единственным крылом, такая радостная и немножко больная...

Вот отчего острые и желтеющие зубы брошенной грызли белую траву, растущую из подушки, прошлогоднюю зимнюю каменистую траву, что замерзла в снегу и в остывающем рту, полураскрытом, без поцелуя не было ни счастья, ни музыки, ни даже дыхания младенца.

Она хотела слышать, слышать бесконечно легкие, как ветер, Иркины шаги. Но в комнате было пусто.

Где-то в далеком, недостижимом воздухе начинали расти и снова чахли, умирая, ромашки, крупные и очень легкие, кричали слабыми грудными голосами их родители, шла война белых цветов с черными цветами. Шла война.

Какие-то двадцатилетние молодые люди влюблялись, назначали свидания, приглашали в кафе на мороженое, смеялись, немножко ревновали, иногда страдали, теряли любовь, но оставались пока сильными, насыщенными надеждой, а она, Ирка, высохшими пальцами утерла глаза, совершенно чужие и полые, вздохнула и тихо позвала собаку.

Рада сидела возле гардероба и глядела в зеркало. Она видела в нем какую-то собаку с грустными, широко раскрытыми глазами. Пси́на понимала, что жить ей оставалось недолго. Урожай страданий готовились убирать облака. Людскими муками питались небеса, это была их отвратительная и героическая пища.

Она была настоящей на одном только начале. Все в мире создано из Начала. Любовь без начала — это уже не любовь. Это некое подобие смерти. Поэтому мы так любим тех редкостных людей, что сотканы из начал.

— Глядите, — говорим мы, — вот идет высокий, небесный человек, в котором только одно начало... А вон та стройная и смуглая очаровательная женщина со злыми губами, она, к сожалению, начисто, жестоко лишена начала... «Бедная женщина, — вздохнем мы, — страшно рядом с ней».

К часу дня Неля заснула ненадолго, но во сне она вздрогнула от невыносимой боли, страшной для головы, для мозга, но не для той области, где она возникала. Был разрыв, конец, но он почему-то предстал в объеме, как облако, его можно и нужно схватить руками, но руки связаны под подушкой и задавлены тяжелыми камнями.

Это была пропасть, прямо у ее глаз, яма, такая светлая и глубокая, которую она никак не могла одолеть.

В тяжелом, глухом забытии женская натура восставала против смерти дружбы, ее плоть и душа сопротивлялись насильственному умерщвлению. Ведь смерть любви противна природе, противна воздуху тишины и жизни.

Иногда она улыбалась, болезненно и отчаянно, улыбка как мгновенная надежда на радость, даже боль говорила о том, что дружба с Иркой никогда не может кончиться, боль поразительной силы сопротивлялась исчезновению любви. И тогда странная мгновенная безумная радость опалела гортань, но тут же повергала в еще

более жестокое страдание. Ей хотелось зажать рот ладонями, но руки были раздавлены камнями. Она рыдала, но не было слов, рыдала в звуконепроницаемое, безвоздушное пространство.

— Не вспоминать, не вспоминать! — шептала Неля. — Только ничего не вспоминать.

Страницы сгоревшего счастья, разбитой надежды.

Однажды летом подруги поехали за город, на реку, и там странно блестела добрая трава под их босыми ногами и ласковый ветер овеивал, гладил их лица. Нелька хохотала, умирая от безумного, счастливого и несчастного смеха в чудотворной речной воде, среди мокрых плавающих цветов на женской глади берега, оттого что Ирка, крепкая и ловкая, как подросток, обливала ее святой полевой водой, крестила дружбой и золотистым загаром своих рук.

Неля видела, как потом берег принял их на себя, отдался им своей песчаной душой, не ревнуя к солнцу, как молчал под легкостью их любящих тел, стонал соками всех своих корней в ответ и благодарил два девчоночьих хрупких тела за доверие и заботу о земле.

Солнце отлеживалось на их спинах, а когда оно смягчилось и день стал оцепеневать, оно тихо смирилось с их забывчивостью, позволив им вообразить в дремоте, что мир спит и что и они должны спать, сонно разглядывая расплывающийся в позолоченных отблесках закат и тянуться друг к другу, страшась ночи, что уже тихо дышала где-то за холмом, прячась пока в темноватом и сыреющем перелеске.

— Ирка! Ты никогда не обидишь? Ты защитишь меня от ночи?

Ирка молчала и внезапно грубо и очень больно обнимала подругу за детскую шею...

Так начался день.

Рада скулила зауспокойно и тягостно.

— Ты хочешь выпить, дрянная? — странно и неприятно улыбнулась Неля. Убитая улыбка пьяной женщины. — Я тебя испортила, собака! — со смехом и горько говорила Нелька. — Я не желала тебя воспитывать, я только сделала тебя такой, как я сама, благоухающей, аристократичной женщиной. Я не имела над тобой власти, да, да, не тарашь глаза, псина, ты была единственным существом, что подчинялось мне в богохульном, присносушном городе. Я тебя погубила, а теперь ты мне мстишь, дрянная! — истерично взвизгнула Нелька. — Презираешь, хочешь загрызть. Я боюсь, зверюга! — Нелька протянула на дрожащей ладони стакан: — На, выпей!

И когда собака стала жадно лакать водку, Неля вдруг громко заревела и обняла жуткую морду, захотела поцеловать рот черного терьера. Но сука зарычала, оскалившись, и Нелька испуганно бросила свою любимицу. Она надела ошейник, ей хотелось, чтобы все прохожие поняли, что она тоже собака. Но никто не дал ей такого права, стать чистой, как животное, и она вероломно решила влезть в святую, непорочную шкуру.

— Я — жертва! — закричала она Раде.

Собака молчала. Замолчала и женщина. Они выбрались на свежий, ветреный день. Сильно пахло листьями. Чистый, как душа Бориса Пастернака, день. Напряженная духота исчезла, и рот свободнее набрал юное тепло бабьего лета. Неля шла со своей черной громадной собакой по песку. Было так тихо, что слышалось сопение ребенка, играющего ведром у дряхлых ног старухи в деревенском белом платочке.

Дворовые бабки глядели вслед растрепанной женщине.

— Вона иде бесстыжая! Совести в ней нету! Чумная! И зверюгу свою бешеную на веревке тащит.

Неля ни на кого не обращала внимания, шла тихо, едва слышно в своем худом пальтишке и равнодушно молчала. Маленькие круглые глаза дышали нездешней, темной тоской. Может быть, святостью.

Она села на мокрую от легкого дождя лавочку и закурила.

Бабки глядели на женщину. Женщина спокойно курила. Осень дремала. Глаза

женщины были грязными от чистых слез. Никого не было рядом с ней, кроме собаки. Собака прижалась к коленям, и на женщину пахнуло теплотой. Надо было только научить лаять свою душу. Облака отдыхали, наслаждаясь ленью. Могилка мамы была тихой. Давно прошли летние мечты. Отшумели белые ливни. Горечь тонкого воздуха раздражала землю. Неля подняла опустелый лист с маминой подушки. Может быть, Нелю родила большая раздутая собака? Никого вокруг, Неля вслушивалась в прозрачный голос мамы. В детство. Там было удивительно чисто. Рада прислонилась к желтому клену и ловила в воздухе жизнь. Она чего-то ждала. Ждала легкого счастья, легкого, как дымка, и дыхание не гило, а наливалось горечью.

Глядите, вон встреча с едва пойманной радостью во дворе дня. Собака была счастлива своими младенческими слезами. А день не гибнет, он насыщает свою плоть все новыми язвами счастья.

Женщина и собака приехали на студию. Неле не хотелось идти сюда, слышать каких-то людей, объяснять свое одиночество, но что она могла рассказать представителям жизни? Собаку не пустили на кинофабрику.

Хвылин не желал разговаривать с Нелей. Помятый и постаревший, будто запил. Бравый юношеский налет слетел с него, обнажив хватку киношного дельца, осталась солнцу одна мужиковатая грубость. Шея почему-то была исцарапана.

— Старуха, ты чего притащилась?

— Чего ж мне, провалиться, что ли?

— Ага, проваливай, с тобой скатишься на дно жизни, с твоими собаками и пьянками.

Неля молчала.

— Ты, старуха, больше не ходи сюда, с тобой работы не будет, а у меня большие творческие планы на будущее. Я должен в Канны на фестиваль махнуть с детской картиной про непорочных девочек, потом с Анджеем Вайдой совместную постановку делать, так что, старушка, ты иди, пока...

Неля знала, что ей теперь не на что содержать и кормить Раду, что, может быть, надо бросить ее на улице.

— Я в гору пошел! — закричал Хвылин ей в спину. — Поклонники появились, считают меня публичным реалистом. Модное такое направление. Я публичный мужчина.

Ветер стал задувать в лицо. Пыль поднималась на дорожке и кувыркалась, кидалась к рукам. Собака бежала рядом, опустив голову. Теплое, тихое ожидание покоя смягчило собаку.

Вячеслав Наумович в бедном халате и с портфелем возник как привидение из-за дерева. Халат надет поверх плаща. Горький воздух остро пахнет умирающим листом.

— Девочка, что такая печальная и спокойная?

Неля не могла с ним разговаривать. Но врач схватил ее за руку:

— Я тебя на работу пристроил, инкассатором. В районное отделение банка.

— В банк?

— Ага! Работа интересная. Деньги возить.

— Но я никогда не видела денег!

— Ничего, ничегошеньки, я вот, видишь, как присмирел с недавних пор, как Хвылина не стало. Я взгляд растерянный и острый потерял, стал как-то ленивее относиться к психам. Жду новой осени и боюсь бабьего лета.

Рада вдруг легла на пыльный тротуар и заснула. Ей снилась лошадь, большая белая лошадь, что ела мясо. Лошадь была подопытной, врачи хотели превратить ее во что-то жестокое.

— Завтра тебе прямо и выходить на работу, только не напивайся.

Потом психиатр так же внезапно исчез. Неля шла к трамваю. Собака за ней.

Странно то, что она могла еще кого-то привлекать, одинокая, блеклая, может быть, что-то светилось в ее мраморных закрытых глазах, а может, казалось, что налет порока таится в уголках сжатых губ. Вон молодой человек, думает она,

клонул на это. Фантазии мелкого пакостника. А какой он был голубоглазый и невинно гадкий, жалкий и испорченный трусостью до мозга костей. Он боялся птиц и зверей, он знал, что они, особенно птицы, темнеют, когда душа его пролетает поблизости.

Он понимал, что Рада видит насквозь, вот почему он даже не пытался подлизываться к ней и едва протянул ладонь, чтоб лживо провести по грязной шершавой спине, как собака оскалила пасть.

— До чего ж вы мне все надоели! — тоскливо вздохнула Нелька. — Ах, оставьте меня в покое!

Юноша сжал пальцы, подбородок его дрожал мелко; типичный несостоявшийся, сохранивший от интеллигента только одни пороки, так и не приобретший достоинств, прочитавший вразброс и случайно десятка два полуфилософских, полусексуальных книжонок, растерянный, одинокий, сгубивший своим черным пессимизмом несколько девушек, но и сам потерпевший от других, таких же расслабленных, как и он, оболгавший солнце.

Он боялся чистых, легких девочек.

«Они все с ядом в горле», — думал он. Искал теперь только свою судьбу, пусть ужасную, страшную, но одну, свой рок.

Ах, это так приятно и сладко — запутаться в собственной обреченности, как в паутине или свисающем с веревки белье.

Вот у этой, болезненной и грязноватой, показалось ему, братская душа. Она — бальзам.

— Я не могу от тебя отстать! — тихо и робко и в то же время как одержимый шептал он.

Глаза его, темно-голубые и мертвые, сухо и нездорово блестели, выжимая страсть отчаявшегося. Что-то совсем нереальное, несегодняшнее. Неля знала таких людей. Они всегда были слабее ее, но каждый раз наносили боль, каким-то образом догадывались о том, что она беззащитная. Нелька прибавила ходу. Она шла быстро и не оглядывалась. Бледный молодой человек бежал за ней.

— Чего пристал, сосунок! — обозлилась она. — Отстань, слабак, не проглотишь, подавишься!

— Оскорбляйте, ради Бога! — радостно попросил он. — Я так рад вашим словам. Правда, честное слово!

Нелька знала, что маньяк не отвяжется.

— За что это на меня всегда вот такие неполноценные лезут?! Что я им, всем должна, что ли?

— Я понял, я все понял, — очень тихо, оглядываясь по сторонам, будто совершал что-то грязное и прекрасно зная о творимом, шептал кавалер. — Ты моя судьба! Да, да! — нараспев бормотал он, как шаман. — И теперь я никогда от тебя не отцеплюсь, честное слово, любимая.

— Я проститутка.

— Светлую душу твою хочу!

— Я мертвая.

— О, как я буду гладить по утрам твои волосы, твои руки и нежно целовать их.

— Я собака, — промолвила Неля.

Он выпрямился. Потом рассмеялся.

— Я на любое несчастье пойду, — быстро и нервно заговорил он. — Меня зовут Юрой. Вы, пожалуйста, не бойтесь меня.

Он был худым, отрастил якобы длинные волосы, на самом деле худосочные и рваные. Глаза юноши отливали мутью. Когда-то давно могли чисто дрожать его губы. Руки его прятались от желтого, обманутого осенним светом дня. Мертвый брат его возносился к повисшим над городом вратам вечности. Брат бродил в осеннем парке позабытых людей.

— Я так давно не видел хорошее лицо, — вымолвил юноша. — Мой брат был таким чистым. Вот отчего он рано заболел. Любил бродить по опавшим листьям. Слушать, как играет на скрипке святой, но он умер.

Неля спокойно поглядела на юношу. Что-то честное пробивалось сквозь его ненормальность. Какое-то начало. Очень часто больные люди обманщики, а тут вдруг промелькнула тяга к незамутненности. Она не верила ему пока и не собиралась, но любопытство шевельнулось в ней. И все же решила бросить уличного

монаха. Зачем же тогда она замерла на мгновение на пыльном ветру, безнадежная птица, которой тоже надо полетать немного, а потом упасть на чей-нибудь подоконник. Неля шла через парк, где гулял его брат. Песок был холодным и сквозным. Босые следы умершего брата были мокрыми, кто-то их обрызгал росой.

— Это я сам, — шептал юноша. — Прежде чем меня искалечил ангел-хранитель.

Неля взглянула на человека, шедшего по дорожке. Мягко наклонила голову, и лицо ее засветилось.

«Славный человек!» — подумала она.

И собиралась уже открыто улыбнуться ему, словно ждала его целую жизнь, но ревнивый юноша забросал следы святого мокрым песком. Песок забил ему глаза. Черная собака заскулила. Тогда Юра упал на колени и умолял Нелю не покидать его.

— Время разбрасывать камни, и время собирать камни, — плакал он.

Неля вздохнула. Она знала, что ей непросто будет избавиться от него.

— Ладно, — ответила. — Надо только собаку куда-нибудь деть.

Черный терьер понуро опустил голову.

— Когда мы освободимся от псины, мы будем счастливы с тобой! — вдохновенно вскричал Юра.

Они решили предлагать собаку всем прохожим. Сначала выбрались из дремучего парка, освободились от красноватых стройных сосен, высоко поднявших ветви. Сильный запах зарезанного ножом яблока стоял в воздухе. Но никто не брал собаку.

Ее с радостью обнял какой-то мальчик, но тут же отдал обратно. Мама заставила его сделать это. Потом две женщины обалдели от прекрасной суки, тут же увели ее, но позже вернулись. Объяснили, что Рада плачет ночами и никому в доме не дает спать.

Старик долго тащил собаку на ремне, бил ее ногами, но не растоптал совесть. Рада мчалась назад с громким лаем. Юра бледнел при виде вернувшейся собаки. Наконец, к счастью, какой-то полковник в отставке аккуратно записал Нелькин адрес в блокнот и вечером приехал за Радой. Юра молчал. Он вошел за женщиной в ее комнату. Здесь сначала почувствовал себя чужим. Собака сразу залезла под диван. Юра видел, что попал в опустевшую комнату — в несостоявшуюся жизнь. Голубоватый рваный халатик, брошенный на спинку стула, белые туфли, что валялись под разбитым зеркалом. Это будуар старухи. Голая детская. Кто-то давным-давно оскорбил комнату, остановил часы. Горько было глядеть на помаду. Неля, казалось, не имела ничего общего с ней, никакого кровного родства. Она стояла рядом с мутным зеркалом, чужая, как отрезанный ломоть хлеба, оторванная от вечных атрибутов женщины. Сирота рядом с теплой кроватью канувшей в бессмертия матери. Неля раздавила каблуком слезу. Накрасила черной краской глаза и сидела в жакетке на диване, нахохлившись, как пугливая ворона. Юра постучал в ворота ее страны. Он решил поцеловать Нелины холодные ноги. Так и сделал. Это был мальчишеский поступок, совсем не геройский.

— Прости меня, — шепнула Неля.

А он закрыл глаза и отчетливо, ясно слушал слова, что как камни летели в светлеющую комнату.

Красное вино блестело на белой скатерти. Душным и раскаленным стало дыхание Нели. Она никогда не думала, что счастье возрождается. Она могла еще быть доброй и гладила ладонью его вдовью голову. Юра жадно и воспаленно целовал гипсовые пальцы заблудшей овцы. Он боялся разбить девочку, как белое изваяние Девы Марии в католическом храме. Золотистый, солнечный свет играл в волосах женщины. Бывший полковник явился праздничный и нарядный в своей полковничьей форме, круглолицый, с красным носиком, в очках, даже принес сухие цветы и, галантно припав на одно колено, опустил голову, протянул полевой дар.

Шумел за окном одичавший, голый клен. Отблески лампочки легли на лысину полковника, тащившего в сырую ночь собаку.

Рада обиженно поглядела на хозяйку.

— Иди, Радочка! — и Неля отвернулась, а потом вдруг бросилась к ней. Но собака отпрянула в сторону. Заплакала.

Тогда видавший виды полковник, звеня шпорами, стал бормотать молитву, уходя с собакой в темнеющие мгновенья.

В побледневшей свадебной комнате Юра и Неля глядели друг на друга.

— Да, я больной, — сказал Юра. — Ну и что с того?

Девушка вдруг поверила в чудо. Она широко раскрыла глаза и не мигая напряженно смотрела на него.

«Вот отчего моя жизнь была тяжелой, — подумала она. — Я ждала его».

Оба слушали рождественскую мессу Генделя. Юра был весь в летних, засыхающих цветах. Августовский лоб его блестел в темноте.

Рот девушки отсвечивал пылью, отпечатками сотен поцелуев.

— Как тебя целовали двуногие псы, — лицо юноши сжалось. — Я думаю об этом.

— Только не обнимай мои руки, — вздрогнула Неля и закрылась одеялом.

— Ты — нежность, — прошептал Юра.

Господи, и такие слова он говорил старухе, вчерашней девочке, помешавшейся на водке.

— Милая! — тихо шептал Юра.

— Что? — вдруг отозвалась девочка.

— Немного солнца хочешь? — спросил он. — Твое лицо белое?

— Белое, — вздохнула девочка.

— Можно я легко, очень осторожно поцелую твою солнечную щеку?

— Не прикасайся ко мне. Мне тяжело. Мама умерла сегодня.

— Ты пила когда-нибудь мою кровь?

— Псих! Оставь меня!

— Вот любовь, не пугайся. Нищая, она прекрасна. Видишь, я снимаю халатик с твоего тела, почему ты дрожишь?

— Я хочу умереть!

— Не бойся. Умирают только собаки.

— Я собака! Хорошо быть собакой.

— Я люблю! — вдруг прошелестело в оцепеневшей комнате.

— Оставь меня! — закричала она. И стала драться. — Оставь!

Ему хотелось прижать ее к себе крепко. Пока не замрет, вздрагивая во сне, худая детская спина. Сейчас надо победить ее, пусть это грубо, но надо, чтоб потом, когда ей станет лучше, объяснить все иначе, прошептать ей, но как должен он теперь сказать о любви, о том, что не тело дорого ему, а совсем другое. Юра не понимал, что нельзя касаться в эту ночь ее тела, так он уничтожал проблеск радости в прокаженной твари. Но он легко овладевал ею, а она была маленьким, потемневшим комком птицы. Когда рот его стал дышать горячо, она взвизгнула жалобно и испуганно:

— Мама умерла сегодня!

Так свершилось больное, когда чужой человек надругался над ее почти умершей душой. Счастье ушло, он тихо, безмолвно оделся, заплакал и исчез. Но вслед за ним в комнате оказался полковник, он вернул собаку. Рада дико лаяла.

— Ваша собака обезумела и перегрызла моему племяннику горло! — сообщил полковник. — Живите с нею, как раньше.

Побитая собака села рядом с Нелей, стала лизать ее лоб, мертвые ресницы.

Раде снилась улица. Две собаки резво бежали в ночи. Они любили друг друга. Вдруг автомобиль налетел на них сзади. Когда он исчез, одна из собак лежала. Другая звала ее, весело виляя хвостом.

Раненая подняла голову и всеми перебитыми ногами и раздавленным сердцем пыталась восстать к жизни, чтоб легко, так же, как подруга, затрусить дальше по каким-то своим делам, ловко шлепая лапами об асфальт.

Но, вытянувшись, она вдруг повалилась. Подруга обнюхала ее, не чуя смерти, и исчезла где-то за темной пылью.

Утром приехала Ирка. Неля растянулась на черном полу голая. Ирка подняла ее голову, стала тереть виски.

— Нелька, что с тобой? Умерла? Забалдела? Нелька!

Но совсем нелегко было вернуть, возратить в круг жизни утопленницу. Неля открыла глаза, взор ее отливала мутью.

— Ты чего, мать, а?

Неля смутно догадалась, кто это. Она вдруг слабыми губами поцеловала Иркину руку.

— Здравствуй, — прошептала она.

И снова потянулась к ней ртом. Ирка встала, выпрямилась.

— Хватит тебе, вот жрать привезла, умойся!

— Я ничего не хочу, мне ничего без тебя не надо!

— Да здесь я, чего стонешь?

Неля схватила подругу за ноги:

— Не уходи!

Неожиданно она встрепенулась. В дверях горбатая Юлька. Царственная, низкорослая победительница.

— На гадину променяла ты мои святые чувства? — Неля опустила растрепанную голову.

— А кто ты такая? — усмехнулась Юлька. — Что ты можешь дать ей, кроме твоей грязной конуры и слюнявой собаки? Пьянок и драк! И твоей эпилепсии.

— Тогда уберите обе!

Автомобиль медленно отъехал от тротуара.

Теперь не скоро наступит ночь в нашем городе. Долго ее ждать, смотреть на солнце и мечтать, чтобы побыстрее растаяло пространство, чтобы снова свалиться на пол голой и тихо плакать.

— Мама!

Неля вдруг решила одеться и идти на работу. Ей сегодня в первый день выходить, ведь взяли инкассатором, она должна получить пустой мешок для денег и револьвер. Нашла в гардеробе красный костюм, надела и очень неплохо в нем выглядела. Когда шла по улице с собакой, прохожие даже оглядывались. От солнца казалось прекрасным, посвежевшим ее сморщенное совсем недавно лицо. Она не напудрилась, не подкрасила губы и не подвела тушью глаза. Рада весело бежала рядом.

В сберкассе Неле выдали мешок, с револьвером, как объяснили, пока дело было плохо. Револьвер находился в ремонте, заржавевший, но его обещали скоро починить. Ей поручено на первый раз принести из гастронома десять тысяч. Яркое такое солнце. Печаль моя светла! Печаль моя полна тобою. Вырвалась все-таки девушка к счастью. Неожиданно и безмолвно произошло сошествие святого духа. Из-за клена показался нарядный и бодрый Вячеслав Наумович.

— Неля! — он пошел ей навстречу.

Вячеслав Наумович слегка располнел и совсем почти утерял хищнический, орлиный прищур страшноватых глаз. Врач снял с руки девушки длинную прозрачную перчатку и осторожно коснулся губами ее прохладной кожи. Не выпускал руку, так ему было хорошо. Предлагал отправиться в кафе, хотел угостить соком, набивался в друзья, объяснял, что сегодня успешная защита его докторской диссертации. Но Неля ответила, что она инкассатор и ей надо торопиться.

— Мама умерла сегодня!

— Бывает, бывает, — скороговоркой произнес психиатр.

Он раскланялся и весело махнул платочком. Неля запела навстречу листьям. Песня была легкой. Листья шелестели. Вдруг подошел Юра. Неля отшатнулась. Лицо его почернело, глаза больные и заплаканные.

— погоди! — потянулся к ней Юра.

Неля не отвечала.

— Я знаю, ты меня бросила. Не возвращься. А я хотел спасти тебя. И случайно все разбил. Я хочу воскресить тебя!

— Мне сейчас легко! — ответила Неля.

— Я знаю, и мне страшно.

— Прощай, — выдохнула Неля.

Юра заплакал. Неля погладила его лоб, она торопилась на работу, а еще надо заехать в лабораторию. Юра плакал.

Он остался один, сорвал желтый лист, держал его в руках и разглядывал. Психиатр в белом халате подошел к нему, и оба отправились гулять по залитой бабьим летом улице. Юра, оглядываясь по сторонам, что-то возбужденно рассказывал врачу.

Дом, куда наконец приехала Неля, был маленьким. Очень чистое помещение. И очень ласково приняла ее дежурная. Тут все вежливы и предупредительны. Вот повели на смерть розового бегемота, что вырос в московской квартире, два санитары тащили его, бегемот только недавно сытно позавтракал и не думал оказывать сопротивление. Он не знал, сколько полезного можно извлечь из его тяжелого тела.

Нелю с собакой провели через коридор в опрятную комнатку с белыми диванами и остановились возле одного из них. В горшке на подоконнике росла некрасивая герань.

Милая женщина обаятельно улыбнулась и потрепала псиную морду.

— Как звать тебя, собачка? — ласково спросила она.

— Это Радочка моя, — торопливо объяснила Неля. — Моя умница.

Собака внезапно вздрогнула, ей не понравилась женщина. Рада стала грозно лаять.

— Чего, чего ты? — раздался голос женщины, и вдруг Неля заметила, как в ее маленькой руке блеснул шприц. Неля крепко стиснула глаза. Обнаружила, что это она спит на рваной простыне, босая и запрокинув тяжелую голову. Это в ее голую пятку вонзилась игла.

...Чтоб не закружилось все перед глазами, чтоб не затошнило, она вышла из комнаты, но когда случайно обернулась, оказалось, что черная собака давно спит. Спящая, она казалась огромной.

А потом в трамвае ей стало плохо, начался припадок, она упала на грязный пол и потеряла мешок для денег, люди спрашивали Юру, с ней ли он? Ведь это его они видели рядом с Нелей. Но Юра стал божиться и клясться, что не знает этой женщины.

Неля лежала в трамвае, пустой мешок валялся рядом.

Испитое лицо, заплаканные глаза, и странно, вроде бы они, бедные ее глаза, не достойны счастья и в них нет уже ничего трезвого. Но она почему-то слышала Моцарта, и никуда от него не денешься, слышала отчужденно, как шум прибоя, как ток крови, хлестнувшей на тротуар перед разрывом сердца.

К шестидесятилетию со дня рождения

Евгений Рейн

Дышать прошедшим...

Стихи разных лет



Поэт Евгений Рейн принадлежит к тем немногочисленным людям, которые находят себя в стихах, в них вырастают и только в них способны себя выразить. Четверть века ждал он издания первой книги, написанной и того раньше (надо обладать богатырским здоровьем, чтобы быть русским литератором, — говорил, кажется, Сергеев-Ценский).

Твердость и устойчивость образов Евгения Рейна убедительны. И если ему не удастся уклониться от чисто этического принципа, то его стихи невольно увеличивают моральную ценность бытия. В эпоху гениев компромисса и податливости, когда вместо «будь собою» исповедуется «будь доволен собою», Евгений Рейн исполнен нравственным гостеприимством, верой в людей, он не просит пощады, удобства, равнины, зная, что мир не таков, чтобы можно было жить в нем благополучно; он стремится заговорить чужую боль и свою.

В кратком письме немыслимо выделить основные мотивы, повторы и противоречия его стихотворений и поэм, чтобы открылись неизбежные закономерности. Но и без того ясно, что в дни зловеющих инвектив поэзия Рейна

всем существом своим внушает читателю, что ненависть не есть понимание, брань — не доказательство.

Евгений Рейн стремится отвести случайное и определить основы. Даже в его стихотворениях второго ряда теплится огонь, который не гаснет никогда. Его стихи — это он сам, а не комментарии к себе, как это часто бывает. Порукой тому — самозабвенная искренность, дар непосредственности, которыми щедро наделен Рейн, свойства достаточно редкие в поэтическом арсенале.

В последнее время имена Бродского и Рейна часто произносятся рядом.

Великолепный стих Бродского стилистически неуживимей, усерднее.

Поэзия Рейна — стихийней, безотчетнее, расточительнее.

Но если отвлечься в иную литературную сторону, где царствует мода на стилизацию русской классики, а ныне уже и мода на стилизаторов-авангардистов, то позицию Рейна можно было бы выразить словами Фридриха Ницше: «Писать следует кровью и водами Леты».

АЛЕКСАНДР МЕЖИРОВ

599/600

В. Аксенову

На шестисотом километре колодец есть у полотна,
Там глубока до полусмерти вода и слишком холодна,
Но нет другой воды поблизости, и, поворачивая ворот,
Я каплю потную облизываю, пока не капнула за ворот.
И достаю я пачку «Джебела», сажусь на мокрую скамейку,
Вытягиваю вместо жребия надкушенную сигаретку.
Мои зрочки бегут вдоль линии. Сначала в сторону Варшавы,
Где облаками соболиными закрыты дальние составы.
Но сладко мне в другую сторону спешить, к родному Ленинграду
И подгонять нерасторопную в пути путейскую бригаду.
О, паровозы с машинистами, позавчерашняя потеха,
Как сборники с имажинистами, вы — техника былого века.
И я не понимаю спутников, транзисторов и радиации,
А понимаю я распутников, что трижды переодеваются
И, не спеша, сидят за столиком, и медленно следят за женщиной,
Позируя перед фотографом из этой вечности засвеченной.
На свете что непостояннее, чем жизнь? Отстав от века скорого,
Не наверстать мне расстояния, как пассажирскому до скорого.
Я докурил, и боль курения дошла до клапана уставшего.
Пришла пора испить забвения из этого колодца страшного.

Две стороны медали

I

Калмык и жид. Он к Гегелю преник,
он в Робеспьере выискал доктрину,
он самую сознанья сердцевину
исхитил из конспекта напрямик.

Бакунина, Нечаева «малину»
он променял на лондонский тайник,
он свой таран соорудил из книг,
голодный бунт он превратил в рутину.

Он победил. Где правил Иоанн,
где Годунов царевича боялся,
им Вавилон несметный основался,
где царствует Антихрист и Коран,
зане Христос, а заодно Иуда
под пулеметом изгнаны оттуда.

II

Кавказский лаццарони, сукин сын,
семинарист, отставленный от Бога,
родной духан, сибирский карантин,
как ловкий плут, покинувший до срока.

Создатель судоверфей и плотин,
куда костями мощена дорога,
на Лобном месте ставший исполин

с повадкой и умом единорога.
Вдовец и дегустатор «хванчкары»,
кому несли несметные дары
патриции, плебеи, патриархи,
о чем мечтал он в страшном полусне?
Родной Тифлис объехать на слоне
и оппозицию повесить в парке.

* * *

В ресторане Чванова
комплексный обед.
Жизнь ушла нечаянно,
этой жизни нет.
Лишь за Петроградскою —
полоса утрат,
лентой светло-красною
перевит закат.
Погляди-ка в дымное
старое стекло,
стужей время зимнее
нас не обнесло.

Новая сумятица,
мука и разлад.
В темноте косматится
облеченный сад.
Было или не было,
но могло не быть...
Нам придется набело
это обновить.
До начала сумерек
покидаем зал.
Потому что имярек
это предсказал.

* * *

Все, что видел, забыл,
что любил — разлюбил,
постарел, поглупел, огрубел.
Выхожу на пустырь,
за сугробом — Сибирь,
а за нею последний пробел.

Под Полярной звездой,
над опавшей листвою
только снег разделелся сухой.
Вот дойду до стены,
сколько знаю вины —
вся со мной, и тогда уж домой.

Погоди, не сверни,
видишь эти огни?
Растревоженный свет на шоссе.
Не ходить бы туда!
Ничего, не беда,
будешь жив, вот и станешь как все.

* * *

Как мало надо. Невский пароходик,
печальный день, свободная печаль...
Какой-нибудь мотивчик похоронный,
какой-нибудь разболтанный причал...

Рогатый лист мне гороскопы кажет,
собака в подворотне так добра,
сейчас поднимет голову и скажет:
«Я за тобой, готов ли ты? Пора!»

Как мало надо. Этот город шаткий,
качание от хлеба и вина,
и летний дым — то горестный, то сладкий,
окоп по пояс — вот моя страна.

Вы, милые военные забавы,
смешные офицерские ремни,
смешные петроградские заставы,
все нынче в этот дым погружены.

Всего лишь пароходик. Вот избушка
петровская открылась мне отсель.
Бутылка водки. Атомная пушка.
И пылкая валькирия в постель.

Сергею Довлатову

Неужели мы с тобой спускались с Вышгорода на Харью,
неужели устраивались за столиком в «Пегасе»?
Проходили под балтийской осенней хмарью,
и сто бакк имели для разговора в запасе.

Неужели «выходили» оба окнами в Щербаков переулок,
у Пяти Углов назначали ежеутренние свиданья?
Что осталось от этих прогулок?
Ничего не успел я тебе сказать на прощанье.

Вот теперь говорю: Ты был самым лучшим
в этом деле, где ставят слово за словом,
самым яростным, въедливым, невезучим
и на все до конца навсегда готовым.

Мы еще увидимся в будущем Квинсе,
и на новых окраинах Таллина и Петрограда.
Я еще скажу тебе: Вот теперь подвинься,
все, что было, — Бог с ним, а что есть — то надо!

1995

Печатников переулок

Москва, ты город круглый,
я не спешу,
пойду я в переулок,
себя спасу.

Спасу от всех обид и бед,
я им зачем служил?
Тут никого знакомых нет,
и я тут жил.

Бульвар спускается с горы,
внизу ограда, цирк и рынок.
Я рад. Москва как цинк вдали,
и я, твой сын неловкий, вымок.

Я так люблю тебя, Москва,
твои углы и захолустья,
что впору там, как у моста
любимейшего, захлебнуться.

Вот уость башенок твоих
и бедный лес конструктивистский,
так этот город рукописный,
подтаявший, добро таит.

Он тает нынче под дождем,
блестит, как цинк, течет на сына.
Я вырос тут, и вот мой дом.
Фигурный вырез вдоль разинут.

Таких причудливых ворот
я не встречал уже лет десять.

О, дом мой, дом двадцать второй,
кругом так тихо ездят дети.

Что мне спастись, что грустить,
что грустно жизнь моя сложилась?...
Ходить сюда, пускай хрустит
Москва под туфлей чем случилось...

Как было, это все равно,
какая разница, ей-богу,
ведь остается лишь одно, —
дышать прошедшим понемногу.

1960

Бывший ходынский аэродром

Затихающий летчик над городом,
Тихий лепет, летящий в уста.
На иконке с домашним Егорием
Так драконья повадка пуста.

И когда поднимаешь ты голову
И глядишь самолетику вслед,

Видишь зелень весеннюю, голую
И теплеющий солнечный свет.

Как бы ни было плохо и маотно,
Помни — там над тобою пилот,
Небывалый, ответственный,
маленький,
Невозвратную службу несет.

Невозвратную службу несет.

Современный рассказ



Марина Вишневецкая

Архитектор запятая не мой

Моя жизнь, и лицо, и особенно выражение лица — все во мне — от того, что я — тело.

Ко мне уже два раза подходили на улице и говорили, один раз: «Девочка, у тебя никто не умер?», в другой раз: «Мальчик, у тебя что-то стряслось?» Им совершенно ведь все равно, тело я девочки или тело я мальчика. Я сама очень долго хотела, чтобы мне это было до фени.

Пляж есть пляж. Пляж есть лежбище тел. И всю жизнь я мечтала приехать к морю зимой — не к телам чтоб, а к морю. А послали к телам. Вот и вышло все боком — то левым, то правым.

Что я Тане скажу?

Таня разве что пожалеет, всю обнимет, прижмет до хруста, но понять — не поймет. Это и невозможно понять. Таня думает, мне нужна грудь хотя бы второго размера. Я от слова *размер* сатанею, я не болт и не винт! Я не вещь. И при этом я — тело. Тело, находящееся в свободном падении, — вот что я Тане еще на платформе скажу.

Или не скажу. Ей ведь нетрудно быть телом. А остальным еще больше, чем нетрудно: им это в кайф. Уму непостижимо! Моему скудному уму. И значит, надо либо с этим смириться, либо что-нибудь сделать. Но ведь я попыталась!

Они ворочали свои тела, как ворочают джезвы в раскаленном песке, и с вождением ждали любого взгляда — как ждут, когда же кофе ударит в голову. И, конечно, *размер*... вплоть до того, что взять бинокль и обстоятельно разглядеть. Не всегда сально, но всегда жадно — как будто от этого зависит жизнь... Или их чувство жизни — чувство присутствия в них жизни.

Пал Сергеич, наверно, до сих пор думает, что это он меня снял. И пусть себе думает. Я и Тане скажу: гад ползучий, напоил — да неужели бы я на трезвую голову, ну, почти с кем попало, в два с лишним раза старше себя?..

Фиг бы он меня напоил, если бы я этого не хотела. Я, конечно, не совсем этого хотела. Можно даже сказать, что совсем не этого. Но и в том числе я хотела эту гадость, им плавки напрягающую, гадостью перестать считать. И вот это как раз получилось. Тупорылый, вполне незащитный зверек. И яйцо, и игла, на конце у которой — жизнь и смерть — сразу все.

Надо выбрать для Тани такие слова, чтобы вышел рассказ. И несколько не врать, просто правильно выбрать. С Пал Сергеичем мы сидели в столовой за одним, на четыре персоны, столом. Голубые глаза сквозь очки. Голос тих и бесцветен. Скорпион. Щеки впалы, довольно высок. Архитектор, но по привязке объектов непосредственно к местности. Немного зануден. Сначала казалось, не бабник. Потому что бабешки к нему — он ко мне: «Ну их к Богу!» И уйдем на лиман и там

роем моллюсков — ему рыбу ловить на живца. Или днем в тихий час на солярии в шапки играем. В баре пива попьем... В общем, все по-мужски. О себе, о семье — ни полслова. Все только: Париж, Барселона, ах, творения Гауди — парадиз на земле, ах, Венеция!.. «Парадиз, — говорю, — на воде?» — «Молодец! Прямо в точку! Ты счастливая, Юлия, у тебя это все впереди!» — «На какие шиши?» — «Ты позволишь дать тебе совет? Надо верить, и все получится!»

На советы его я хотела плевать.

Нет, так будет нескладно.

От советов его я немного плыла, я торчала: скажите, забота какая — и с чего бы?

Любил или нет? Таня может спросить напрямую: про любовь говорил? а ухаживал долго? — Страшно долго, Танюша. Больше часа. Да что я? Часа полтора или даже все два.

Пиво пил и твердил: «Ты меня берегись!» — «Вас? С чего бы?» — «Я люблю чудеса». — «На здоровье. А я при чем?» — «Чудо — ты». — «Вы небось без шапчонки сегодня лежали, вот головку и напекло!» — «Уж поверь мне, чудеснее чуда нет, чем рождение женщины из пены морской!» — и ушел. Я решила, что в туалет. Ладно, жду. Две бутылки взяла «Жигулевского», чтобы поровну с ним заплатить. А его нет и нет. Ну, взяла я бутылки — и в номер к нему: «Пал Сергеич, у вас холодильник ведь есть? Может, сунете — завтра попьем». — «Я сегодня хочу». — «На здоровье!» — «Я с тобою хочу!» — «Чем со мной, лучше с воблой». — «А водки хочешь? По чуть-чуть?» И про сына вдруг начал. Я уши развесила. Сын под следствием: чтобы друга не бросить или, кажется, чтобы храбрость ему показать, с ним пошел брать киоск — в первый раз, и его замели. Друг удрал — сын сидит. «Юльк, ты можешь мне объяснить — вот за что? Это я виноват. Это карма — моя. Я их бросил, он с матерью рос. Веришь, все бы отдал, чтобы он здесь сидел, а я — там. Ты мне веришь?» — «В общем... да». — «За Сережку! Чтоб хранил его Бог! Эту надо до дна!» — «Бог вам в помощь». — «Фантастика, Юлька! Вот сидим мы с тобой, незнакомые люди, а как будто бы знал тебя целую жизнь. Я так рад, что ты здесь!» — и вдруг дверь побежал запирать изнутри.

Я — как будто не вижу. Я головку роняю — мол, с меня взятки гладки. Тане лучше сказать, что заснула, а проснулась — он рядом лежит, злодей.

Парадокс заключается в том, что под утро я в Пашу влюбилась. То есть, в общем, уже и не я. Я проснулась, а тело мое — не мое. Мне его никогда ведь не надо было. И, наверно, поэтому я так легко перестала его ощущать как свое. Я его ощутила как Пашину вещь, абсолютно бесценную Пашину вещь. «Что за прелесть, — он так про него говорил, — что за чудо!»

Известное дело, о вкусах не спорят.

Утром думаю: как же мне дальше-то жить? Я ведь все-таки в теле, а тело — его, значит, вся я — его? Это в планы мои не входило. Паша спал. Я оделась и тихо ушла. Море было так мало похоже на море: ни цвета, ни звука... Море было — как если собрать всю-всю нежность людей, птиц, зверей, насекомых, деревьев — всю, что есть на земле, и увидеть ее.

Мне б пойти на солярий — посмотреть на восход, но я и так знала, как касается солнце лимана, как меня Пал Сергеич: «Ты не бойся, я только к тебе прикоснусь...» И я в море полезла, а вода — ледяная. Мне не то что отмыться хотелось. Мне, наверно, хотелось, чтобы кто-то другой или что-то другое всю меня поглотило, пронзило...

А к вечеру — жар. Пал Сергеич пропал: нет ни к завтраку, ни к обеду. К ужину я сама не пошла — 38,6°.

Этот день был как год — год не знаю чьей жизни, не моей — это точно. Я боялась всего: что придет, что уехал, что бросил, что явится вдруг с розами, за которыми, очевидно, поехал, что предложит мне руку и сердце — а как я могу, институт я не брошу, а он в Запорожье живет. Он кольца не носил — ни на левой руке, ни на правой. И я думала... Если б не жар, мне, конечно, хреннее было бы.

Он на мне как на флейте играл, понимаешь? Наш физрук говорил: «Кто привесил на брюсья соплю?» — «Я привесил», — отвечал ему староста Ванечка. Он подсаживал многих, но одну ведь меня! Ладно, Бог с ним. Мама лучше придумала: «Что тебе ни купи, из всего умудряешься шпингалетом торчать!»

А теперь я торчать буду флейтой.

Он губами касался меня (не меня, конечно, а тела), и я чувствовала, что он звука ждет — чистой ноты. Звук же — голос я имею в виду — он уже не из тела идет, он идет из меня... ну, почти из меня.

Что я, Таня, плету? Просто голос, мне кажется, — это клей, прикрепляющий тело к душе — тонкий слой. Я физически ощущаю, как своими низкими нотами он сгущается в тело, в телесность, а высокими — отлетает, дробится, растворяется...

(«Хор кастратов», — ты на это мне скажешь. И еще ты мне скажешь, что если античность — это счастливое детство человечества, то средневековые — его мучительное отрочество и что отрочество в принципе не может быть иным. И что любое отрочество есть средневековые и что у тебя перед глазами имеется собственный отрок... Но извини меня! Ты ведь еще не знаешь всего! И не узнаешь — такое тоже может случиться. Пал Сергеич уже пройденный этап!)

Он, конечно, не розы рванул покупать, а на лодке-моторке с какими-то местными рыбаками... Ночевал он в деревне и утром опять с ними в море пошел. Я не знаю, соврал или нет. Он хотел, чтоб я место свое поняла — номер восемь, — вот это уж точно. И ангина моя страшно кстати прищлась. Забежит, фрукт положит и всегда в тот момент, когда Нина Петровна, соседка, либо в койке лежит, либо волосы чешет костяным гребешком — тридцать три волосинки.

А мне что? Я лежу шпингалетом, но еще воображаю, что флейтой. И весь пляжный развал наблюдаю в окно. Как швыряют две телки лет тридцати — без всего, в одних поязочках набедренных — пластмассовую тарелку, и весь пляж только этим и жив. Им и море не в кайф, и карты не карты — только лишний бы раз на девах посмотреть: и чтоб жена не заметила, и чтоб при этом поплебейнее слайдик застать. И вот плющу я свой хмурый лоб о стекло: это просто какой-то террариум — и при этом пытаюсь себя убедить, что я с ними одной породы. Я и так, я и этак: пол есть пол — значит, пол человека — это полчеловека... Пол плюс пол — пол-учается целое. Значит, если ты хочешь случиться, то есть целостность обрести, значит, надо пойти и *случиться*... Тут смотрю, Пал Сергеич с глазами голодной собаки этим самым деваха тарелку летающую несет. И не знает, которую раньше всю-всю-всю изглазеть.

Я потом говорю: «Ты на них так смотрел!» Он: «Они хороши — нету слов. Но ты... Юлечка, ты настолько другое!» — «Интересно, почему в среднем роде?» — «Потому что как солнце и море — ранним утром». — «Скучал?» — «Очень. Очень!»

И я снова пыталась быть флейтой. Он — гобоем. Я училась брать ноты. Получалось! Он звучал так протяжно, так искренне... Голос тоже ведь гол, но — другой наготой. А сейчас я не знаю: другой или той же. Я запуталась. Таня, когда ты поешь — напеваешь без слов, — ты поешь ведь душой?..

Очень трудно быть вещью. А стать — так недолго. Вот тебя позабыли на пляже, вот тебя обронили в столовой или хуже — за целые сутки и не вспомнили, что ты есть, что ты где-то лежишь и пылишься. И — конец. Ты — полено. Молча жди, когда папа Карло снова вынет из голенища нож: где-то мой Буратино, мой дурачок недорезанный? Мы на пляже ведь порознь лежали. Он уже мне сказал, что вторично женат и что тут сослуживцы, а главное — мне и самой куда как естественней болтать и резвиться с ровесниками, то есть с унылой парочкой, *фанатеющей* от Б. Г. (так весь срок и лежали в наушниках — наизусть его, что ли, учили? Ленка только поднимет голову: «*Животные невиданной красоты*». А Максим на подхвате: «Вон, вон смотри, — и в музика татуированного тычет, — *вол, исполненный очей!*»).

Им и без меня хорошо было.

Ну и вот просыпаюсь я ночью, Нина Петровна храпит как живая, а я лежу и не знаю, я есть или меня нет. Встала, оделась зачем-то и на лоджию вышла. Там луна развалилась как небесное тело, тоже, знаешь, дебелая вся. Воздух, как проститутка, надушен — даже трудно дышать. И полезла я, Танечка, с нашей лоджии на соседнюю, а с соседней — опять на соседнюю. Путь неблизкий: по фасаду шесть лоджий и четыре еще за углом. Я не знаю, чего я хотела. Я хотела увидеть, как спит человек, как он дышит во сне, просто рядом прилечь... По дороге трусы чьи-то сбросила вниз. Ну, короче, долезла я до его полулюкса, у него там стояла кровать и зеленый диван. Захожу. А в кровати как будто и нет никого. Но дыхание слышу. Иду на дыхание. Смотрю, на диване мой Павел Сергеич — с какою-то теткой. Спят себе без чего бы то ни было — жарко им! А меня уже не было в этот момент. И настолько

меня уже не было, что я даже решила с них простынку стянуть, чтоб увидеть, какая она целиком, что он в женщине ценит.

Вдруг она как в бреду: «Погаси! Боже мой! Боже мой!» Я — к окну и за штору. Стою и не знаю, что же сделать такого, чтобы стать, чтобы быть! Разбудить их — а дальше? Тут смотрю, на окне чья-то верхняя челюсть в стакане — почти целиком, дырки три в ней — не больше. Я ее завернула в платок, хоть и было противно. Если, думаю, Пашины зубки — память будет — и мне, и ему. Если зубки девахины, тоже нехило. Кенгуру, чтоб ты знала, не от старости дохнут, а когда до корней свои зубы сотрут.

Было чувство, что я отыскала яйцо и уже надломила иглу — понимаешь? Я перестала быть вещью. Вещь в кармане лежала. Даже больше чем вещь — тела часть!

Я вчера поняла, для чего я живу.

Я живу, чтобы все-все-все ощутить — все, что только возможно! Чьи-то зубы в кармане — грандиозно, не так ли? Но сначала был страх, что придут, что найдут или Нина Петровна проснется и их обнаружит. Я тряслась до рассвета — я так никогда не тряслась. Мне приснилось, что солнце рождается из земли — из ее черных недр вылезает головкой вперед и что вместо восхода растекается кровь. Я вскочила — я думаю, меньше часа прошло. А восход-то как раз затевался вполне безобидный. Мой трофей под подушкой лежал — как меня не стошнило, не знаю! В общем, шорты напялила, сунула в задний карман эту штуку и пошла на лиман.

Он там рядышком, сразу за трассой — весь в замшелых прудах и цикадах. Я иду, а они, словно бабушкин «Зингер», строчат и к земле пришивают себя, это утро, меня, мои страхи — так, как будто без них это все испарится. А так — будет здесь! Не *цитата* — это *цикада*, что конечно же мило, но книжно, а *цикада* — это *цитата*. Понимаешь?

В общем, выбрала я озерцо позаплесневелей, развернула платочек. А камень я еще по пути припасла. Положила его рядом с зубками, завязала крест-накрест — и в воду.

«Я с теми, кто вышел строить и *месть*!..»

(Ты помнишь, как меня чуть из школы не выгнали, когда я к гражданской лирике эпиграфом взяла: «и *месть в сплошной лихорадке буден*»? Ты еще вместо мамы в школу ходила... Ничего, я потом оттянулась в полный рост в родной стенгазете:

«Как сказал, помнится, пиит, *даже к финским скалам бурым обращаюсь с калом бурым*».

И этого не вынесла даже лояльная Шур-шура: «У Поэта сказано «с каламбуром!» — «Александра Александровна, так и я ведь с каламбуром!» — «Ты с... даже повторить противно!» — «Вы же нас сами учили следовать не букве, а духу!» — «Но дух-то у тебя какой, нос заткнуть хочется!»

Зато одноклассники меня вдруг полюбили — недели на полторы, а то и на целых две. Ну что тебе Пал Скорпионыч! А еще я звала его Палом Секамычем, и представлять, откликался!)

Ну и вот. Я вернулась с лимана и решила уехать, побросала вещички в рюкзак и — на первый автобус. Мне казалось, что так будет лучше — будет легче. Я даже билет умудрилась продать — прямо с рук. И уже встала в очередь — бронь обещали на проходящий. А потом я подумала: целая жизнь впереди, и всю эту огромную, длинную жизнь мне придется гадать — обо всем, а не только, чьи именно зубы. Впрочем, это мне вдруг показалось важнее всего.

Я поймала попутку, чтобы к завтраку быть за столом...

Знаешь, дальше — не так интересно.

Если отрочество — средневековое, значит, юность, по логике, — Ренессанс, ну а молодость сколько барочна, столъ и порочна? Ты однажды сказала, что отрочество неизбежно во мне, что есть вечные отроки, даже в старости их глаза прожигают как угли, потому что не смотрят в себя... Я барочна, Татьяна! Отныне — барочна, невзирая на худосочность. Весь декор мой, вся пышность — внутри. Я не буду пить дрожжи — из принципа: я не тело, а тело — не я. Я прочла у Ламброзо, как один сумасшедший приходил на могилу, которую он считал своей, как он видел сквозь землю разложение измотавшего душу, ненавистного тела и как он ликовал. Он считал себя призраком и все время ходил просветленный.

Это — все-таки выход. А возможно, что даже и вход.

Не пугайся. Уж мне-то он точно заказан. Если я не рехнулась, когда Пал

Сергеич сказал, что к нему заявила жена! Он подплыл ко мне в море, потому что я к завтраку все-таки не поспела, и сказал, что готов от стыда утонуть, что Оксана ревнива, как тысяча мавров, что упала как снег, он не ждал, не гадал. И вдруг с пафосом: «Хочешь, мы завтра уедем?» — «Ты и я?» — «Нет, ну что ты! Я и она». — «Вы? С чего бы?!» — «Мне стыдно мозолить тебе глаза». — «Интересно! А ей что ты скажешь?» — «Ей? Придумаю что-нибудь. Ну, будь умницей!» — и нырнул: был и нету. Я хотела сказать, что люблю, что стерплю, еще классик сказал, что жена есть жена, и пускай уж себе отдыхают, но он вынырнул так далеко...

За обедом им подали тертый суп и пюре! Я специально три раза ходила — то за хлебом, то за вилкой и ложкой — мимо них. Пал Сергеич грыз мясо и — кровожадно. Суп с пюре ела белая женщина с очень красным от солнца и, наверно, от злости лицом. У нее были крепкие ноги — я на пляже потом рассмотрела, — могучие плечи и низко посаженный зад. Говорят, что изъяды волнуют мужчин — например, асимметрия, да? Это правда? У нее ягодица одна как-то больше другой... Ну, и челюсть, как ты понимаешь.

В монастырь мне нельзя, потому что и там *чают* в теле воскреснуть — по моему, страшная пошлость!

Синих вод окоем
Все темней и тесней.
Запершись с ней вдвоем,
Что ты *телаешь* с ней? —

тоже пошлость, конечно, но все же простительная. Я же не знала, что, запершись, они чемоданы пакуют. Я торчала на пляже — колом, шпингалетом. Я изъела их желтую штору, как моль китель дедушкин — он в руках расползался, и от этого было гадливо и страшно. Я тогда разреvelась, а мама сказала, что таких психопаток, как я, не берут в октябрюта. И ты согласилась. Ты всегда соглашалась, потому и ходила в любимых. В них и ходишь. «Вот Танечка — нашей породы, а ты! У свекровки был прадед, она говорила, родную сестру запорол, — их отродье!»

А сестру запорол, потому что за друга отдал, а она оказалась гулящей. Генетически я, вероятней всего, прямо к ней восхожу.

И — она поняла бы меня, как никто?

Ты же только приклеишь ярлык. Я созрела, я давно перезрела уже — вот чего ты не хочешь признать. Ну так слушай!

Я осталась на лишние сутки, потому что сдавала билет, а когда попыталась купить, удалось только этот — в проходе и при туалете. Потому и не сплю, вонь такая — не морщясь, пожалуйста. Я духами под носом намазала и лежу — ничего. Я осталась на лишние сутки, и я думала, Павел Сергеевич — Запорожье ведь рядом — приедет. Поболтать, попрощаться, адрес дать или мой взять хотя бы. Жизнь — ведь это ужасно долго. И нельзя же на всю эту вечность!..

Пересменка похожа на зиму: пляж пустой, лежаки — под замком. К довершению сходства еще с ночи зарядил мелкий дождь. Он убил все следы. Я сидела на лавке и смотрела на шторм, становясь постепенно сама этим грохотом, этим воем. Я кричала, не слыша себя. Чтоб расслышать, заткнула пальцами уши, а когда оглянулась, то увидела недомерка-качка. Он смотрел на меня, так буравил. А потом закричал, то есть рот разодрал и задергал плечами. Я спросила: «Дурак или в детстве ушибли?» Слов он слышать не мог, но кадык — он торчал у него до того непристойно! — вдруг полез вниз и вверх, вниз и вверх. Я сидела в плаще, он стоял в красных плавках — по всему было видно, что только заехал и от радости обморозел. И помчался к воде, и запрыгал на волнорезе, а потом его смыло, наверно. Я смотрела на чаек, как они головами мотают, из песка вынимая объедки. А когда обернулась, качка уже не было. Волнорез весь насквозь промывался водой, как слюной, — костью в горле застряв. Я залезла на лавку, потом побежала к воде. На солярии — я помчалась потом на солярий — я увидела пошлого вида блондинку с Бертой Марковной, которая перепутала день и тоже на лишние сутки застряла.

— Лучше б я его сразу придушила ногами! — кричала блондинка.

— Как идет! Аполлон! — ликовала старушка.

Я прижалась к перилам: недомерок был жив и здоров. Он шагал по соседнему пляжу и махал нам рукой. Или мне?

— Ты приди! Ты дойди! — бесновалась блондинка. — Урод! Недоебыш!

Разбежавшись, он подвесил себя на турник и качал свои мускулы до совершенного изнеможения. А потом по-кошачьи упал, точно умер, точно мне говорил: испугалась? решила, что завтра я буду вот так — на песке, весь разбухший?..

До отъезда еще было целых полдня и вся ночь, и кровать без постели — белье унесли, спи как хочешь. Туалет под амбарным замком — и мочись куда хочешь, хоть в этот вонючий матрас — он привычный. В общем, я попросилась пописать к блондинке. Я по розовым брюкам ее поняла и по кольцам, нанизанным пирамидкой, что мадам занимает как минимум полулюкс.

Люкс! Единственный на этаже! С душем, ковриком и туалетной бумагой! Я размякла. А тут еще куры, пускай на газетке засаленной, но зато ведь с кагором. Я случайных людей не люблю, но есть типы, которые больше, чем люди, которые именно типы, в которых все так густопсово! И тогда я смотрю их как фильм — понимаешь, не соприкасаясь.

— Ешь давай, прямо больно смотреть! Слышь, подруга, ты дрожжи не пробовала? Жалко, ты не в Черкассах живешь, я б тебе с пивзавода устроила. Что молчишь, мне и так слова не с кем сказать! Ну? И груди сейчас, говорят, набавляют. А на танцах здесь *контингент* или так — как в глубоком тылу? Педерастов, ой, как же боюсь, говорят, их теперь развелось, спидоносцы, заразы. Я такая брезгунья! Ты будешь мне есть? Я же с парнем приехала — бойся теперь за двоих! И Чернобыль сюда ведь стекает — да, время пришло? И не знаешь, какая холера страшнее!

Я уже захмелела, когда он вошел в этих красных дурацких трусах, и мне стало смешно — сначала ни от чего, а потом оттого, как Алена кричит: «Нервотом! Сатана! — по слогам и от деланной ярости косорото. — Я приехала нервы сюда успокоить. Что ты морду воротить?» — и вдруг подбежала и стала хлестать его по щекам, по спине. Что меня поразило — что он даже не пикнул, просто впился в ее запястья, усадил на диван, чмокнул в щеку, в другую, взял рубашу и джинсы и отправился в спальню. А потом, когда вышел одетым, — я уже не смеялась, конечно, но он помнил мой смех — и кадык у него, будто это был нож, чуть его не вспорол изнутри. Я решила налить и ему, оглянулась, а его след простыл. Я — за ним, в коридор, со стаканом в руке. Тут смотрю — Берта Марковна.

— На огонек? — говорю.

— Ой, нет, деточка, на унитаз! — И по выходе: — Это счастье мое, что вы здесь, что вы есть. Дай, Алена, вам Бог человека хорошего встретить!

А затем был девичник. Берта Марковна жаловалась на боли в суставах, ишемическую болезнь и на камень, по-моему, в почке. Она тоже устала быть телом. Впрочем, нет. Это тело устало быть ею. Тело ей диктовало, что ощущать и чем жить в каждый миг. Понимаешь, в чем разница? Тело было огромней ее, и она уже не пыталась себя отыскать в его дряблых, растекшихся закоулках. Я же тем и жива, что я — не оно.

(Ты мне скажешь, конечно, что это — *период* или трудности роста. Нет! Душа не растет. Я скажу тебе больше: начиная с рождения душа день за днем отлипает от тела. Отделяется, да! Неужели неясно, что смерть — только энный шагок на этом пути?)

Дамы бурно общались, не слыша друг друга. Я смотрела в окошко на скучный наш парк о трех клумбах, двух ветлах и четырех тополях, похожих на кипарисы. Я ждала Пал Сергееча. И чем ближе был вечер, тем безобразней ждала. А потом я нашла в рюкзаке — мне Алена велела найти анальгин — тоже, можно сказать, обезболивающее средство. Я тетрадку нашла. Он в ней делал тригонометрию, а с другой стороны рисовал. Например: райский сад, древо, змий, очень толстая и весьма откровенная Ева, очень плотный с крупным членом Адам, — нагота не постыдна, он фиговыми листьями им прикрыл только рты. Им и змию, ты понимаешь? И еще был рисунок: путник, посох, дырявая ряса до пят, ровный нос, а под ним третий глаз — не во лбу, не на темени, а — вместо рта. И внизу была надпись «Андрей Рублев».

Тут кагор ни при чем, застучало в висках оттого, что какой-то там шкет болен тем же, чем я. Нет, не болен и даже не мучим — одержим — и при этом спокоен, потому что он знает такое!.. Я решила его отыскать и спросить. Но пока я слонялась по холлам, по окрестным кустам и по пляжам, прилегающим к нашему, я сама поняла, что он хочет сказать.

Была кошка, сзывая котов, и валялась в песке, и лизала *пронежность* — это Павел Сергеич придумал такой каламбур, мне он дико понравился... Да. А теперь слово *нежность* до старости будет озноб вызывать! Потому что слова и тела, как котлеты и мухи, должны быть отдельно.

Я нашла его у магазина. Он зубами отрывал колбасу от батона для себя и для стаи бездомных собак. Среди них он был всех голодней и, по-моему, даже урчал. Собаки же рвали куски друг у друга. Самых наглых он для остратки пинал, и они, поджимая хвосты, ненадолго смиряться. Мне опять захотелось спросить, так ли я поняла два рисунка, которые больше всего меня поразили, но когда я решилась и подошла, он вдруг стал — вот чего я никак не ждала — изучать мои ноги и бедра, не прекращая жевать колбасу. А потом вдруг зашарил глазами под кофтой, будто что-то искал там, да не мог отыскать. Это был явный вызов, явный, Таня, настолько, что я даже хотела сказать: «Родничок еще не зажил, а туда же?!» Но в глаза-то он мне не смотрел. И, наверно, весь вызов был именно в этом. В общем, я развернулась и пошла себе вдаль. И спала до заката на махровом халате. Натянула его на вонючий матрас и спала. И с восторгом бы проспала до утра! Я и встала затем только, чтобы спросить у Алены снотворного. Но она заперлась в своем душе и ревела сиреной — представь, на английский манер и, по-моему, даже из «Битлз».

А потом я подумала, что последний закат есть последний закат. Пусть без солнца, пусть лавой в разломах туч.

Шторм стихал. Море пятилось, как осьминог, исчезающий в выхлопах сизых чернил. Среди вороха дохлых медуз я искала хотя бы условно живых и швыряла их в воду. До разбега это делали дети и — с восторгом. Мне же было гадливо, а в потемках и страшно наступить и упасть в это жальщее желе. Страх, наверно, возбуждает? Потому что, найдя на песке одежду — чьи-то джинсы и майку всю в потных разводах, — я по запаху угадала... Майка пахла полынью и псом. Мне понравилось, знаешь? Алена сказала: только женщину-*рафинэ* возбуждает один аромат — без всего. Как ты думаешь, это правда? И еще я хотела спросить... ну, неважно.

Он вышел из моря и пошел за одежкой. И, конечно, опешил, увидев меня. И на полпути замер. Я сказала: «Ни слова, ни полслова! — и палец к губам поднесла. — Это ты меня научил». И к его губам тоже прикоснулась своим указательным пальцем. Он от этого вздрогнул. А я стала просоленной майкой его растирать — плечи, грудь. Вдруг он майку свою как рванет. Отбежал и стоит. Я опять подошла и с себя водолазку стянула, говорю: «Ты же мокрый, замерзнешь!» — и снова его натирать. Я осталась в одних только джинсах. И вот это-то все изменило. Он решил, что теперь ему можно — сразу все! Я, как дура, подставила губы, я ждала поцелуя. А бедром, как учил Пал Сергеич... Потому что я знаю, что у нормальных людей это ведь постепенно бывает. Ну а этот, как чемодан с верхней полки, рухнул — я-то думала мы добреем до беседки. Хорошо хоть стемнело настолько — ну почти что ни зги. Брюки рвет, плавки рвет. Я кричу ему: «Больно! Мне же больно, кретин!» — нет, воткнул его все-таки, взвизгнул, дернулся и затих. Я от злости его укусила в плечо — мне казалось, что чуть не до крови. А ему это был комариный укус. И он тоже меня стал кусать, идиот. Ну, покусывать — насмотрелся порнухи! Дальше — больше. Вдруг слышу — гитара, ржачка рыл в пятнадцать — короче, контора идет. В ваше время, по-моему, это *шоблой* именовалось. Представляешь? Я водолазку нашла, а где джинсы, не знаю. До сих пор как представляю, что быть-то могло...

Хорошо тебе, Танечка, с восемнадцати лет за единственным мужем целомудренной быть! Он тебе изменяет, а ты ему нет, потому что «у них, мужиков, это все по-другому, ты, Юльчонок, чуть-чуть подрасти, а потом уж суди и ряди!» Ай, как складно — по форме, но не по сути! Ты, сестренка, из тела себе сотворила кумира. А его надо всячески унижать, презирать, притеснять — правда, слабо похоже на средневековье? Впрочем, там его тоже теснили. Но теснили, стесняясь. А я от него отвалилась, отпала, мы с ним врозь — неужели неясно? Я всю жизнь была врозь с целым миром, а теперь буду врозь только с ним. Если б так! О, тогда бы все-все-все, даже жертва, принесенная в виде зубов, — и она бы была ненапрасной.

Я посеяла зубы дракона, да? Ты это мне скажешь?

Я посеяла джинсы. А утром пошла и нашла — все в росе, так и сунула мокрыми в сумку.

Мы садились уже с Бертой Марковной в *рафик*, когда на балконе появилась Алена, пеньюар нараспашку.

— Е-мое! — и рот нараспашку, зевнула, как спела: — А-а-а по рюмочке чая на дорожку? А-а поцеловаться?

Я рукой помахала — и сразу в машину.

— Мы не можем, Аленушка. Нас Володя, спасибо ему, довезет непосредственно до вокзала. А вам я желаю хорошей погоды и хорошего общества. Вы меня поняли?

— Ах, Бертусик вы мой. Мне без вас будет грустно. — И опять: — А а-а-а-а! — так, что мертвый бы встрепенулся.

— Берта Марковна, — говорю, — ехать надо! Нам Володя любезность делает.

— Да, да, да. — И опять: — Аленушка! Вы меня поняли?

В общем, мы до ворот не доехали — а ведь их открывать еще надо, — выбегает из корпуса мой полуночный дружок. Босиком, в белых-белых атласных трусах — укороченных, знаешь, под плавки, не спортивных — отнюдь. Я с сиденья вниз уползла, чтоб особо в окне не маячить, и секунды считаю. Слава Богу, Володя с воротами справился быстро. Мы уже на дороге. Тут бы скорость прибавить — нет, Володя притормозил:

— Паренек этот с нами? — и в зеркальце смотрит.

— У него моцион, — говорю. — Он спортсмен.

Ну, Володя газует, и в то же мгновение — как он глотку-то не надорвал — крик раздался — вернее, смесь крика и визга. Так павлины орут и, наверно, еще павианы. Ну, Володя опять тормозит.

Я когда обернулась, он бежал от нас метрах, наверно, в десяти. И оскал был такой же, как крик, — совершенно звериный.

— Поезжайте, Володя, этот мальчик глухонемой. И, мне кажется, чуточку тронутый, — Берта Марковна вместо меня помахала ему своей кудей ладошкой. — Я не знаю, где его бедная мать берет силы!

— Вам Алена сказала?! — я зачем-то опять обернулась. Он споткнулся, но не упал, а запрыгал на левой ноге — может быть, наступил на стекло или камень... Я подумала: выйти и что-то сказать ему — что да и как? И не он ли мне сам говорил — я подумала именно так: говорил — про Адама и Еву? Мы прибавили скорость, дорога свернула.

Я спросила опять:

— Вам Алена сказала?

— Что немножечко тронутый? Нет! Разве мать это скажет? Напротив. Она уверяла меня, что он самый развитый в этом своем интернате. Но мой опытный глаз не обманешь!

У нее был какой-то библейский педстаж. И значок на жакете с одугловатой физиономией Крупской.

Я опять оглянулась и, наверно, поэтому вспомнила притчу про человечка из соли. Как он в море решил искупаться. И вошел в него. И — о, ужас! — у него растворились ножки, а потом растворились ручки, и животик, и спинка, и плечи... Наконец от него ничего-ничего не осталось, и тогда он подумал: так, значит, я и есть это море.

Вот чего я хочу — быть из соли. И тогда в будоражащей с детства фразе — *казнить нельзя помиловать* — не останется места для запятой. Вот чего я хочу. И так будет. Юность страшно пристрастна к пунктуации. Только истинно взрослый способен в потоке чтить не паузы, а — поток. Ты, сестренка, боюсь, никогда не дозреешь до этого. Знаешь, в поезде это настолько наглядно! Вот лежу я сейчас запятой и при этом несусь над землей, над травой, сквозь поля, мимо тысяч столбов, огоньков, скирд, хибарок — так, как будто бы я их собой собираю в одно назывное и бесконечное предложение. Эту фразу никто никогда не прочтет — разве только что марсиане... Значит, нет этой фразы — как фразы! А есть... Что же есть? Неужели он взял и влюбился в меня? Знаешь, как он бежал? На рекорд! Босиком! Ноги — в кровь!.. Я про что-то другое хотела... Ну, да ладно. Проснусь... только это нескоро, это поезд — нескорый... до смешного не скорый... Многоточия звезд... Точек нет, понимаешь? Одни многоточья...

Сергей Антонов

Песня

...Все искал лампочку; я знал, что она, маленькая и желтая или зелено-желтая и тусклая, где-то вверху, и глаз мой поднимался по серо-зеленой цементной стене высоко; стена была огромная, она делала эту обитель малой и одновременно огромной — может быть, огромной из-за своей нерушимой, грозной или грязной истории. Так мой глаз медленно добрался до серого, мутного потолка, и я увидел под потолком небольшое оконце, его нельзя было даже назвать окном, потому что оконный проем сжимали метровые стены, не давая дневному свету проникнуть в эту узкую беленую щель, и окно казалось здесь лишним, а лампочка была действительно маленькой и подслеповатой.

Все это я разглядел потом, а сейчас, только что сунутый сюда, еще горячий, сохранивший тепло камеры с людьми, я увидел мышь — маленькую, тюремную, вековую — и поднял крик, что, мол, я боюсь мышей, и дальше в том же духе. Никто мне не ответил, я замолчал и понял, где нахожусь: это была небольшая каморка с высоким потолком, но не знаю, кому, кто побывал здесь до меня, в кои веки пришлось бы в голову так обозначить эту ловушку. Кроме дьявольской щели — серой, немойтой, бесполезной — был еще надолб, круглый цементный пенек посреди грязно-зеленого пола, уходившего далеко под стены, где-то продолжаясь и нигде не кончаясь; пенек одиноко стоял посреди темной цементной корки, закрывавшей землю и замеченной сухим, не таявшим никогда снегом, и от самой-то его верхушки и шел холод. Холод настиг меня не сразу; прошло какое-то время, пока он, отыскав меня здесь, вошел и остался во мне, как враг, который никогда не спит. Голод был не то чтобы его младшим братом, он был ему даже не родственник, голод и в подметки не годился холоду.

Я сидел на пеньке, на котором невозможно было сидеть, потому что он был ледяным; сидел и смотрел на мышь, которая меня не боялась. А потом вылезла другая; и что они здесь делали веками — не знаю, но с ними было лучше, чем без них, и они тоже это знали и не боялись меня, не боялись еще и потому, что все сидящие в этой холодной преисподней были своими, и я был мышам своим, и они мне. Из вещей понятных — здесь были мыши и параша, и больше ничего. И я запел; я ходил и пел разные песни, не потому что весело, а потому что очень холодно. Я пел, а мыши вершили какие-то свои дела. Вершили, потому что сказать «делали» нельзя, — эти серые существа словно приросли к лампе и цементу и за многие годы, проведенные здесь, знали столько, что наверняка были мудрыми, и потому именно «вершили». В этом цементе, холодном и нескончаемом, выход был ограничен тюремной железной дверью, и дверь тоже была ограничена, потому что опять вела в тюрьму, в камеру. «Теплую», — подумал я тут же. Да, но все-таки кандейка эта границ не имела, я точно знал, чувствовал это. Если вдуматься, то везде люди ходят по земле или по цементу, по такой вот темной холодной корке. Но еще здесь были и лампочка, и стены; все это, соединяясь, и делало каморку камерой — холодной, нескончаемой, безграничной. Пенек был сволочной особенно, хуже лобного места, я думаю, так было оттого, что он существовал и действовал постоянно. Он, этот ледяной пенек, был вставлен каждому в череп и там сидел до поры до времени. Сволочной пенек. Может быть, его удалили когда-то на счастливой звезде, как на земле удаляют людям аппендицит... Я поставил на пенек миску с кирзовой кашей — сегодня давали и кашу, и пайку, завтра не дадут. Сидел, ел кашу и понемногу подкидывал мышам; потом солдат забрал миску, и я запел, а мыши разбрелись по камере. Я следил за ними внимательно и вдруг почувствовал, как вытащили из моей башки пенек: это я вспомнил своего рыжего с белым кота. Он был такой хороший кот, и я подумал, что ему и в голову не пришлось бы ловить тюремных мышей, не говоря уж о том, что мыши эти — вечные. Да и что здесь делать домашнему коту, он же весь светился рыжим и белым светом. Нечего ему в таком месте делать, он умрет здесь, и все. Теперь я уже не пел, а вспоминал своего кота и мать, но о матери я помнил всегда, с самого начала, каждый день...

Я лежал вдоль стены и слушал соседа за стеной, в соседней камере, а потом

говорил, вернее рассказывал свою историю, я. Мы говорили о наших девушках, и оттого, что мы не виделись и никогда потом не увидимся, а если и увидимся, то не узнаем друг друга, рассказы наши были откровенными и нежными. В наших исповедях не было ничего плотского, здесь была настоящая любовь, нежная и немного сентиментальная. Наши девушки были красивыми и непременно верными, они ждали только нас, они были беспорочны, это как-то так выходило, только так, хотя и я и он жили с ними там, на воле, и здесь не было никакой неувязки. Если два человека, не убийцы и не грабители, лежали, дрожа от холода, у вековой, толстой стены и говорили, почти прижимаясь губами к глухому камню, освещенные затерянной в холодной высоте тусклой тюремной лампочкой, и не было кроме них никого в мире — только сволочной цементный пенек, то, разумеется, девушки были беспорочны, что бы там ни было. Слишком велика была нежность, поселившаяся в нас. А если нет, если все неправда, тогда надо ломать стены с лампочкой и окном, пенек, парашу на цементе, и тогда... А что тогда, если я уже получил свои два года, а девушки не было на моем суде, потому что девушки у меня вообще еще не было. И я не завидовал своему товарищу по несчастью, я был рад за него.

До этого карцера я сидел в камере, где нас было шесть человек. Этим летом стояла жара, вечер был теплым и душевным. На черном небе сидел светлый месяц, он был так же далеко, как и мой дом в Москве, но месяц и темное небо были волей, и запретная воля влезала в душу, особенно под вечер... И сегодня, когда кто-то запел нечто цыганское, блатное, лихое, его оборвали, и мы, все шестеро, как-то сразу отъединившись друг от друга, молча сидели в духоте летних сумерек: кто на полу, (пол был прохладным), кто прислонился, сняв рубашку, к стене. Не было ни блатной фени, ни заученных улыбок, когда обязательно сверкнет фикса, а может, и не фикса, просто колючая улыбка. То, чему учились и чего боялись, куда-то сейчас ушло, и все так сидели молча, то ли душно здесь (и хорошо сейчас на воле), то ли все мы дружно подумали о доме, не знаю, но только сидели спокойно, напряжение ушло из душ и тел. И я подсел к ним, не говоря ни слова, думая обо всем сразу, но только тюрьмы не было в мыслях.

Потом Федор — он сидел у входа, опершись спиной о холодную железную дверь с кормушкой над головой, — тихо запел: «Так где же ты теперь, моя пацанка...» Песня тихонько прошла вдоль синей темной стены с желтым отблеском лампочки, горевшей над дверью, добралась до сидевшего на койке, и человек со стальными коронками передних зубов подхватил тихо и бережно слова и мотив, и коронки растеряли свой блатной блеск и стали просто железными, поставленными вместо выбитых белых молодых зубов. Певший обошел слово «лагерях», и спел «крях», видимо потому, что никому это сейчас не было нужно, а потом песня перешла к третьему и четвертому, пела уже вся камера, и каждый пел про свое; хотя песни звучала хорошо и слаженно, солистом был каждый из нас. Песня как бы передавалась из рук в руки, колыхаясь мягко, легко; она плыла, не задевая стен, не прикасаясь к решетке и двери, растворяясь в пространстве, очерченном поющими; и когда слова песни кончились, кто-то устроил руку удобнее на колене, а так больше никто не пошевелился, и, кончив петь, все еще сидели молча, слушая, как продолжалась песня уже внутри себя, у каждого, в его незлобивой и несчастливой жизни.

Но нет, не прошла, не кончилась песня. И одинокий мужской голос, может быть, просто, чтобы стряхнуть тишину, в которой снова рождалась тюрьма, затянул: «Споем, жиган, нам не гулять по бану...» Он пропел эти слова и замолчал, потому что «жиган» — это тоже была тюрьма. Не знаю, как другие, а я рылся в памяти в поисках такой же «Пацанки», но в голову лезли только «вагоны, перегоны, лагеря», в общем, нас обложили, как волков флажками, потому мы и не могли петь сейчас какую-нибудь хорошую песню с воли вроде «Черемшины». Не могли, да и не хотели, потому что еще мы были гордыми.

Мы спели «Пацанку» еще и еще, а когда голоса смолкли, солдат открыл дверь и, посмотрев на Федора, сказал: «А, вот шестой...» — и захлопнул дверь. А Федор так и остался сидеть на прохладном полу под круглым глазком, из которого не был виден солдат.

В карцере никого не было, если не считать моего соседа за стеной и мышей. В полночь пришел коридорный и открыл замок на деревянной койке, прикрепленной к стене; я тут же лег и заснул, но через час проснулся от холода и минут десять делал гимнастику, согреваясь, а потом снова заснул и опять проснулся, и так

несколько раз за ночь. А в шесть утра коридорный молча прикрепил койку к стене, и мне достался только вчерашний сволочный пенек — холодный, цементный, на который было бы проще положить голову, чтобы тебе ее оттапали раз и навсегда, — в аду, говорят, хотя бы тепло. Второй день моего пребывания в карцере был постным днем, но в обед кормушка открылась, и солдат молча сунул мне миску с кашей; от еды я малость согрелся и покормил мышей. Где-то в середине дня вошел нарядный прокурор по надзору, — я бы с ним с удовольствием поменялся местами на пять суток, — но он быстро ушел. «С ним не поешь, — мрачно подумал я, — такой даже «Интернационал» не даст петь».

Почему-то, глядя на этого холеного прокурора, я провалился в далекое детство: тогда мне было всего девять и я жил в санатории. Может, и ни при чем здесь был прокурор, но в санатории тоже было холодно, особенно по ночам. И я вспомнил песни, которые пели там пацаны, чем-то очень схожи они были с той недавней «Папанкой».

В том санатории вообще было много схожего с теперешним: там тоже было ограждение, — тогда этой оградой стала болезнь. И законы, которые установили сами дети, были жесткими: если не по правилам, то били в морду, но только если не по правилам, а так большой не мог обидеть маленького. Было это почти сразу после войны; может быть, поэтому я вспоминал санаторий всегда хорошо, с какой-то чудной тоской, — из-за песен вечерних и из-за матери, о которой там тоже думал всегда, точно так же, как сейчас, вышагивая вокруг холодного цементного чурбана.

Пели в санатории каждый вечер: про справедливых, смелых воров и красивых, голубоглазых, но не всегда верных девушек. Тогда мы еще могли себе это позволить, в начале круга, а когда круг, как сейчас, замыкался, то уже не могли: у всех бедолаг начало было лучше конца.

Дом, в котором располагался санаторий, был старой постройки, и в нашей палате было огромное окно, закругленное по краям, с тонкими переплетами рам. Холодом несло от окна, но и красиво за ним было: днем за окном лежала большая снежная поляна, за ней стеной стоял лес, вечером все окно светилось холодным прекрасным светом, шедшим прямо сверху, оттуда, где был Бог. Бог был у нас. Бог и Мать, потому что надеяться больше не на кого. Может, поэтому Бог и прибирает сначала нас, а потом уже матерей, потому что наоборот было бы не по-божески.

Свет от окна скользил по спинкам кроватей, вытягивая тени подростков, пришедших стелить себе постель. Это было целое дело, приготовить постель. В наличии имелись спальные мешки и шкуры — большие обрезки старой овчины. Надо было успеть взять мешок и привязать его тесемками к кровати: шкуры согревали хуже, под мешками было теплее. Но сильный, почти взрослый парень не мог отобрать мешок у слабого, если сам не успевал взять его из кучи сваленных на полу мешков и шкур.

Из окна лился высокий лунный свет, на кроватях тихо лежали дети, точно такие, что пели «Папанку», только еще не сильно битые и поэтому романтики все с головы до ног. Сюда еще входила и болезнь, и дети хорошо знали, что такое смерть. Красота, шедшая от окна, невольно попадала в души детей, и детям мало было лежать и смотреть, им, как никому другому, нужна была мечта, а мечта приходила с песней; в ней пелось о смелых людях, о матери и о смерти. Если бы кто-то сказал нам тогда о смерти в теплом халате и ночном колпаке, смерти, лежащей на добротной пуховой перине, то этот кто-то плюнул бы нам в душу, — нет, смерть могла быть только молодой и героической. Так мы думали тогда, послевоенной зимой, лежа у огромного светящегося окна, почти рядом с Богом, и даже сейчас я, старый дурак, думаю, что «причастный тайнам... ребенок» был прав тогда...

Все молятся Богу по-своему, и если в песне пелось о справедливом разбойнике, это ничего не меняло, — Бог ведь принимал только искренность и чистоту помыслов, а пацан пел о том, что умирать надо чисто, и надо быть справедливым, вот и все, чего он хотел. Здесь никогда не пели хором. Почему? Возможно, дети, исповедуясь, требуют тайны больше, чем взрослые, может быть, потому, что им еще никто не выбивал передних зубов.

«Может быть, — думал я, делая гимнастику под утро в карцере, — может, этот солдат, сунувший мне неположенную миску каши, тоже был в той палате и пел свою песню? Не знаю. Но вот кто, кто сделал этот пенек посреди карцера? Ладно,

пристегнутая к стене койка — а вот пенек кто сделал?.. Может, и вовсе неживой кто-то?»

Мыши куда-то подевались, и я был совсем один, и ни единого звука не доносилось извне, а там, вверху, в желтом мраке лампочки, кто-то был. Нет, я не спятил, но на четвертые сутки мне стало казаться, что это не просто карцер, а нечто одушевленное, существующее само по себе вне времени и пространства, вековой отстойник человеческой грязи и подлости. Я заметил — когда мой голос в песне становился тише, прикасаясь к дорогим мне вещам и понятиям, песня и голос гасли, — стены отстойника, сближаясь, сдавливали мне горло, и это была уже не песня вовсе, а нечто, лишённое всего живого, — как курица с перебитым горлом, песня падала на цементный пенек тяжелой, нелепой тушкой. Лампа на миг вспыхивала ярко, а потом снова глохла и затухала, и пенек вылезал из цементного бездонного пола, и поверхность его, круглая, жесткая, на которую я ставил миску с баландой, была тверда и чиста — и ждала.

Когда на пятые сутки дверь открылась и я, выходя, оглянулся и задержал взгляд, эта грязно-желтая утроба мрачно затаилась. Тускло светила лампочка, и отполированная поверхность пенька отражала ее неживой свет. Казалось, не соединить их глазом. Она, эта освещенная поверхность, мертвая и одновременно живая, заставляла светить желтую маленькую лампочку высоко, в грязной полутьме, прямо над собой, и конвоир, ткнувший в спину меня, задержавшегося на пороге, был маленьким оловянным солдатиком, не больше.

В камеру с людьми и куревом я вошел почти как в родной дом. Еще с порога жадно вобрал в себя махорочный живой дым, и голова закружилась; я рад был этому головокружению, я вдыхал живой этот дым, возвращавший меня к людям, и наблюдал вполне бытовую и безобидную сцену. «Чума, я тебе не «мужик»! — кричал пожилой, голый по пояс человек, весь побитый давними рубцами, не похожими на ножевые. — Чума, я не «мужик»!» — и в малого в исподней рубаше полетела миска, пожилой шарил руками по столу, ища, чем бы еще запустить в Чуму, закрывавшего обеими руками голову. Но через минуту обидчик уже только ругался, отходя от гнева. Дело было нехитрое: пожилой зек, звали его Иваном, вор в законе, уснул, оставив под рукой папиросу, а Чума выкурил ее, потому что в камере, кроме махорки, ничего не было. Папиросы Иван купил в тюремном ларьке и курил, экономя, перемежая папиросы с той же махорой.

К тому времени я уже недели две сидел с ними в камере и знал, что Иван мужик неплохой. Сидел он лет двадцать, с небольшими короткими перерывами. Еще трое сокамерников мотали срок по первому разу, только четвертый — парень лет тридцати — был профессиональным карманником, в тюрьме не новичок, и поэтому Иван совершенно точно определил, кто из них взял папиросу, пока он спал.

В то время таких, как Иван, твердо знавших и веривших в то, что можно, а что нельзя, что бы с тобой ни происходило, было уже мало, он и тогда казался нам белой вороной: и потому, что не давал никаких поблажек ни себе, ни другим, был здорово побит жизнью. Весь крученный-перекрученный, он заводился с полуборотом, на воле у него не было ни кола ни двора, и он, единственный из зеков, был на диете, которая не шибко отличалась от обычной зековской еды, но все-таки молоко ему давали.

Иван ходил взад-вперед по камере и пел песни, одинаковые песни, в том смысле, что ни разу я не слышал, чтобы он пел что-нибудь блатное: он ходил от стола к двери и пел про любовь, верность и героическую смерть. Он вовсе не был ни дураком, ни простаком, он скрывался от самого себя, уходя в придуманный мир, потому что в настоящем, окружающем его мире ничего у него, Ивана, не осталось; он это знал и потому пел о Гарри и Мэри, неведомых ему, никогда не виденных, но в песне они любили и умирали друг за друга. Он был действительно белой вороной среди зеков; наверное, он и сам понимал это и никогда ни с кем не делился своими чувствами. Он просто ходил и пел.

Иван вставал рано, задолго до поверки, когда в камере еще горела лампочка и в окно начинал осторожно вползать холодный свет раннего утра. И в тюремной нерадостной и тревожной смеси мерцания лампочки и дневного света, — тревожной потому, что этот ранний час всегда был таким в нашем застенке, — Иван уже ходил, разворачиваясь от двери к столу и снова от стола к двери и пел эти неведомые

никому, выкопанные из далекого его детства песни о верности и смерти, храбро принятой за любимую.

Это была не спетая нами песня про пацанку и, может быть, самый последний круг, когда уже знаешь, что надежды нет, и все-таки выкликаешь ее, надежду, последней просьбой, которая у тебя осталась. И какая разница для тех, кто примет ее, будет ли это «Отче наш» или песня о Гарри и Мэри.

Иван ходил и пел — до двери и опять к окну, набухавшему утренним светом. Я спросил: «Иван, ты бы поехал в Америку?» — и, продолжая свой поход, он ответил: «Конечно, поехал бы, здесь жить не дадут!» И снова запел о неведомых ему Гарри и Мэри.

Я рассеянно следил за ходившим и певшим Иваном и думал, что не жалею его. Иван уже стоял за той чертой, за которой не было ничего, только пустая земля, пустыня, где он был всегда или почти всегда одинок, и все равно верил и в любовь, и в достойную смелую смерть во имя друга или девушки, которую он обозначил для себя именем «Мэри». И если вера эта была последней, отчаянной, он был тем, кто принял песню поздним послевоенным вечером, в зимнем голубом свете огромного, поделенного тонкими деревянными рамами окна, принял от певшего пацана в палате детского санатория, принял и пошел, не разбирая дороги, без карты, без плана и компаса, пошел, чтобы согласно той, детской песне встретить *ту* любовь и *ту* смерть. Ну что ж, это был конец круга, а конец всегда печальной начала, но это был *его* круг, и хотя надежды почти не осталось и разум сказал уже давно «нет», сердце не скажет, не откажет ему в надежде. Сердце всегда было главнее.

Мария Войтишонок

От холодной стороны солнца

С белорусского. Перевод В. Жиженко

И тут никогошеньки. Еще издали, от калитки, видно, что дверь в хату заперта, но по привычке, не доверяя себе, добегаешь до порога, чтобы тут же повернуть назад. Замечаешь на бегу, как мелкими жгутиками завивается за тобою свежее сенцо. Сеном устлана улица, дворы — как стол в колядный вечер. Ветерок с луга залетает в один двор, в другой, растрясает тугие клочья — разглаживает сенную скатерть. Откуда ни возьмись, повесит праздником. Спыхатываешься: да сенокос же, Сенокос!

Солнце палит, потрескивают под ногой полы его безразмерной шляпы. Жарко. Никого, пусто во дворах.

Раньше других попадетса на глаза соседка Стася. Идет по ту сторону реки за возом сена. А иной раз — за козами: ведет к лесу. Цепь на плече, сама, словно на живой цепи, поспешает за ними, заняла всю улицу, ступает споро, спрямляя дорогу, глядя не под ноги, а куда-то далеко вперед. Кажется, век вот так за козами ходит: сама здесь, а глаза неведомо где. «Одна нога туда, другая — сюда, связать бы, пусть борются. А может, нехай?» — смеется, вызывая на разговор... Свежий загар красноватым закатом — слишком, видать, близко, всех опередив, к солнцу стояла. Еще с утра, чуть встав, видела: шли они с мужем Петром — косы в руках — уже домой. Она слегка позади, поотстав, нога за ногу, как на прогулке, голова высоко: экий кусок работы справили, а еще ведь совсем рано, день только распечат — весь впереди! Мокрая идет от росы, даже, сдастся, тоньше сделалась, платье к ногам льнет, косынка на плече сохнет, помолодела лицом — на то оно и утро.

Не доведет ее до добра, знаю, эта вечная гонка, жажда всюду поспеть.

Когда-то, еще в девичестве, Стася уехала из Боровков в город, воротилась с мужем в пустующую материну хату, уже выйдя на пенсию (городскую квартиру отписала женатому сыну). Сидел на лавочке под своими окнами напротив скрученный хворью родной Стасин брат Рыгор, испепелял глазами и хату ее, и хлеб, и огород, и сад, и этот вот воз сена. Маялся.

— Давай посиди, — подзывал меня, чтобы выговориться, и в какой уже раз заводил то о ней, Стасе, то о муженьке ее: — От, дрянной человек этот Петька Лещик!

— Чем же он дрянной?

— Голь! У меня и плуг, и борона, и хомут, а у него — хоть шаром покати. У меня все есть, потому как жить собирался...

— Так он же в городе жил, зачем там ему все это?

Вертит головой, как с похмелья, нет, мол, все равно не хозяин он, не хозяин. Мерил свояка вдоль и поперек давнишней мужицкой селянской меркой. А тот из нее вырос, на глазах встал на ноги и без собственного плуга, и без хомута — люди выручали. Была у Лещиков корова, стояли клетки с кролями, расхаживали по двору куры, гуси, козы, не пустовал огород. Смотри да радуйся, как родная сестра разживаться пошла. Так нет же!

Вспомнить бы, с чего все это началось...

Как только перебрались Лещики в Боровки, первым делом взялись ремонтировать обветшавшую хату. Давно она, проводив на погост хозяев, служила для всяких мелких нужд: лук там подсушить с осени, поставить на зиму какие ни есть соленья. И мыши за собою, известное дело, двери не затворяли — издырявили пол в решето. Работы хоть отбавляй. Позвали, правда, по такому случаю пришлого мужика, откуда-то из России, хвастал, умеет кое-что по столярной части. Обмыли, усадили вместе с собою за стол. Заштотала Стася его одежды. Чуть лбом не касалась рубахи, откусывая нитку. Глядь: стоит Алексей с мужиками местными, руки в боки, ножку этак отставил, смеется; пообносился, а кость молодая, крепкая, что ни надень — все к лицу да впору будет. «Стася!» — окликнул как-то (она шла от хлева). Круто обернулась всем застоявшимся в семейном закутке телом, обозначился стан, колыхнулись груди, туго стянутые лифчиком... Вот и все, что тогда между ними было.

Поехали в лес, вместе — подруба́, вместе — столбики на забор; зашили фронтон, переставили печь в другую сторону устьем, разгородили хату на городской манер; сядут на просторной веранде, как на пароме, и плывут со смехом по зеленой картофельной заводи с белыми пенистыми барашками. Осталось только ошалевать стены. А она все находила и находила Алексею дело, сама знай командовала, гоняла его, как под каталкой, в работе по двору, по дому, в хлеву, заглаживала рубцы от босаяцкой, как говорят, жизни, чтобы привык, вошел во вкус оседлого быта, приженился в деревне — на глазах. А сядут есть, да ежели еще при гостях, скатерть постелет белую-белую, уголки врозь, выгибаются легким перышком. Сама сядет поодаль от него, на углу, Алексей — на другом, хотя место посерединке пустует. Чтобы видно было, что он тут постоялец, чужой, с боку припека. Всю жизнь на отдалении. И она уже словно бы на углу в собственной хате...

Брат Рыгор выйдет, держась за косяк, за дверь, потом по стенке, по стенке — и на лавочку. Хата Стасина стоит напротив новехонькая, ну только-только с ярмарки. Подойти ближе, разглядеть толком не мог. Сидит, бывало, уставится на тропинку к реке, прямо взмокнет с натуги, раскачивается взад-вперед, словно тропинку ту, как шнур, на цевку сматывает, подтягивает к себе, увидеть норовит, что там дальше, за рекой, за лесом. А там, за рекой, за лесом, — луг. Его луг, его трава, которая уже не первый год яловеет некошенная. Никого у него за спиной, чтоб косу заложил, — одни дочери, а зятя городского завода, иной, если хочешь, и кола не затешет.

Дом Стасин выглядит как новый. Так Рыгор же и сам столяр знатный, и он мог бы обновить отцову хату и продать, не такие сейчас продают за хорошие деньги, был бы участок. Что та корова, которую отец выделил ему (Стасе отписал хату), коровы давно нет. Обманщики! И сестра и... отец, если на то пошло. Своя, правда, хата не из худших, но строилась в скудное время и еще не знала ремонта — не поспел, хворь навалилась. Верандочка маленькая, как детская зыбка, — только внукам поиграть да цыплятам от дождя укрыться. Старая вагонка коробится, высохла в щепу, повырывала, словно клещами, гвозди, потрескалась. Иной раз мерещится: вот кто-то накладывает эти самые клещи, сыплются на пол ржавые гвозди, расходятся швы... И черный ход есть, и чистый, да жизнь-то вся через один черный шла и прошла. Чистый забит старыми валенками, осы там прошлым летом завелись. Или шмели?... Под стрехами со всех сторон — тык туда, тык сюда — стоят то палка, то кол, то

тесина: все что ни попадя подбирала женка Агата, тащила безотчетно, как аистиха, укрепляла гнездо.

Сам же он ничего по дому сделать уже не в силах: и не помер, кажется, и не жив — стоит на пороге и ни туда ни сюда, разве что палкой кому погрозится.

Ульи Лещиковы стояли в огороде, рукой подать. Рой вышел — и на него, на Рыгора. Бил себя по груди, с лица пчел смахивал, выбирал из волос. Потом глядь, а руки уже не слушаются, только вверх-вниз, в сторону ни-ни, тяжелые руки, валяются на колени. Пчелы вроде оставили его в покое, да закричал маленький внук в саду, видно, и до него добрались. Голосок испуганный, тоненький, хоть сам завой. Опять заходили руки: вверх-вниз, вверх-вниз. Петр увидел, подбежал, схватил свояка в охапку, отнес в дом.

«Вот, как маленького... со двора... собственного... А им, холера на них, мед?!» Еще добавилось злости.

До того дошел — гвоздя не забить. А если б не хвороба, забил бы? Вон к кому ни загляни, к кому ни зайди — прохудился кош, рухнул забор, осело кольцо в колодце, брызнула из-под ноги доска на крыльце. Старели глаза — не замечали. Оседала хата, оседали и ноги — потолок вроде бы все на той же высоте. Вот и не почешется мужик. А может, в памяти все оно как новое, потому что очень уж долго, очень трудно наживалось.

Дальше — больше. Боровки облетела новость: Лещики будут покупать корову. И впрямь собрались.

— С хлебом надо, это ж кормилица... хлеб в руку возьмите, — подсказала Агата, Рыгорова женка, и своего принесла — у Стаси аккурат хлеб вышел.

Всегда она так: появится в хате неслышно, словно сквозь стену пройдет, полыхнет в глаза каким-то потаенным светом, как будто у тебя под ногами клад зарыт... А-а, канителишься тут с нею! Но хлеб как было не взять?

«Корову?!» У самого Рыгора такая старая, хоть ты ее кашей корми — ни зубов, ни копыт, а все не выходит пустить телочку взамен: то скинет, то бычка принесет, то деньги позарез нужны — ведут сдавать. А у них откуда что берется? С чего? Не могла Агата в толк взять, как разжилась золовка на новом месте. Но чтобы подглядывать, так уж нет. Если что и приметит, все равно сделает по-своему, у нее с первого раза рука набита. Курица завохчет, она ее — р-раз! — в воду. Живот у мужика заболит — нет, говорит, лучше лекарства, чем полкружки водки с солью. А спроси: кто научил? Не знает. Оседают, откладывается кольцами в ней извечное, как на молодом крепком дереве. Пойдет в чулан, там мешок стоит с мукою — эх, как славно живем, всего вдоволь! А поверх муки мышка, сытая, сонная, уже и от кошки не убежит. Снимет ее пальцами, засмеется. Это чтоб мыши да не было в хате?! А она проберется, так что нечего и войну вести, мышеловки покупать, ставить... Шутит ли, всерьез говорит — не понять. Лишь бы с глаз долой. Крот лужайку порыл? Ну и что? Когда-нибудь выбьется из сил и перестанет... Осенью поймает молодую курицу, да рябую-рябую, словно не с насеста, а в лесу с дерева слетела, перекинет с руки на руку, чуть ли не на язык попробует, каков привес, поморщится: не хотят расти. Изо дня в день будет щупать, а того нет чтобы сыпнуть лишнюю горстку крупы или зерна: на воле, мол, ходят, пускай сами стараются. Весною опять вытряхнет на землю полный подол цыплят, с крыльца не сходя, кажись, и из рукавов эта мелюзга посыплется, руками помашет для острастки — летите себе, жируйте! Да разве это хозяйка? — подумается со стороны. Но ведь выпускает вот так же своих птенцов и аистиха, и ворона, и ласточка, на доверии все держится, доверии к воде, к земле, к солнцу. И не считает Агата, сколько их, инкубаторских, на завтра останется, — пусть сами о себе думают.

Веет от ее двора холодком. Холодок-то весенний, приятный, да ногам зябко.

А было, что пошла Агата всем наперекор, — это когда затеяла овец завести. Приметила у кого-то, позавидовала — и за дело. Как уж таилась, как скрывала от своих домашних, зачем едет в Раков на ярмарку! Ну не диво ли?! Родится малюпаченький — и уже стоит, ножкой топает и все понимает, не надо ему ни говорить, ни читать. К тому же и прясть она умеет, и на прутках вязать, и шить — с малых лет обучена. Правда, из-за хлопот вечных, из-за хозяйства не очень-то посидишь: нашла, скажуг, забаву. Зато свитер свой как наденет, так он не просто теплый, а словно живой на теле.

Только почему это помнится, из головы не идет, как свекровь Агатины сразу

после свадьбы велела еще чистые тюлевые занавески с окон постирать? Забудешь — кто-нибудь из его родни напомнит. Попросила тишком соседку: «Помоги, я не сумею...» Догадывалась, что свекровь пробует ее на зуб, умеет ли делать тонкую работу, — из очень уж бедной хаты взята была. Теперь же поспинает их с веревки — и под мышку, несет без оглядки белое облако, только что не волочит по земле.

Остановит, бывало, кого на улице, спросит ни с того ни с сего:

— Как ты творог делаешь? А?

Стоит, слушает и вдруг, словно кто ее за рукав потянул, головою верть — и пошла дальше. И еще раз спросит (дочери, поди, донимали: сыр у нее такой кислый, пробовала, аж за ушами пищит) и опять не дослушает до конца, чтобы не поступиться чем-то своим, сокровенным, как будто не было ей высочайшего дозволения менять, перекраивать свои привычки, науку материнскую. Готова, кажется, карманы вывернуть, встряхнуть, что попало туда, как мякину, — чужой совет, чужую науку. Повяжет косынку рублевую, в три угла, в мелкие розоватые цветочки. В любую пору цветочки, и солнце их не берет, и не смываются, воды не боятся. Рукою цапнешь, прямо от печи, — никакого следа. Глаза темные, низкие, поднимает их на тебя, поднимает, привыкая помаленьку с каждым днем. Темная вся, летом вообще почернеет, завялится — ни дать ни взять ягода смородина.

Прислушивалась Агата к тому, что говорил муж о Лещиках, а про себя думала, что это от болезни нашло помрачение на него, доброго слова никому и ни о ком не скажет. Нет, без дела, без хозяйства и жизнь не в жизнь. Там хоть какие-то перемены: то с мясом вода, то с луком. А в магазине же батон всегда на один вкус...

Однако нет на свете ничего более ядовитого, чем бабский завидующий глаз. Ой, что это мне все зябко да зябко?! Я и телогрейку, и платок на голову, теплый, кашемировый, все равно колотит. А Стася, посмотришь, ноги голые, платье с коротким рукавом — бегают себе! И ей тепло?! Не-е-ет, тут что-то не то... Как придет чего-нибудь просить — и все ко мне да ко мне, — так просто из рук рвет решето там или косу... С чего бы? Ясное дело: силы отнимает. Вот где жуть-то. Она же, Агата, куда ни идет, никогда ничего не боится — осенит себя крестом и шагает себе смело днем ли, ночью, полем или лесом. А тут в собственной хате сама не своя...

Но это уже их ссора дошла, считай, до середины.

Мужчины — им сенокос не сенокос — все на одно лицо. И не здороваются друг с дружкой.

— Ну, знал бы, что это ты там, в Черном логоу, урвал!..

— А я вижу прокосы и думаю: хорошо, что мне кто-то пособил, одному бы не одолеть...

Разговоры только о сене. То здесь воз поскрипывает, то там. Иной едет, петляет, как объездчик, торчит пеньком поверх сена. Бабы — нет. В хате все разбросано, дверь не закрыть, разве что ногою себе поможешь, пнешь в сердцах то, что торчит наружу: некогда, надо погоду не упустить. Зато платье непременно легонькое, прямо из шкафа, чистое, потому что и работа чистая, словно праздничная. Как это — от печи, в чем была? Солнышко светит, весело. Косынку в руки — и за порог. На бегу перед собою растянуть за углы, — где тут изнанка, где лицо? — дернуть раз-другой, чтоб разгладилась, и р-раз на голову. Только бы вырваться поскорей из домашнего пекла. За околицей уже шаг медленнее, шире, грабельки на плече легким вёсельцем. Гребет-вслушет день-деньской, свежие прокосы бегут речными волнами. А то пойдет трава густая да высокая, тонешь в ней, как в омуте, хоть туда коси, хоть сюда — лес. Да мелькнет вдруг сизый люпин в далеких кустах: не рубаха ли мужская, может, кто из городских шастает? Остановится на секунду, вздрогнет, будто на колючку наступила. Зырк глазами туда, зырк сюда — а где же мой муженек? Известное дело, кусты...

Агата грязный передник с себя долой, в сторону. Сенокос! Первой выходит из хаты. За нею дочь Таня: недавно, поди, проснулась, услышав, как за матерью хлопнула дверь. Вышла и не может спросонья найти стезю, шнырь-шнырь по двору, как в потемках. Замерла, постояла ноги врозь, огляделась. Ага-а, сено же нынче! И за грабли! За нею на крыльцо малышка Валечка. Обе наезжают из Минска, когда у стариков неуправка. Внучка похожа на бабу. На лице у нее вечная борьба, причем верх берет это сходство, гонят темные бабкины брови-крылья прочь ту малость, что взяла малышка на стороне, от отцовской родни. А глазенки спрячутся и опять поблескивают, играют в веселые прятки.

— Грабли брать? — спрашивает. — А, мам?

А та уже ноги поставила вширь, чтобы на весь прокос.

— Вилы бери, тучки ходят, может, бабушка скажет в копенки складывать.

Развешано все, что может понадобиться, на гвоздях, на стене хаты, под рукой, чтобы — хоп! — и пошел без задержки.

Устанут. Агата первой повалится на сено, притихнет лицом к небу. Наконец-то прилегла, дала себе поблажку. И сенинка в руке возле губ, как у девчонки. Праздник! Заговорит с дочерью о чем-нибудь таком, что давно хотела сказать. А о чем — никому не догадаться.

Зайдешь к ней в хату, так уж нехотя оборачивается на дверь, хоть ты за плечи бери, поворачивай. Потом стоит, смотрит тебе под ноги — осваивается, привыкает к чужому. Печь топится, отсветы пламени шастают по темной кухне. А она молчит, обирает колючки с подола передника. Под ногами скользко, только что половицы не хлопают, душно, аж по стенам течет. И грязь — маслянистая, черная, словно ее ласточки в клювах наносили Агате на гнездо. Запах человеческого стойла. Сесть не на что. Бревна в стенах источены, выглажены временем. Тесины на потолке черные, тяжелые, так и давят на грудь. Руку в окно просунул и тащи, выгребай все подряд, как из переспелой тыквы. Да кухня она и есть кухня: тут больше варят скотине, чем себе. Рук в первой воде никогда не помоешь. Картошку ли сдedit, подойник ополоснешь — все сливает в долбленный желоб-терницу. Обернется — руки помочит. За чутун схватится — снова к воде. И так целый день: обмакнет — стряхнет на пол, словно колдовство какое-то на воде, заговорное действие над волшебною чашей... Бух! — через дверь помой под картошку, и дело с концом. Как после пира, носят на двор посуду из хаты, со стола. Много посуды — велика семья летом.

И вот, кто бы откуда ни приехал (и сестра городская навевается), и живут подолгу, а все как-то по ее, по-Агатиному, выходит, никто и не подумает вмешаться. Идет с реки, ноги мыла, идет по траве — сушит, чем-то темным на крыльце вытерла, обулась, тряпицу — на колышек. В кустах еще стоит тонкий звон — точат кузнечики в траве свои косы. А Агата давай катать чугуны по двору, тяжелые, ненасытные. Вот они столпились перед крыльцом, блестят черным бархатом прожиренные бока. Замочено в лохани белье, а там, на лужайке, сохнет выстиранное прямо на траве, может, оно и чище и белее оттого, что на траве. Розовеют по свекле, по луку, по огурцам веночки дикой мальвы. Под окнами чистой половины цветет неистребимый шиповник, словно на куст брошен на просушку Агатин выходной кашемировый платок. Желтыми узенькими ручьями растеклись по двору ее стежки, все по ним ходят за неимением собственных — за одно лето не протопчешь. Сразу видно, что всем тут заправляет старшая хозяйка. Долго теплится печь.

Никто из молодых не удосужится проветрить хату. Клушкой топчется Агата на одном месте, переминается с ноги на ногу. Ладно, вот приедут, пооткрывают окна. Полощет ветер занавески, а кажется, что это она машет, бьет крыльями по окнам, чему-то или кому-то противится.

Трудно ее разговорить, словно на вилах через голову перебрасывает каждое слово. Хата свекрови рядом, годы в соседстве прожили, а она и шага навстречу не сделала. И к себе не пускает: ты, мол, городская, жизни нашей не понимаешь.

Стася — другое дело. С нею и по грибы, и за ягодами, и за тмином. Стася компанейская. Ей человек не помеха, усвоила городскую привычку всюду табуном ходить. Идем с тмином, снопы через плечо. Подолы мокрые до пояса, ровно вброд пробирались. Вышли на сухое, и никакой разницы: теплый день, парит, что вода, что воздух — в одном котелке варены. В ходьбе Стася даст фору кому угодно. Идешь деревней, загребашь руками, помогаешь себе телом, словно по-прежнему раздвигашь высокий разлив трав, повалишься на каменное крыльцо, стащишь сапоги — вот он, наконец, берег! Долго сидишь, вытянув ноги, боясь ненароком стряхнуть с плеч покой, волнами что-то прокатывается по тебе, как по траве ветер.

Ну да дело сделано, можно и посидеть. А Стася уже далеко. Стекает солнце по древку граблей за шею. Идет навстречу Алексей, он уже «подрабатывает» у другой хозяйки. Голову несет высоко, чему-то своему улыбается, лицо черно от работы. Идет легко, опережая других мужчин, его словно выносит вперед, как самого легкого на ногу, самого сильного, — так бывает при долгой ходьбе, в дальней дороге: среди ровесников всегда сыщется кто-то помоложе остальных. Мужчины сопровождали воз с лесом, следили, чтобы длинный хлыст не задел забор или столб.

Глядь, а Стася с внуком уже в грибах.

— Что ж твоя краля не пришла? — спрашивает, повстречав соседа Владика.

— Счас будет! — отвечает.

— Владик! — кричит, ищет его жена Манька.

— Во-он туда пошел, — машет рукой Стася.

— А-а-а! Ты уже тут как тут? После тебя ничего не найдешь. Ни в лесу, нигде из-за тебя первой не будешь! Чуть где малина, горох, трава — там уже. Ну, проворна! Из бульбы колхозной не вылазишь, и никогда тебя не прихватят! А я на одном-единственном рядке и то попалась.

Манька удалялась в ту сторону, куда показала Стася, крик относилось назад, казалось, она еще рядом, близко — вот аж куда донесла свою злость, вот где развязался мешок. От Маньки доставалось в деревне всем и каждому. Идет, бывало, по улице, головой крутит — пеленгатор, да и только: что там у кого стряслось, чтобы подцепить на вилы. «Я уже ничего не могу, отжила свое...» — скажет, словно оправдываясь, и... давай костерить всех подряд, кто еще мало-мальски топает. А у самой сидят на лавочке возле хаты, руки опустив, дочь с внучками. Не то что у Стаси. У той невестка, наработавшись вдосталь, сказала: у вас, говорит, мама, если жить, надо батрака держать...

Что им от нее нужно?

Вот и сегодня утром, прогоняя коров, перекинулась парой слов с Зиной, похвасталась, что ситцу купила в лавке, а та, как-то криво посмеиваясь, в ответ: «После тебя ничего не купишь, ничего и не украдешь. Говорили бабы: привезли товар, а ты уже стоишь, караулишь... Правда, нет?» Отвернулась и пошла, пластаясь за коровьим крупом, нога в ногу с нею, чтобы та не свернула на чужой огород или во двор.

И что самое удивительное: Стася ни на кого не обижалась. Оботрет пот и пошла. Просмеется коротким смешком, горделиво подожмет губы. Перемывали косточки Стасе, злословили про такого работающего человека. За что?

Вижу, сидит на дворе Агата, перебирает чернику. Подставила солнцу спину, греется, дай, просит Бога, отдохну малость. Заметит соринку, цап пальцами — и на ветер. Битую ягоду — в рот. Черно в глазах, черные и мысли накатывают, хоть ведром, хоть корзиной таскай да вали на соседскую хату. «А у них уже кролей полсотни, коли не больше... В огороде все так и прет из земли... А им сена уже привезли хлопцы на тракторе — есть чем угостить... Поди, и колхозного скинули — двор весь завален... А нам так и коня не дожидаться...»

Рыгор тоже по-прежнему сидел на лавочке, вцепившись в нее обеими руками, раскачивался взад-вперед.

«Вот тебе, вот тебе!» — тыкала ему мысленно фиги — и от себя, и от колхоза. Нечего будет дать механизаторам — и останешься без сена, погноишь! Все тут было вместе: и злость, и зависть, и горькая, до слез, жалость к себе. Коль уж такая нечестная жизнь пошла, так, чтобы не отстать, тоже надо хитрить, обманом брать свое. Все тащат, а ты сиди?! Не дождешься от колхоза ласки, не нужен ты теперь никому! Высосали человека, одна шелуха осталась. Печь надо бы починить — кирпича нет, каждый день свежий дым в хате... Кольца в сельсовете обещали, колодец скособочился, а теперь говорят: нет цемента. Все, видать, пошло на эту перестройку...

Вдруг словно стая больших птиц налетела и давай лущить подсолнечник, шуршать лузгой по окнам, по крыше. Подняла голову — горит! Горел погреб. Огня на солнце почти не видно, и дымом не пахло — пламя в разогретом воздухе расплзалось пятном, растекалось, как по стеклу. Звякали ведра — поливали крышу хаты, чтоб не начал стрелять шифер. Пожарная приехала. Огонь перекинулся уже и на Лещиков погреб, загорелась солома — спасу нет.

— Давай посиди! — дико озираясь, ничего не соображая с перепугу, окликал Рыгор то одного, то другого из людей, пробежавших мимо него к колодцу. И говорил, говорил. Все о том, что у него наболело: плох он, ходить не может, а у людей век то какие-то заботы, то неуправка, то пожар, все некогда и некогда к нему завернуть. Иные и по сей день вспоминают: что это на него нашло, чего он разговорился, сидя, можно сказать, у самого огня? Агата между тем сидела в хате, обхватив руками перепуганных внуков, и в окна не выглядывала — схватило сердце. Вор придет, так хоть углы оставит, а пожар голыми по миру пустит... Знала она, что не миновать

напасти. Но какой? Сестра снилась родная... Близенько так к ней подошла, а потом — круть! — и побежала на погост, в сосенник. «Погоди, Антонинка, я ж тебя там не найду, в той гуще!..» И проснулась. Вот он, сон-то, и в руку. Деревня уже знала причину пожара: внук виноват — играл, поджег паклю.

Потушили с горем пополам, люди разошлись, а свары полная хата, как дыма. Утром Агата встала. «Христина, — говорит старшей дочери, — чтоб я не слышала попреков в том, что у нас стряслось, ни внуку, ни его отцу-матери! На всех надо разделить... Ежели что, меж собою переговорите, но подальше от моих ушей... Боюсь я за себя, неможется...» На этом и конец сваре.

На жерди долго висел обгоревший старый кожух — надо же, в такую высь забросили. Повсюду пакля — растаскали на ногах, вился, как от сигареты, тонкий дымок. А Лещики уже назавтра все прибрали, один запах от беды остался. Тот же погреб стоял, на прежнем месте, разве что веником его, долгожителя, обмахнула Стася да вокруг подмела.

Почему у них все есть и убыли не видать? Тот же погреб. Такое еще больное место, такое горячее, а они на него бух ведро воды — и все на этом. И горя им нет, и в ус не дуют. Как это? Они с Рыгором бьются всю жизнь, никак не могут из нужды выкарабкаться, а Лещики за один год обжились. Не-е-ет, тут что-то не то! Хитрые они, Лещики. Обошла брата сестрица, на обмане у них все! А сам Лещик, глянь-ка, стоит, грабли в руке мусолит.

«Я сорок пять лет живу здесь, в деревне, а тем, что у них есть, не обзавелась!» — кричала во всю ивановскую Владикова Манька, сидя на своей лавочке, выпростав вперед больные ноги. Благо знаешь, что злость ее в два счета перебродит, и тогда баба как баба.

— Идет Сташка с козами, гляжу — ее сивой нету. А где же, спрашиваю, сивая? Что, думаете, она мне ответила? А вот что: в хлеву, говорит, стоит. А я же знаю, что бабке Альсжьбете продала... Ну, как вам это нравится?

Как мать на дочку ругается. А ведь ровесницы! Может, и рада бы Манька увидеть Стасю, заговорить, как бывало прежде, когда та жила в городе. А может, оно, прежнее, и поддало злости? Идет, бывало, от автобуса, завивка на ветру колышется, платье нарядное, хочешь не хочешь, а первой поздороваешься. Живет, подумается, человек и тоже выбился в люди — знай наших. Что-то от этого перепадало и ей, Маньке, доярке колхозной... Ай-я-яй! А она, Манька, так тут трудно жила, надрывалась, себя забывала в работе — кто хоть спасибо сказал? Ты вот приехала и сразу зажила как пани. А за чей счет? Ты разве тут хозяйка? Ты колхозница? Ты заработала? Что бы у тебя в ту пору, когда жили на трудодни, было? Чем бы гребла под себя, если б твои руки-ноги от работы деревенели?

Я задержалась с Манькой дольше, чем позволяли мои добрые, почти дружеские отношения со Стасей.

— Ну, Стася, ты бы с ними помягче, ты же добрая, славная, зачем тебе их дразнить? — просила я позже, догадываясь, чем она мозолит бабам глаза. — И Рыгор... Будь ты к нему снисходительнее, промолчи, с кем там уже заводится, на ладан человек дышит...

— Ой, болезный! До ста лет доскрипит. Да и пусть хоть на том свете знает, что нельзя родной сестре зла желать! — бросила Стася, лишь бы огрызнуться, грабли на плечо — и прочь. Походка летучая, не свернет.

Для меня и Рыгор с Агатой, и та же Манька, недоброжелательница Стасина, можно сказать, тоже словно причастны были к сотворению и земли и воды. Разве что одежды у них не ангельские, не белые. Ну, Агата в юбке, четырех- или шестиклинке, все в талию, под пояс. Плюшовка у нее почти новая, так и не износила с молодых лет, мало у нее было праздников, а одежда-то праздничная.

Манька, так та еще и молодится, рукава у платья короткие, только локоть прикрыть. Рыгору недавно купили двое брюк. «Ни те, ни другие не лезут!» — не то жалует, не то ликует мужик: раз, мол, поправился, глядишь, и здоровье вернется. Сидят старые на пригорке, всю жизнь будто за людьми присматривают, за порядками, друг за дружкой. Пятнистые коровы тучами расползаются по луговине. Сидят старые, больные, не подпускают Стасю к своему нажитому, кровному. Глядят в оба, где она косит, что несет, куда идет. Пробуют на зуб каждое ее слово: чего-де она тут домогается? Отцово ей подай? Так не надо было уезжать в белый свет. И сами они,

известное дело, не считали за грех наведаться в молодую колхозную бульбу, в горох... Нет чтобы порадоваться, что работник наконец пришел на землю, охочий до дела, умелый, здоровый, не даст ей зарости дерном.

Но, как я узнала позже, была у этой неприязни еще одна причина. Дело давнее, не очень-то и поймешь, что там к чему, но причина была.

Дождь начался с ночи. Сперва вокруг залегла внезапная тишина, словно кто-то, заслонившись от ветра, норовил зажечь спичку. Сверкнула молния — и началось. Лило и день, и второй, и третий. Склонились долу кувшинчики наперстянки, полегли выюнки, колокольчики, дикая мальва. Дрожали стекла в окнах. Лучше уж выйти на крыльцо, постоять — может, увидишь конец этой напасти и тем приблизишь его. Агата вышла, положила руку на перила, надолго оперлась, медлит возвращаться в хату. «Слякоти наделает, уже всякую меру перебрал», — говорит вышедшей за нею дочери. Внучка из темного проема двери ловит капель со стрехи, наберет горстку — выплеснет, опять ловит стеклянные деревенские бусинки. Внук подошел с кружкой, нацедил дождя, выпил.

Потом дождь пошел перепадами, плеснет из синего кувшинчика — и дальше, жаль, рушник никто не подаст вытереться. Высоко-высоко разлеглась тканная в семь ниток радуга. А там, где взметнулись ели, кто-то приподнимает тонкую газовую шторку, выше, выше, вот уже четко обозначилась одна ель, вторая... Запели птицы. А с другой стороны, с опушки, кто-то снова набрасывает на еловый строй ту же самую пелену. Взлетела из-под ног бабочка, пятно на крыльях двоится, как дождевая капля, вот-вот скатится вниз многоцветной бусинкой. Небо синее, темное, ели темно-зеленые, и черно-белый аист летит, возвращается на свое гнездо — густо написанный деревенский пейзаж.

Стася, едва мало-мальски прояснилось, небесное дно проглянуло, уже несет бульбу на коромысле из погреба. Словно все время в сенях простояла, дожидаясь, когда можно будет за срочные дела взяться. Метнулась в свиной катух, вытолкала поросят — подстилку сменить. Свинку никак назад не загонит. Сперва легонько показывала ей дорогу прутиком, потом схватила увесистую палку:

— А чтоб ты сгорела! А чтоб тебя высушило! А чтоб на тебя паралич! — приговаривала тихо и сама, казалось, разбитая тем же параличом, готова была лечь рядом.

В своем ли она уме? Как у нее язык поворачивается? Недавно, видя, как быстро прибывает, растет их хозяйство (еще одна коза добавилась, корова отелилась, птица разная), как задыхается Стася от работы, посоветовала было ей мало-помалу избавляться от живности, а то как бы не надорвалась. Стася выслушала, пересела поближе, наклонилась ко мне (чтобы нечистый не подслушал?), сказала:

— Нельзя так говорить, мол, надо скотину сбывать, — вестись перестанет... Уж как оно есть, так пусть и будет. Дети тут... у одной нашей бабы... приедут из города и все уговаривают, уговаривают, чтоб хоть малость развязала себе руки, избавилась от того, от другого... Так корова у нее возьми и заболей... Нет, пусть уж будет... У меня на столе не пусто. А что мне прикажешь делать без работы? Брошу, когда мочи не станет...

— Стася, твой Ленчик жалуется, что тяжело ему...

— А мужику воля во вред, пусть лучше занят будет.

Свинка, видно, учуяла в земле какие-то корешки, тыкалась пяточком хозяйке под ноги, пыталась рыть, жалобно визжала, схлопотав по боку. Беззащитно падала на коленки, чтобы спрятать голову под низенькую ступеньку. Наконец как-то сообразила, чего от нее хотят, пошла в катух.

Бархатается Стася от всех наособицу, тащит на себе хозяйство, и это в то время, когда и у молодых да здоровых на селе руки опустились, отпала охота ковыряться в земле — нет доверия: сегодня дадут землю, завтра, глядь, отняли. А Стасе всюду живой прибыток, вот он, под ногами, только не ленись, согни спину, подбери. В городе жила от зарплат до зарплат, а тут, в деревне, на каждом шагу — рубль. Играючи брала на спину тяжелую постилку с сечкой и пособить никого не просила. С утра до вечера, с утра до вечера. Вымоет уже впотьмах ноги, включит телевизор, вздремнет перед ним, прикрыв невзначай глаза. Ночь-то коротка, промелькнет — и уже вставать пора. Не поспеешь и на другой бок перевернуться. С утра до вечера с мокрой спиной, стерлось с лица, как сползает платок с головы, все городское, уже ни следа от завивки.

Дождь изо дня в день. Намыл гальки на стежках — босою ногой не ступишь. Вечером поднимаются от земли густые туманы, идут-клубятся по улице, ровно коровы пыль подняли, ничего сквозз нее не разглядеть. Догонит — ошutiшь лицом чистое стариковское дыхание земли и не отвернешься, не отстранишься, словно мать положила тебе голову на плечо после долгого неутешного плача. На заре от окна тянет прохладой, все белесо, надевает утро через голову на голые плечи свежую, с холодком рубашку — пеленает, как младенца. Рыгор реже выходит на улицу. Хуже видят глаза, мир его делается меньше, хвороба, обложив, держит за обе руки. И пчелы злые, нет им работы в дождь — боится, как бы не надели. Сидит в сенях. Пахнет свежесмытыми, еще влажными скамьями, чадит головешка в помойном ведре, синим подернута, — благостно здесь, тихо, сумрак, тлеет на полу первый осиновый лист. Отнимается у Рыгора иной раз и речь. Да что вокрут нас обладает даром речи? И без нее можно понять и траву, и дерево, и любую животину. Наклонится к нему Агата, шепотом что-нибудь скажет, чтобы не нарушить сошедшую на него сонную, словно кладбищенскую, тишину. Уж что она решит, тому и быть, все в доме теперь на ней, и дверью муж не хлопнет, и слова поперек не скажет. Эту бы волошку в молодости, когда жила у Сташкиной свекрови, старой Лещихи. В распутицу, земли нигде не выдать, ушла с дитенком из хаты, домой подалась, к родителям. А где ты тут выдержишь? Моют, гребут, метут, скребут, полощут... Земля тоже рук требует. Вот и Сташка такая же.

— И где только ты одежду эту берешь? Стирает и стирает! Весь свет Божий завесила бельем, каждый день на проволоке тряпье болтается! А сегодня же Петров день! — без всякой опаски кричит Агата Стасе.

— Что ж ты мне вчера не сказала, коль знаешь?

— Пора уже самой знать все праздники и святые дни! Тебя же и на Вознесение, слыхать, бабы из свеклы прогнали. Что ж это, скажи, такое?!

— Зато у тебя всегда времени хоть отбавляй. А работа стоит! Все изведешь, в распыл пустишь! Да разве б я стерпела, чтоб у меня до сих пор морковь была не прорежена! Да разве б я довела до такого, что из-за лебеды бульбы не видно? Знай вы с Манькой, что у меня уже девять подушек набито, полопались бы от зависти. Всю зимушку драла, сушила, а вы семечки грызли!

— И ты не больно-то перетрудились, коли силы были в крыжовнике с Алексеем валяться. Что, за шелевку расплачивалась?

Хлобость меж ушей! А Стася как стояла, так и стоит. И не перекрестилась, божась, что ничего, мол, между ними не было. Только рассмеялась далеким глухим смехом, словно заглянула в то времечко. Жаром обдало от бабского навета, что-то молодое толкнулось в груди, ноги обмякли. Но отходить от Агаты не хотелось — пусть бы еще что-нибудь сказала. А та прикусила язык.

Побрежали — и хватит... Вот-вот пшеница перестоит, та, что при хате. И прошлым летом под косу пустили. Жаль, хороша пшеница — сильная, густая, хоть ножом режь. Пойдет снова дождь — она же, скошенная, в траве прорастет. Серпом бы сняты. Но уходит время, уходит. Да что поделаешь, не разорвешься же, еще вон и с сеном не управились. Ага, георгин уже расцветает, это какой же: фиолетовый, желтый, красный? Подошла. Еле-еле обозначился, нарождался самый любимый, самый желанный на платье ли, на блузке, на косынке в палисаднике малиновый цвет. Стоит и любит.

Тепло, солнце уже не лучится, золотая, горячая его пыльца сеется, просыпается сквозь деревья, сквозь пальцы, стоит столбами. Столбы живые: кто-то теребит солнце — большой спелый подсолнух. Молодые аисты научились летать. Да не хватает еще веры в себя: иной распахнет крылья, а взлететь не взлетит. Стоит, словно забывшись, раскачивается на ветру. Тут и старый, патриарх: крыло чуть-чуть приподнято, под мышками выстлано белым, как у ангела, — стоит распятием над Агатиной хатой.

Неподалеку от гнезда лежит свежеспеленная рябина. Спилена высоко, кто-то не дал себе труда пригнуться, словно руками ломал — пенек в пояс.

— Что там произошло? Бури-то вроде не было. Рябина лежит подле гнезда. Чья работа? — спрашиваю у всех подряд и наконец у Стаси.

— Я спилила... до ягод никак не добраться... высоко очень... хочу в вино добавить... говорят, вкусно с рябиной...

— Это же не соломина, не былинка, чтобы ломать. Дереву иной век отмерен.

— А-а, ладно...

Стася говорила с каким-то отчаяньем в голосе, словно что-то давно прорывалось в ней и вот, неожиданно для нее самой, победило. Стояла, широко расставив ноги, избавившись от сомнений, от укоров совести. Отводя глаз, втихомолку смеялась надо мною, и был в этом ее смехе какой-то вызов. Вот, мол, я какая, и ничего с этим не поделаешь.

Кричу, зову ее, как в дурном сне, — нет голоса. Она от меня все дальше и дальше — с полным подолом рябины уходит по земле под обращенным к ней холодной стороной солнцем, запасается на зиму.

«Наш со Стасей отец никогда живого дерева с пня не снял, век в хате дрова гнилые были, сухостой валил...» — молитвенно вспоминаю слова Рыгора.

Ступаю через порог Агатиной хаты и словно попадаю в какой-то особый мир.

Агата процеживает молоко, разговаривает сама с собой:

— Коня бригадир дал... дети приехали, пшеницу на ток свезли... комбайном обмолотят... мужчины навоз выбросили из хлева, жижу выбрали, подкормили отаву...

Говорила на удивление ровным голосом, перечисляла сделанное, чуть ли не загибая пальцы. Муж сидел за столом. Белым ручьем лилось молоко. Все шло, как ведется у людей. Во всем управка — такая редкая гостья... Мы смотрели, слушали, как шумит в подойнике пена.

И никто не спрашивал, с чем пришел в хату чужой человек...

Олег Золотов

Мужские собачьи канканы ЗИМОЮ



1

и даже (зачеркнуто) старение матрицы неизбежно даже
при наличии четких
доказательств, даваемых время от времени: простая вроде
ременной
передача что-то вращает там небесные сферы, глянцевые, как
сырая печенка
и с таким же примерно звуком, как ее ж по прилавку (непонятное
можно зачеркивать,
хотя что же здесь непонятного? Смерзшиеся
части следует
отогревать и наоборот для этого даже не нужен сменщик не нужно
просыпаться) А матрицы? А такие дамские кортики в ванной,
такие почти стилеты
и какого черта отчего печенки мои а сферы всехние: почему же
в ванной вся эта дрянь? И бесконечный люксембургский эфир,
прерываемый мужественным
московским, а матрицы, стареющие, как бабы? что я не знаю,
откуда странгуляционные
линии берутся — от папиллярных,
вот почему с каждым сезоном сильнее шею тянет скорее
к пролетам, чем к отдушинам,
словно в поисках сладострастия в крайностях; так
удовлетворяется любопытство к тебе
и твоим сферам, в особенности к их полярным
областям, где скорость вращения меньше и можно не волноваться
за душу

2

нет, не то будущее ожидает меня, о котором ты как-то
обмолвился, нет. Кабы последним офицером несуществующих
имперских дивизий

качать на качелях ребенка, размышляя досужно, допустим,
о преимуществах безоткатных
орудий пред Всеми прочими и т.п. — о нет, хотя ты,
наверное, удивишься

идиотским совпадениям; да и сам я, узнав, что
не бессмертье себе готовил,
а ту или эту жизнь — затосковал безмерно в тех самых
твоих аллеях,
где чуть не на каждой скамейке.....
и лошадь.....

Кабы уметь плести сети, кабы нежности и покоя под старым
рыбачьим баркасом обрести, кабы чаечных или голубиных,
редая
с ветром стай бормотанье по днищу, да с некоею не то
дурой-рыбачкой не то весталкой —
ах, я не могу этой вещицы вспомнить, а и вспомнив,
не успел бы ее переделать.

а впрочем, если изо дня в день искать где? ну хоть меж
повесток и писем оттуда
и из этой жизни (нет, выражение «изо дня в день» не годится,
здесь у тебя страшный бардак со временем, сплошные
«мозеровские блюда»
как при отступлении) может, что-то и отыщется, вот,
погляди-ка:

не этот ли текст нынче мог бы определять разные вкусные
и интересные штуки
«...про снег. До Рождества еще куча врѐмени. вьтки
въ сугробах...» и дальше по ходу — весталка,
конечно же, а не рыбачка! Значит возможны, вино, скажем,
оливки, взбитые сливки и масса прочей натуры,
если умеючи пользоваться поэзией вообще и некоторыми
избранными местами,

если умеючи. Следует, например, знать числа, когда
бессмысленно дожидаться заката,
в размышлении полюбоваться морозной игрою на стеклах,
(тот возникает обычно, как из рукава или ниоткуда)
и лучше заняться разбором архива, а не то кашель
подлечить; в этой твоей местности, где аллеи, скверный климат,
и я не знаю,
как все мы (включая лошадь) еще не сдохли
от бесконечной простуды

3

Конечно же я о тебе вспомню я о тебе и теперь вспоминаю
всякий раз, деля порошки таким образом: принимая
сначала половину, потом четверть,
словно и о тебе заботясь. Долго так не протянешь
(дозы), и значения
особого мои ритуалы для тебя не имеют, равно как
и все остальное,
творящееся между нами —
эдакие мужские собачьи канканы зимою в самом рискованном
варианте либретто об иллюзиях, гормональных бурях и
золотых обмылках,
вытанцовываемые с целью

вспомнить о тебе не раньше, чем о люминисцентном
 как в морге но пыльном от вышних трамваев воздухе одного
 подземного перехода

одним новогодним утром, и кое о чем еще: о сминающем
 запахи хвои и кулинарии аптечном запахе над столами
 из пригоршень
 наготове. Я наконец терпелив и внимателен, как грум и
 как рыба, осторожен в выборе воспоминаний и искушений; ты ж
 изначально невнятен,
 ты неизбежно проговоришься,
 и кто-то из нас дрогнет у звука, с которого все начиналось

(.....над пустынными водами. описывается не сама сталь
 и не звук раздвигаемой плоти, но вибрация острия,
 упершегося в кафель,
 нет, в центр (усложним задачу) в гвоздь, выступающий
 из половицы.

Ты можешь войти сюда хоть в чепце,
 видишь, вот и бессмертие почти возможно, но оба мы знаем,
 что к старости
 не только почувствовать, как в тело входит, но и услышать,
 как царапает кафель (нет,
 усложним задачу — выступающий гвоздь половицы — тогда лишь...
 когда ты...

я буду испытывать твоё терпение, пока ты не проговоришься:
 я буду искушать тебя, я буду перебирать слова, пока ты
 не дрогнешь у звука,
 с которого все начиналось над пустынными водами.
 Не хруст тканей раздвигаемых чем-то железным
 но точный звон острия о выступающий гвоздь половицы.
 Иногда лишь достаточно пометить
 я наконец терпелив и осторожен как грум как рыба
 осторожен в выборе искушений и воспоминаний.
 Изначально невнятен и потому неизбежно проговоришься и
 что-то дрогнет у нас
 дрогнет у звука, с которого все начиналось: сложный код,
 но попробуем: не.....)

над пустынными водами: описывается не сама сталь,
 и не звук раздвигаемой плоти, но вибрация острия,
 упершегося в центр
 гвоздя, выступившего из половицы; ты можешь войти сюда
 хоть в чепце,
 видишь, вот и бессмертье почти возможно, но оба мы знаем,
 что к старости

этот дар все менее ценен: дома, где творилась любовь и
 без того успевают
 ветшать, равно как и транспортные узлы, развилки и
 помещения для танцев
 (а все ж оцени: длить порошки — как последние спички
 до пальцев
 длить в своеобразном оцепенении, неизвестно что продлевая.)

Р.С. чуть не забыл. О главном: мишура конвекция затейливый
рукомойник жизнь минерала
родина музыки — не уместилось

4

и вдруг ощутить себя (словно открыть случайно в необходимом месте
справочник) неким соблазном следующим на смену кошмару плыву-
щим
подобно головам парнокопытных над полосой тумана:
на кольцевом автобане, в сумерки, внезапно; или еще: намокшим
невидимым стогом,
угадываемым (да, внезапно как справочник по фармакологии)
неким юным соблазном, за секунду пред тем, как слетятся
ко мне все
кто меня любили — суетиться и приносить апельсины. Или еще:
владельцем
опустевшего вдруг крольчатника и вероятно обитателем (да,
внезапно опустевшего
на столько-то принятых в этой округе лье, на сколько дыхания)
Вот этим самым соблазном уходящим отсюда отсюда по темному логу
в белых одеждах

проклинаячи хитрости взрослеющего лона: сны и тяжкие нежности
внизу живота
так: двигаясь неадекватно местности нервно да, так, внезапно:
чужой далекого аэроплана звук жизни да, так и запишем в альбом
для непонятных
слов: мазурка а после где-нибудь проверим или еще встретившееся:
любите ли вы тянули¹ (для изучающих русский) да, и еще:

что делать с опустевшим крольчатником (там, там уже,
на расстоянии двух дыханий)
или: одним из двух венских шарлатанов, отчего душа шелестит
и двигаясь и сгорая ну да мертвые души часть вторая все
правильно ну вот все
и объяснилось: тем самым одуревшим от кошмаров соблазном
в белых одеждах
удаляясь и возвращаясь темным логом кружа возле опустевшего
крольчатника вдруг

5

не сбылись и приметы смерти — здесь жизнь
сама у себя крадет таблички, где поверх чертежей
или напротив
разметок — предостережения вроде: есть кое-что
дальше колена и локтя —
а что именно — забылось; надо думать, плечи и ягодицы.
Ей, голенькой, мешают запонки и зажимы,

эти спутники тихих под музыку игр (как они назывались?
что за связь?) Ветер шумел в деревьях. Поля были пусты.
Г.П.Данилевский. А вправду ль для стынувших
рощи и почвы нет знака другого (и для блестящего холода):
запонки,

¹Тянули — род сладостей (примеч. автора).

тихие игры (так как же они назывались?) Вот строение
из отсыревших
японских жердочек, легкий изыск казенных забав — монастырь
либо молельня в горах; утром градусники в полусне, нашатырь
в рекреациях, нет, ничего не сбывается, не совпадают имена
не передниками

горничных с их именами; номера этажей и плевательниц;
безлюдно
на мероприятии «собирать перед завтраком желуди», а намедни
не работала почта... Смерть — сама неустроенность: и смена
белья удивительно нерегулярна и женские недомогания
у возлюбленной,

но. Эти самые желуди. Двигаясь, как сосуд, где внутри уже
все оборвано, приседая, как к труп, можно кружить в лоскутьях
кустарника, можно прижимать эти штуки к лицу и песку
ощущая в ладонях нечто напоминающее электричество.

Дмитрий Стахов

Из цикла «Разбитая-бутылка-темного-стекла»



Аникеев и его друзья

- Нам на этот автобус, — сказал Борода и поправил очки.
- Подожди. — Малыш посмотрел на толпящихся вокруг остановки людей. — Лучше на следующем.
- Следующего ждать... — Борода зябко поежился.
- Ничего, — Малыш достал сигареты. — Покурим. Столько не виделись...
- Когда в последний раз?
- Не помню, — после некоторого раздумья проговорил Борода. — Кажется, года три тому назад, в сентябре, у Рябушкиной на дне рождения.
- У нее весной. Кажется — четырнадцатого апреля.
- Ее дочери был день рождения.
- А... — Малыш дал прикурить Бороде, прикурил сам. — Меня там не было. Ты что, не помнишь?
- Не помню, — признался Борода. — Я теперь даже вчерашний день не могу вспомнить. Вот спроси — что было позавчера?
- Позавчера был вторник, — вставил слово Аникеев.
- Ну и что было позавчера? — спросил Малыш.
- Борода пожевал губами, покачал головой.
- Не помню, — наконец сказал он. — Не помню! Ужасно...
- Я Рябушкину не видел лет пятнадцать, — сказал Малыш, глубоко затаился, сплюнул себе под ноги. — А пятнадцать лет назад собирался на ней жениться. У меня тогда бабка умерла, оставила квартиру. Всю мебель дядька забрал, все остальное — тетка. Осталась одна тахта и клопы. А еще — чайник, пара чашек, нож там, вилки какие-то кривые. Фотография на стене: мой отец в галифе, сапогах, фуражке. Его последняя фотография перед этой блядской Венгрией, где его свои же и расстреляли...
- За что? — спросил Аникеев, но ему Малыш не ответил.
- За что? — спросил Борода.
- А не хотел расстреливать этих самых мажор... Ладно, сейчас не о них.
- Ланьок, Ланьок!
- Чего? — Борода внимательно посмотрел на Малыша.
- Это «девушка» по-венгерски. Ну, вот... О чем это я?
- О клопах, — сказал Борода.
- О Рябушкиной, — сказал Аникеев.
- Малыш посмотрел на Аникеева и скривился в усмешке.
- О какой еще Рябушкиной? — спросил он.
- Об Ольге, — Аникеев достал свои сигареты, щелкнул длинной, тонкой золотой зажигалкой с монограммой, пустил вверх, к нависшей над ними мокрой, с желтыми листьями ветви, ароматный дымок. — Она мне рассказывала о вашем романе. Она очень переживала разрыв с тобой. Она...

— Ольга? Рассказывала тебе? Тебе? — Малыш от удивления выронил сигарету. — С какой стати?

— А мы дружили. — Аникеев легким жестом поправил волосы, кончиками пальцев провел по гладко выбритому подбородку. — Она со мной многим делилась. Мы были очень долго дружны. Даже при ее первом муже наша дружба продолжалась. Вот второй оказался таким брутальным...

— Понятно, — кивнул Малыш.

Борода хмыкнул и далеко зашвырнул окуроч.

— Что тебе понятно? — спросил Аникеев.

К остановке подошел еще один автобус.

— Нам этот номер нужен? — не отвечая Аникееву, Малыш обратился к Бороде.

— Да, — ответил тот. — Скоро час пик. Тогда уж точно не влезем. Пошли, попробуем через заднюю...

— Возьмем машину? — предложил Аникеев. — Я заплачу...

— О, прекрати! — Борода недовольно скривился. — Где сейчас поймашь машину и кто нас повезет? Ехать тут недалеко, ничего, потерпим...

— А вот, — Аникеев указал на остановившийся возле тротуара большой, блестящий, черный, с зеркальными стеклами автомобиль: из него, с переднего сиденья, продолжая разговаривать с водителем, не замечая, что легкой блестящей туфелькой она ступает в лужу, под мелкий морозящий дождь и ветер, выходила изящная женщина в светло-сером пальто.

— Какие ножки! — громким шепотом сказал Малыш, женщина услышала его слова и, захлопнув дверцу, пошла от машины, играя бедрами.

— Я бы ей... — начал Малыш, а Борода закончил:

— Впердолил...

— Точно! — засмеялся Малыш. — Точно...

— Э-э... Друзья! — позвал их Аникеев, уже успевший договориться с водителем черной машины. — Едем!

В машине Борода снял свой беретик, опустил воротник плаща, поставил портфель между собой и Малышом, который сразу начал закуривать.

— Пожалуйста, не курите, — попросил водитель, взглянув на Малыша в зеркало заднего вида.

— Пожалуйста... — обиделся Малыш и спрятал сигареты.

— Хорошо здесь пахнет, — заметил Борода, втягивая воздух узкими, тонко вырезанными ноздрями.

— Пассажиручкой, — сказал Малыш.

— Кем? — переспросил водитель.

— Это я так, — сказал Малыш. — Не обращай внимания.

— Не бери в голову, — сказал Борода.

— Да, — подтвердил Малыш. — Не бери в голову.

Аникеев смотрел прямо перед собой. Пальцы его рук, тонкие, ухоженные, то сплетались, то расплетались. Затылком он чувствовал на себе взгляды Малыша и Бороды, и ему казалось, что смотрят на него все-таки с симпатией, что первоначальное отчуждение, даже неприязнь отошли, что теперь они опять все свои.

— Ты меня не помнишь? — спросил у Аникеева водитель.

— Нет, — быстро ответил Аникеев.

— Ты что? — водитель удивленно посмотрел на Аникеева. — А на прошлой неделе? Ты тогда приехал с...

— Нет! — Аникеев подобрался, голос его, до этого мягкий, тягучий, мелодичный, нежный, прозвучал резко, крикливо. — Я не помню!

Борода и Малыш переглянулись, Борода кашлянул. Водитель через плечо оглянулся на Бороду, затормозил у светофора.

— Здесь налево, — сказал Аникеев.

— Лучше на следующем повороте, — подал голос Малыш.

Зажегся зеленый.

— Так где? Здесь или на следующем? — спросил водитель и улыбнулся.

— Если ты считаешь — на следующем, то тогда давай повернем на следующим, — сказал Аникеев Малышу. — Давай, как ты скажешь...

Водитель засмеялся.

— Поворачивай! — приказал Малыш. — Поворачивай сейчас!

У ворот больницы машина остановилась, Малыш с Бородой вышли и пошли по аллее. Аникеев задержался в машине, и ему пришлось догонять.

— Уф! — запыхавшись, сказал он, когда поравнялся с Малышом и Бородой. — Он меня с кем-то спутал...

— Кто? — вяло, как бы без интереса, спросил Борода.

— Этот, — Аникеев ткнул пальцем за спину. — Водила.

— Какой корпус? — спросил у Бороды Малыш. — Кажется, третий...

— У меня записано... — Борода остановился, поставил портфель на землю, расстегнул плащ, вытащил из кармана пиджака блокнот и принялся перелистывать страницы.

— Седьмой, — сказал Аникеев.

— Сейчас, — словно его не слыша, проговорил Борода. — Сейчас... Вот... Седьмой корпус, шестой этаж, палата...

— Тридцать шестая, — вставил Аникеев.

— Да, тридцать шестая, — Борода спрятал блокнот, застегнул плащ, взял портфель. — Пошли!

— А ты откуда все это знаешь? — спросил у Аникеева Малыш.

— Я к нему уже ездил, — краснея и начиная часто моргать, ответил Аникеев.

— Ты? — Малыш хохотнул. — Уже ездил?

— Да, — подтвердил Аникеев. — И не раз. Как только его положили, я к нему приехал. И когда диагноз уточнили — тоже. И после операции, когда его вернули из реанимации в палату...

— Что же ты не сказал?

— А вы не спрашивали. Ты с Бородой меня не замечаете. Я вам не интересен. Вы меня презираете. Я для вас чужой. Вы думаете, что лучше меня. Вы все время хотите меня унижить...

— Заткнись! — отозвался на слова Аникеева ушедший метров на пять вперед Борода. — Надоел!

Аникеев побледнел, в уголках его больших темно-серых глаз появились капельки слез. Он посмотрел на Малыша, но тот уже догонял Бороду. Аникеев смахнул одним легким движением слезы, переложил из правой в левую руку большой пластиковый пакет, с ненавистью посмотрел в спину Бороде, отметил, что плащик у того донельзя заношенный, что из полы плаща торчат какие-то ржавые нитки. Потом, спохватившись, бросился догонять.

В тридцать шестой палате было четыре койки. Одна пустовала, на другой, отвернувшись к стене, тяжело дыша, спал тучный больной, второй, завидев входящих в палату Бороду, Малыша и Аникеева, отложил сложенную пополам книгу, опустил на пол бледно-желтые безволосые ноги, нащупал ими растоптанные тапочки, накинул на плечи застиранный синий халат.

— Покурю, — подмигивая Бороде, сказал он и зашаркал к выходу.

Либергорн лежал на койке у самого окна, лежал на спине, сложив на впадлом животе узловатые, когда-то сильные руки, выставив вверх острый нос. Глаза его были закрыты, но веки подрагивали: Либергорн не спал. Борода сел на стул возле тумбочки, Малыш взял себе стул от койки вышедшего покурить и тоже уселся, Аникеев остался стоять. Борода кашлянул, Малыш позвал шепотом: «Илья!», Аникеев пошуршал своим пакетом. Либергорн медленно открыл глаза, повернул голову и некрасиво, дав губам расплзтись, заплакал.

— Илья! Ну что ты, Илья, — сказал Малыш.

— Это мы, Илья, — сказал Борода, достал из кармана плаща заскорузлый носовой платок и вытер им слезы Либергорна. — Пришли тебя проведать. Как дела? Как себя чувствуешь?

— Плохо, — тихо, тихо и жалобно ответил Либергорн. — Все вырезали. Пичкают лекарствами. Очень дорогими. Маша собирается даже дачу продавать.

— Дачу? — переспросил Малыш.

— Да, дачу... — Либергорн перестал плакать, шмыгнул носом и улыбнулся, показав длинные очень белые зубы. — Тещину дачу. У нас же три дачи: наша с Машей, моего отца и тещина. Если не продать, денег на лечение не хватит. Вот как сейчас...

Аникеев расстегнул пальто, достал из внутреннего кармана красивую, блестящую картонную коробочку и поставил ее на тумбочку возле койки Либергорна.

— Я принес, — сказал Аникеев. — Принес, как обещал. Это самое лучшее средство. Прямо из университетской клиники Сиэтла.

Либергорн, Малыш и Борода посмотрели на коробочку.

— А это сколько стоит? — спросил Борода.

— Нисколько, — ответил Аникеев. — Это привезли по моей просьбе.

— Спасибо, — сказал Либергорн.

— Ну а все-таки? — Малыш обернулся к Аникееву: — Сколько?

Не отвечая Малышу, Аникеев начал доставать из своего пакета свертки и банки.

— Это инжир, — говорил Аникеев. — Это курага. Это поливитаминный сок. Это язычки в ореховом соусе. Это печень макрели в масле. Это сушеные бананы. Это...

— Это яблоко, — Борода раскрыл свой портфель и достал одно большое, красное, все в табачных крошках яблоко. — Не знаю, какого сорта...

— Шафран? — предположил Малыш.

— Не знаю, — повторил Борода. — Но очень вкусное.

— Спасибо, — сказал Либергорн. — Спасибо, друзья...

Он оглядел всех троих, с виноватой улыбкой задержал взгляд на Аникееве.

— Пашенька, — сказал Либергорн. — Дорогой. Пожалуйста, подойди к Льву Семеновичу, он сейчас в ординаторской, поговори с ним. Ты обещал с ним поговорить...

Аникеев вышел из палаты. Трое молча слушали дыхание спящего. Потом спящий тяжело вздохнул, и всем трем показалось, что он дышать перестал. Малыш нервно переложил ногу на ногу, его ярко-зеленые, блестящие, с двойными красными полосами тренировочные поймали свет горящей на тумбочке Либергорна лампы, послали зайчик в глаза Бороде. Борода зажмурился, а потом поудобнее разложил на коленях свой плащ.

— Дышит? — спросил Борода у Либергорна.

— Наверное, — с надеждой ответил тот. — На этой неделе с его койки уже двоих отправили в морг. А моя койка счастливая. С нее выписывают в хорошем состоянии...

— То, что ты поправишься, — сказал Малыш, — ясно и без примет. Лучше скажи — что это к тебе педрила наш ходит? С чего это между вами такая дружба?..

— Ты о ком? — Либергорн взял с тумбочки банку с консервированными язычками в ореховом соусе, прищурившись, пробежал глазами опоясывающий банку мелкий шрифт, удовлетворенно моргнул. — Кто у нас педрила?

— А этот, — Малыш ткнул за спину толстым с большим выпуклым с траурной каемкой ногтем пальцем. — Пашенька. Или ты не знаешь?

Спящий протяжно выпустил газы, вздохнул. Борода оглянулся на него через плечо и заметил, что высунувшаяся из-под одеяла ступня мелко-мелко дрожит. Он поправил очки, почесал кончик носа и сказал:

— Да, действительно...

— Что «действительно»? — спросил Либергорн.

— Ты действительно не знаешь, что он голубой? — Малыш расстегнул свою кожаную куртку, и на Либергорна пахнуло тяжелой смесью запаха дезодорантов и пота. — Он же это, как его...

— Спит с мужиками, — сказал Борода, еще раз оглянулся на спящего: ступня уже не дрожала, но дыхания слышно не было.

— Правда? — Либергорн поставил банку на тумбочку, приподнял голову с подушки и тоже посмотрел на спящего. — Совсем недавно он спал с моей женой. Она — не мужик. Кто угодно, но не мужик.

— Ты уверен? — Малыш привстал вместе со стулом, посмотрел на спящего, вновь сел. — Ты в этом уверен?

— Конечно, — роняя голову на подушку, сказал Либергорн. — Во-первых, как ты можешь догадаться, я сам с ней спал. Более того — я собираюсь с ней спать после выписки. Во-вторых, она родила мне двоих детей. Дети не ахти какие, но это наследственность ее мамочки, которая, как всем известно, не только и не столько

стерва, каких мало, но еще, по-моему, прибабахнутая. Я не врач, не психиатр, но там клиника. Точно, кли-ни-ка, — последнее слово Либергорн произнес по слогам и, сведа глаза к переносице, соорудил гримасу. — Хороша же будет морда у моей тещи, когда я продам ее дачу! — со смешком сказал он. — Мне просто не терпится это увидеть. Просто не терпится...

Спящий вновь выпустил газы, вновь вздохнул, а потом часто-часто задышал.

— Я не об этом, — сказал Малыш. — Я о том, уверен ли ты, что он спал с твоей женой?

— Ха-ха-ха! — отрывисто засмеялся Борода. — Ха-ха-ха!

— Конечно, конечно! — Либергорн взял с тумбочки пакет с поливитаминным соком, вскрыл его одним ловким движением, отпил большой глоток и рыгнул. — Я же не моя теща, у меня не бывает галлюцинаций или бреда. Я их самолично застал в постели...

— Да? — спросил Борода.

— Да... — подтвердил Либергорн. — Если быть точным, они трахались на диване в большой комнате, играла музыка...

— Какая? — спросил Борода.

— Пошел! — Либергорн мельком посмотрел на Бороду и начал читать надписи на пакете с соком.

— А все-таки? — Борода оглянулся на спящего и брезгливо потянул носом воздух.

— Вивальди. Годится?

— Врешь!

— Ну, хорошо... Не помню какая, но играла. Я вошел...

В палате, сопровождаемый Львом Семеновичем, появился Аникеев. Борода и Малыш встали, причем Борода уронил свой плащ, наклонился за ним и ударился лбом об угол тумбочки у койки Либергорна.

— Здравствуйте, — сказал Малыш.

— Так-так-так, — на приветствие Малыша не обращая внимания, проговорил Лев Семенович, подошел к спящему и над ним наклонился. — Так-так-так...

Борода распрямился, и Аникеев увидел сбегаящую у него по лбу кровь. Либергорн сделал еще глоток сока.

— Уф! — сказал он. — Уф!

История любви Бузаканова-младшего и Носихиной

Когда богатство и слава Дубоделова начали перерастать все возможные и невозможные пределы, когда сила его и влияние начали затмевать силу и влияние многих и многих, когда почти все им было испробовано и перепробовано, тогда Дубоделов впал в тоску. Несколько дней и ночей провел он в состоянии страшном, с изуверской жестокостью разделался с бывшим другом, ныне — опасным конкурентом, устроил пару грандиозных дебошей, казнил собственноручно одного из своих приближенных за одно только, что в глазах его прочитал намек на возможную измену, но от тоски не избавился. Она заполонила всего Дубоделова без остатка, и, как последнее средство, ранним-ранним утром он решил, раз ничего нового найти не суждено, пойти на второй круг. Он тут же вызвал к себе своих заместителей, Бузаканова и Путко, не дав им даже прийти в себя, сумрачным голосом приказал: «Девочку!» — и выставил за дверь.

Путко, то ли от врожденной тупости, то ли потому, что было еще слишком рано и мозги его работали плохо, Дубоделова понял в том смысле, что шефу срочно требуется перебраться. Выйдя из особняка, сев в машину, Путко скомандовал шоферу: «Вперед!» — и поехал по закрывавшимся к тому времени кабакам и казино в поисках чего-нибудь поприличнее. Бузаканов же хозяина понял как надо, своего шофера не гнал, а только сидел на заднем сиденье и с печалью размышлял о непростом — да! — непростом поручении.

Однако в этом случае судьба оказалась к Бузаканову благосклонной: в тот же день его подчиненные, при проведении операции устрашения, в качестве трофея забрали из принадлежавшей соперничающему с Дубоделовым клану квартиры девушку необычайной красоты, удивительного ума, потрясающего обаяния и проч.

и проч. Каким образом девушка оказалась в квартире, узнать не удалось — все прочие, в квартире находившиеся, пулями были изрешечены, девушка, прикованная цепью к батарее центрального отопления, от ответа на этот вопрос упорно уклонялась, — но подчиненные Бузаканова, уже знавшие о желании Дубоделова, на всякий случай к девушке отнеслись предупредительно, ничего выходящего за рамки — то есть, строго говоря, вещей самых обыкновенных, — себе не позволили и отвезли красавицу к Бузаканову. Вскоре через женщину, приставленную к девушке, дабы бедняжка поскорее утешилась, выяснилось: имея красоту, ум, обаяние, девушка имела и еще кое-что, в данном случае необычайно ценное. А именно — девственность. И можно было считать, что Бузаканов поручение Дубоделова выполнил, выполнил в один день, в поразительно короткие сроки и с отличным качеством, а также в очередной раз обошел незадачливого Путко, человека не только неумного, но и очень злопамятного.

Бузаканов велел отвезти девушку за город, в свой дом, стоявший на берегу водохранилища, велел по-прежнему относиться к ней со всей возможной предупредительностью, велел всячески готовить к предстоящей встрече с Дубоделовым, а сам отправился к шефу, дабы подготовить и его. Дубоделова Бузаканов застал в состоянии еще большей тоски, чем то, в котором оставил его ранним-ранним утром. Дубоделов мучился: сбитые об скулы незадачливого Путко костяшки пальцев саднили, правая нога ныла от долгого пинания в бок неразумного Путко, а в ушах до сих пор стоял залиvistый смех пьяной потаскухи, привезенной непонятливым Путко. Бузаканов умел найти нужный подход, к тому же Дубоделов понял, что Бузаканов-то его не подведет, что Бузаканов-то уже что-то нашел, а не говорит об этом прямо, чтобы сделать шефу приятный сюрприз, и время они провели в мирной беседе, стараясь в разговоре не позволять даже намека на вожденный предмет. Уже далеко за полночь Бузаканов прощаясь дал понять Дубоделову, что к вечеру наступающих суток его, Бузаканова, стараниями тоска отойдет и более никогда не омрачит чело столь великого человека, каким был, оставался и, несомненно, будет еще долго-долго Дубоделов. Но ждало Бузаканова жестокое разочарование.

Гостем в загородном бузакановском доме проживал племянник, молодой человек из провинции, сын любимой сестры, недавно умершей от женских онкологических болезней. Бузаканов, хотя племянника знал недостаточно хорошо, уже души в нем не чаял, ибо был одинок и бездетен. К тому же племянник был удивительно на Бузаканова похож, и посему все, включая и самого Бузаканова, звали племянника Бузаканов-младший. В провинции, где раньше он проживал, Бузаканов-младший добился многого, собиравшись под руководством и под опекой дяди также многого добиться и в столице, а пока, проводя время в компаниях таких же, как он, отдыхал и готовился к завоеванию вершин. В день, когда девушка была доставлена в загородный дом Бузаканова-старшего, Бузаканов-младший отходил от предыдущих дней веселого времяпрепровождения и без цели, в некоторой задумчивости бродил по комнатам огромного дома, выходил в сад, сидел в шезлонге на пристани, у которой был пришвартован принадлежавший дядюшке катер. В ходе своих перемещений Бузаканов-младший совершенно случайно и обнаружил девушку, которая, отойдя стараниями заботливой женщины от потрясений, сидела перед зеркалом в маленькой комнате под самой крышей, смотрела на свое отражение в зеркале и горестно вздыхала. Девушка увидела отражение заглядывающего в комнату Бузаканова-младшего, их взгляды встретились, в сердцах их вспыхнуло некоторое чувство, о котором в нынешние времена почему-то говорят с извиняющейся улыбкой как о чем-то давно устаревшем. Оно не устарело!

Бузаканов-младший вошел в комнату и прикрыл за собой дверь. Слова им не были нужны, но все-таки двумя-тремя они обменялись, девушка, волнуясь, краснея и чуть запинаясь, поведала, что зовут ее редким именем Агарь. Руки их сплелись, Бузаканов-младший притянул Агарь к себе, они поцеловались, Бузаканов-младший прижал бедра Агари к своим, Агарь опустила на стоявший возле зеркала пуфик, обвила ногами Бузаканова-младшего, и в обоюдном восторге они соединились. Самозабвение их было столь велико, что за первым соединением последовало второе, за вторым — третье, они уже не слышали и не видели ничего вокруг, а Бузаканов-старший, к тому времени прибывший к себе в загородный дом и решивший посмотреть на добытый трофей, племянника обнаружил стоящим перед трофеем на коленях и с упоением вылизывающим шелковое лоно трофея.

Сомнений быть не могло. Главнейшее — простим Бузаканову-старшему столь очевидную старомодность в данном вопросе — достоинство было Агарью утеряно. Гневу Бузаканова-старшего не было предела. Он хотел тут же лишит племянника не только его верткого-языка, но и начавшего подниматься страстного органа, однако, взглянув в глаза молодым людям, понял: «Над этим я не властен!»

Бузаканов-старший, человек не злой, а скорее — озлобленный, решил не ломать хрупкое еще, так неожиданно возникшее счастье молодых, решил взять на себя улаживание всех проблем, решил до вечера придумать что-нибудь такое, что могло умаслить Дубоделова. Он дал Бузаканову-младшему и Агари время привести себя в порядок, позвал их к столу, но мирному обеду состояться было не суждено: специальный отряд милиции, начальству которого надоели и Бузаканов и Путко — Дубоделова начальство трогать боялось, — окружил загородный дом и через мегафон предложил всем сдаваться.

Призыв к сдаче воспринят не был. Подчиненные Бузаканова-старшего начали героическое сопротивление, которым руководил сам их начальник. Пока шел короткий, но ожесточенный бой, Бузаканов-младший и Агарь, прижавшись друг к другу, в отчаянии клялись друг другу, что если им суждено погибнуть сегодня, то в жизни вечной они встретятся обязательно и соединятся на веки веков. Силы были не равны, применяя снайперские винтовки, бойцы специального отряда милиции устранили наиболее боеспособных защитников, потом ворвались в дом и устроили там настоящий погром. Они стреляли во все стороны, применяли приемы восточных единоборств, бросали гранаты со всякими газами, крушили дорогую мебель, резали бесценные картины, вещи поменьше, ценности и деньги беззастенчиво крали. Везде лилась кровь, везде лежали бездыханные тела, везде было слышно цоканье подковок тяжелых башмаков специальных милиционеров.

Бузаканов-старший, видя, что дело проиграно, тем не менее продолжал бой до последнего патрона, который собирался оставить себе, но не успел: вбежавший в его укрытие милицейский боец выпустил в широкую грудь этого незаурядного человека половину обоймы. Кровавая пена выступила на губах Бузаканова-старшего, он вытянулся, моргнул и — умер.

Казалось бы, специальный отряд милиции может праздновать полную победу, но Бузаканов-младший оставил состояние голубя и перешел в состояние льва: из тайника, который показал ему как-то всецело доверявший ему дядюшка, он извлек два саквояжа с огромными деньгами, автоматический пистолет итальянского производства, ключи — от катера и от квартиры в самом центре города, о которой никто, кроме уже умирающего к данному моменту Бузаканова-старшего, не знал, подхватил Агарь, мастерски отстреливаясь, пробился к пристани, завел катер — и был таков.

Они, Бузаканов-младший и Агарь, неслись по водной глади, волосы их развевались, легкие их переполнялись воздухом шальной свободы. Преследователи безнадежно отстали, вызванный специальный милицейский вертолет в азарте погони не заметил проводов линии высоковольтной передачи: вспышка за спинами Бузаканова-младшего и Агари свидетельствовала: им уже ничто не угрожает. Они обнялись и улыбнулись друг другу. Перед ними была целая жизнь.

Городская квартира встретила их пылью, но это их не смутило. Агарь и Бузаканов-младший, оставшийся теперь единственным Бузакановым на всем белом свете, остались квартирой довольны, быстро навели в ней порядок, закупили нужных продуктов и позвали в гости некоторых людей, с которыми Бузаканов, еще будучи младшим, еще в пору ознакомления со столичной жизнью, подружился. Все откликнулось на приглашение, и на долгое время в квартире развернулось бесшабашное гулянье. В перерывах гулянья Бузаканов и Агарь любили друг друга на широкой кровати, на ковре, в кресле, в ванной, на кухне, в туалете, в прихожей, на письменном столе, на одном балконе, на другом балконе, любили друг друга в классической позе, в позе, столь любимой индийцами, в позе, приближающей их в единении с миром животных, в позе «валетом» и в других, о которых они знали, догадывались или которые они изобретали сами. Их счастьем не было предела, их любовь только крепла. Бузаканов с восторгом слушал, как Агарь декламирует стихи, коих она знала множество, как она поет нежным и чистым голоском разные песни, смотрел, как она готовит разные кушанья, как рисует смешные шаржи на приходящих в квартиру гостей, и чувствовал, что эта девушка, им так скоропалительно превращенная в женщину, для него дороже всего на свете.

Так продолжалось до тех пор, пока не подошли к концу деньги, бывшие в двух саквояжах и казавшиеся неисчерпаемыми. Необходимость где-то изыскивать средства неприятно поразила Бузаканова, он даже несколько пал духом, но Агарь посоветовала ему обратиться за помощью к тем, кто еще недавно ел и пил у них дома. Но оказалось, что люди в первую очередь отличаются неблагодарностью и помочь попавшему в беду вовсе не собираются. Все от Бузаканова отвернулись, а некоторые, почувствовав в нем слабость, решили его же и добить и, воспользовавшись доверчивостью Агари, в квартиру проникли, Агарь связали, чтобы, после того как квартиру обчистят, Агарь группово изнасиловать. Бузаканов находился на почте, откуда дозванивался до своих давних друзей в провинции, и вернулся в квартиру, когда негодяи упаковали награбленное и, стоя вокруг распростертой на полу Агари, спорили, кому начать первым. В праведном гневе Бузаканов был грозен и непобедим. Он смел все преграды, которые возникли на его пути, завладел оружием одного из поверженных мощным ударом ноги в челюсть и застрелил всех, а того, кому выпало насиловать Агарь первому, кто с голой задницей вымаливал у Бузаканова жизнь, того заставил Агарь развязать и задушил подлеца собственными руками.

Бузаканову и Агари пришлось, захватив самое необходимое, покинуть квартиру, в которой, там, где совсем недавно они так упоенно любили друг друга, лежали остывающие трупы. На улице стояла зима: перемены времен года увлеченные только собой Агарь и Бузаканов не заметили. Им было холодно. Их путала неизвестность. Огромность оставленной квартиры, всплывая в памяти, наводила грусть. Им некуда было податься. И тут Бузаканов вспомнил о своих провинциальных друзьях, до которых дозванивался с почты: взяв машину, Бузаканов со своей любимой отправился в аэропорт, купил билеты на ближайший рейс и вечером того же дня уже вспоминал со старыми друзьями юношеские шалости.

Все было бы хорошо, но и до провинции дотянулась рука Дубоделова, который в качестве своего доверенного лица послал завоевывать провинцию тугодума Путко. Действовал Путко напролом, безжалостно, недовольных устранял, используя и привезенных с собой людей, и местных, переметнувшихся. Он подкупал должностных лиц, маневрировал среди местной элиты, подкидывал денег тем, кто, обещая дело Дубоделова не оставить без внимания, собирался выставить свою кандидатуру на близившихся выборах. Живя в номере люкс самой лучшей гостиницы, Путко разбросал щупальца по всей провинции, знал обо всем и обо всех, и от него не ускользнуло известие о прибытии Бузаканова и Агари. Путко сразу сообразил, что это. Более того: через одного из своих людей, когда-то входившего в охрану погибшего Бузаканова-старшего, он узнал, что Агарь — та самая девушка, которую предполагалось отдать по-прежнему пребывавшему в тоске Дубоделову. Надеясь таким образом упрочить свое положение, Путко решил разделаться с Бузакановым, захватить Агарь, отвезти ее, пусть уже и не девственницу, к Дубоделову и таким образом несколько опорочить память о погибшем Бузаканове-старшем, которого Дубоделов продолжал неутешно оплакивать, чем увеличивал свою тоску.

План у Путко вызрел злодейский, и осуществил он его молниеносно, но с одним только проколом: путковский человек, который должен был свинцовой трубой раскроить череп Бузаканова, раскроил череп бузакановского друга, давшего Бузаканову и Агари приют. Агарь тем не менее была похищена, Бузаканов, вернувшийся в дом друга с почты, где он дозванивался до друзей в других провинциях, уже ничем помочь не мог, но друг его перед смертью поведал, кто и зачем похитил Агарь, и даже смог описать зловещего Путко, который самолично прибыл после раскраивания черепа в дом, чтобы самолично же запихнуть рыдающую Агарь в свою машину. Бузаканов поклялся отомстить, достал денег до билета в столицу и прибыл туда раньше Путко, его людей и страдающей Агари.

Бузаканов не был наивен. Но верил в нечто — так благотворно на нем сказало влияние милой Агари, — что даже самого прожженного пройдоху-подлеца может вернуть в человеческое состояние. Он не знал, что ему делать, но другого пути, кроме как отправиться прямо к Дубоделову, не нашел.

Пускать не то что в дом, а даже на участок возле дома Бузаканова не хотели. Дубоделовские охранники, бывшие свирепее самой свирепой овчарки, видя бузакановскую настойчивость и пользуясь своим численным превосходством, начали Бузаканова нещадно избивать. Он почти не сопротивлялся. Весь мир померк для него, он уже ни на что не надеялся. Но, на счастье Бузаканова, к воротам, возле

которых и происходило избивание, услыша шум и сопение, подошел тот, кто после смерти Бузаканова-старшего по решению Дубоделова занял его место, подошел и узнал в избиваемом племянника убитого милицейским специальным отрядом предшественника.

— Стоять, козлы! — закричал на охранников этот человек, Бузаканова-старшего очень любивший. — Стоять, суки!

Услышав окрик, козлы и суки перестали избивать Бузаканова, передали его в руки подошедшего, который отвел несчастного в дом, выслушал о всех его злоключениях, почистил немного от пыли и грязи, а потом, по настоятельной просьбе Бузаканова, провел через покой и доставил к сидевшему в огромной мраморной ванне с какими-то курвами Дубоделову.

— Что такое? — увидев входивших, спросил Дубоделов, оставляя в покое сосок одной из курв, который он уже долгое время в задумчивости мусолил своими толстыми пальцами.

Достигший цели Бузаканов упал на колени и вкратце поведал Дубоделову те невзгоды, что обрушились на его голову за последнее время. И приведший Бузаканова, и Дубоделов, и даже курвы были растроганы. Одна из них заплакала в голос, а Дубоделов, против обыкновения, даже не ударил ее. Он потребовал одеваться, он обещал рассудить все по совести, но из-за двери раздались голоса: прибыл Путко, гордый своей добычей и жаждущий предстать перед Дубоделовым победителем. Когда о Путко доложили Дубоделову, тот приказал Бузаканову спрятаться за занавеской. Путко, толкая перед собой несчастную Агарь, вошел в помещение и, брызжа слюной, распыряемый тщеславием, начал восхвалять свои достижения.

Дубоделов слушал Путко не перебивая. Когда тот закончил, Дубоделов поднял на него тяжелый, суровый взгляд и сказал примерно следующее:

— Ты что же, бля? Я тебя зачем послал? Я тебя послал делать дело, расширять его, углублять. Я послал тебя внедряться и подкупать, прибирать к рукам и устранять моих противников. А ты? А ты, бля? Ты, бля, что наделал? Ты зачем, бля? А?!

Путко побледнел, посинел, покраснел, пукнул, потянул носом, пустил слезу. Он начал понимать, что где-то недоработал или переборщил, но еще хранил надежду, что гроза пройдет стороной.

— Я... — замямлил Путко. — Я... Хотел... Мне... Там... Вот...

Дубоделов поднялся во весь свой огромный рост из ванны. Его волосатое тело напряглось. Он протянул руку к человеку, ныне занимающему должность Бузаканова-старшего, и тот вложил в его руку большой черный пистолет.

— О... — заныл Путко. — О...

— Выйди! — скомандовал Дубоделов, и из-за занавески вышел Бузаканов.

Увидев Бузаканова, Путко пукнул еще раз, лицо его стало медленно сереть, а стоявшие возле, зажав носы, отошли: Путко не совладал со сфинктером.

— Милый! — закричала Агарь при виде возлюбленного. — Милый!

— Возьми, — протянул Дубоделов пистолет Бузаканову и кивнул на Путко: — Он твой...

Бузаканов взял пистолет, подошел к Путко и приставил дуло ему к виску. Было слышно, как с тела Дубоделова стекают последние капли душистой воды. Было слышно, как далеко у ворот избивавшие Бузаканова с печалью обсуждают свой проступок. Было слышно, как бьется нежное сердечко Агари.

— Что ж, — сказал обретший мужество Путко, — если ты такой же, как я, то стреляй.

— Не могу... — Бузаканов опустил пистолет. — Не могу...

Дубоделов кивнул человеку, ныне занимавшему пост Бузаканова-старшего, тот забрал пистолет и выстрелил в Путко, да так ловко, так мастерски, что тот умер не только очень быстро, но даже ни капли его черной крови не пролилось на белый мраморный пол.

Когда то, что раньше было злым Путко, вынесли вон, Дубоделов внимательно посмотрел на Агарь и спросил:

— Ты не дочь ли моего старого друга и товарища Носихина?

— Да, — ответила Агарь, гордо держа прелестную свою голову, — я его дочь и у твоих врагов содержалась заложницей. А теперь я люблю его! — и указала тонким пальчиком на Бузаканова.

— Эх, дети, дети, — сказал Дубоделов, жестом удаляя курв и накидывая на плечи поданный массажистом халат.

— Вот эти еще, — сказала Агарь, доставая из-за лифчика шаржи на гостивших у нее и Бузаканова людей. — Вот эти еще...

— А, понятно, — кивнул Дубоделов, рассматривая шаржи. — Этих мы найдем. Идите, дети, мне сейчас надо побыть одному, а встретимся за ужином.

Все потянулись к выходу.

— Стойте! — вдруг сказал Дубоделов.

Все остановились.

— Зовись лучше Бузаканов-младший, — сказал Дубоделов Бузаканову. — Зовись так всегда. Это будет напоминать нам о твоём дяде... — и смахнул большую и мутную слезу.

Растроганные, все вышли.

За дверьми ванной Агарь и Бузаканов-младший («Младик!» — так теперь звала любимого Агарь) слились в поцелуе, потом они привели себя в порядок, переоделись, отдохнули и поужинали вместе с Дубоделовым.

Сыграли свадьбу. Как все веселились! Дубоделов чувствовал, что вот-вот избавится от тоски, что и произошло: станцевав пару медленных танцев с женщиной, Дубоделов обрел свое человеческое счастье. А подлинным сюрпризом было появление на свадьбе отца невесты, друга Дубоделова, Носихина, которого, ввиду отсутствия состава преступления, за пятнадцать миллионов освободили из следственного изолятора.

Когда же через некоторое время Дубоделов легализовался, ему потребовался человек для руководства всей его огромной империей. Недолго колебался Дубоделов и, зная, что соратники его поддержат, таким человеком назначил Бузаканова-младшего, который души в своей красавице жене не чаял, а к советам ее всенепреренно прислушивался. Так и текла их жизнь.

Падение в воду

Позавтракать я толком не сумел: только жидкий чай да обкусанное еще вчера вечером дочкой яблоко, кислое, покоричневевшее. Все в холодильнике — пакеты, свертки, банки с чем-то мутным — выглядело несъедобным, а пахло оттуда почему-то озоном. В чай я положил две с верхом ложки сахара, сгрыз яблоко, выпил чай залпом; ковыряя спичкой в зубах, вышел с кухни в коридор, толкнул дверь в нашу с Шурой комнату. Шура, укутавшись в одеяло, сидела на кровати, рассматривала ноготь на большом пальце выпростанной из-под одеяла правой ноги, плечом прижимала к уху телефонную трубку и кивала в такт чьим-то словам. Я закрыл за собой дверь, подошел к прикроватной тумбочке, взял с нее часы.

— Между прочим, двадцать две десятого, — сказал я Шуре и застегнул ремешок. — Она просила быть к десяти...

— Хорошо, — сказала Шура в трубку, пристроила трубку на аппарате, сквозь упавшие на глаза волосы посмотрела на меня.

— Еще не выловили... — она повела плечами, и одеяло раскрылось.

На Шуриной груди были маленькие красные пятнышки. «Следы от поцелуев? — подумал я, садясь в кресло и доставая из-под него носки. — Если от поцелуев, то не от моих. Или это крапивница? — Носки разминались с трудом и плохо налезали на ноги. — У нее как-то была крапивница. Или крапивница только летом? Сейчас, кстати, осень...» Ребра у Шуры обрисовывались четко, тонкие складки живота набегали одна на другую. «Интересно, когда она вчера пришла? — подумал я. — После двух, наверное, я заснул где-то в полвторого...»

— Ну так что? — я тяжело вздохнул. — Не едем?

— Едем! Почему не едем? — Шура отбросила волосы со лба, откинулась на подушки, быстро раздвинула ноги, но, заметив мой взгляд, тут же накрылась одеялом. — Она просила ехать...

— Хорошо, — кивнул я, поднялся, шагнул к шкафу, открыл створку, выудил брюки и начал в них влезать. — Я уже готов. Одевайся...

— Надень джинсы, — потягиваясь, сказала Шура. — И еще что-нибудь попроще. Вдруг там придется...

— Что?— спросил я.

— Ну, не знаю! Мало ли что!

Я стянул с себя наполовину надетые брюки, достал из шкафа джинсы, майку, свитер с заплатами на локтях. Судя по звукам за моей спиной, Шура встала с кровати.

— И ваты. Одеколон. Вдруг запах? И нашатырный спирт, — сказала она.

— У нас нет нашатыря, — сказал я и обернулся. Без одежды Шура казалась маленького роста. На коленях у нее были ссадины. Она повернулась ко мне спиной, нагнулась, вытащила из-под подушки ночную рубашку. От Шуры очень прямо пахло телом, на спине отпечатался рисунок скомканных простыней. «А ягодицы какие-то малиновые, — подумал я, надевая джинсы, майку, свитер. — Ей кто-то дал вчера леща. Определенно дал...»

— Я надену летнюю куртку, — сказал я. — Думаю, не замерзну...

— Надень лыжную, — Шура набросила ночную рубашку на спину, глядя прямо перед собой, в стену, на ощупь отыскала тапочки, пошла к двери. — Замерзнешь. Там обязательно будет ветер, холодный ветер...

Я вышел вслед за ней. За дверью дочкиной комнаты была тишина. В большой комнате хрипло тикали часы.

— Иди заводи, — от дверей туалета сказала Шура. — Я буду через пять минут...

На улице было тепло и безветренно, машина завелась легко, я дал ей помолотить пару минут, заглушил, расстегнул куртку, вытащил из внутреннего кармана мятую, лежавшую там еще с прошлой зимы пачку «Кэмела» без фильтра, закурил. Первая затяжка показалась сладкой, вторая чуть опьянила, от третьей в затылке стало жарко, под сердцем закололо. Одной рукой я потушил сигарету, другой — опустил стекло и глотнул свежего воздуха.

Шура выскочила из подъезда в наброшенном на плечи плаще, в старых, растоптанных кроссовках с распушенными шнурками. Лицо Шуры пылало, глаза были какими-то выцветшими: подобное означало, что только что Шура с кем-то круто поговорила, что недавний ее собеседник от гнева ускользнул и сейчас гнев выплеснется на меня.

— Вылезай! Запирай! Поднимайся завтракать! — прокричала Шура в опущенное окошко, резко развернулась и пошла обратно к подъезду.

— Выловили! Не того! Сейчас ловят дальше, — прокричала Шура от дверей подъезда.

Дверь с грохотом захлопнулась. «Секунд через сорок она уже будет смотреть на меня сверху, из кухонного окна», — подумал я о Шуре, завел, пару раз газанул, воткнул скорость, отъехал от дома.

Почему я так поступил? Не знаю. Может быть, мне хотелось немного покататься, а потом заехать за Шурой? Возможно. Может быть, мне хотелось сразу отправиться на место, позвонить по пути, где-то ее перехватить? Возможно. А может быть, я не хотел ни ехать на место, ни встречаться с Шурой? Возможно и это. Как бы то ни было, я медленно поехал по улице, не спеша закурил новую сигарету, включил приемник, нашел хорошую станцию и увидел стоявшую у края тротуара лапульку в ярко-розовых лосинах: это была соседка по подъезду, с седьмого этажа. Она ловила машину, я остановился.

— К «Войковской», — хрипло сказала она, открыв дверцу.

— Доброе утро, — сказал я.

— К «Войковской», — повторила она: лапулька брала машину, я, по ее мнению, бомбил, здороваться со мной она считала ненужным или — глаза ее были заплавленными, на скуле красовался свежий синяк — меня не узнала.

— Три штуки, — сказала она.

— Садись, — я кивнул.

Она залезла в машину, захлопнула дверцу, сама, без напоминания, пристегнулась ремнем. Я включил мигалку, отъехал от тротуара. В машине густо пахло вином, хорошими духами.

— Мне надо побыстрей, — глядя прямо перед собой, сказала она.

— Мне тоже, — почувствовав, что очень хочу в туалет, ответил я. Широкая улица нырнула в туннель, взлетела на путепровод, рассекла один квартал, второй, третий, влилась в проспект, проспект кончился набережной. Вода в реке была маслянистой, тяжелой, по поверхности плавали какие-то серые островки.

- Уже лед? — удивленно произнес я вслух.
- Мусор, — откликнулась лапулька и, кажется, впервые посмотрела на меня.
- Вы живете на пятом? — спросила она.

Я кивнул.

- У вас дочка? — спросила она.

— Дочка, — ответил я. — И жена. И теща первой жены, бабушка дочки.

- У! — сказала она.

— Теща уехала в гости, — сказал я.

- Да? — она потрогала скулу.

— В Париж, — я посмотрел на нее.

— А... — она чуть наклонилась вперед, подтянула колени и обхватила их руками.

- У нее там сестра, — проговорил я и понял, что меня вот-вот разорвет.

— Это хорошо... — лапулька сморщилась, а потом улыбнулась. — Извини, но так хочется в туалет, — виновато сказала она.

Я свернул с набережной, увидел впереди указатель улицы, на которой жил Зазвонов, резко повернул и остановился возле зазвоновского дома.

- Пошли, — быстро сказал я, глуша мотор.

Дверь зазвоновской квартиры открыло нечто в халате с капюшоном, в кудрях, нечто большое, грудастое, испускающее запах мыла, зубной пасты.

— Вам кого? — спросило нечто певуче, но ответа дожидаться не стало, развернулось, пошло в глубь квартиры, потерялось в сумраке зашторенных комнат.

Я взял лапульку за худое плечо, переступив порог и толкнув ногой входную дверь, протаскивал лапульку за собой несколько метров по коридору, открыл дверь туалета, запустил ее вовнутрь. Расположение комнат напоминало зазвоновскую квартиру, туалет и ванная были на знакомом месте, но меня не покидало ощущение, что я зашел не туда. В квартире стояла полнейшая тишина. Из-за двери туалета что-то еле слышно шипело, булькало, хрустело. Потом раздался шум спускаемой воды.

— Так вам кого? — раздалось за моей спиной, и я резко обернулся: нечто стояло у входной двери и навешивало толстую, тускло блестящую цепочку.

- Павел дома? — хрипло спросил я.

— Спит... — нечто прошло мимо меня, открыло дверь в комнату, и я увидел огромную кровать, на ней — что-то запеленутое в одеяло. Вроде бы под одеялом угадывался зазвоновский живот, его огромная задница. Вроде бы это был спящий на боку Зазвонов.

- Спи-и-ит... — как бы разочарованно протянул я.

— Да, — сказала нечто, прилегло на кровать и бочком приткнулось к зазвоновскому животу. — Поздно лег. Вернее — рано. В шесть утра. Работал всю ночь. Он много работает. Вы к нему по работе?

— Да, — кивнул я. — То есть нет. Нет. Я просто так. Ехал мимо. Мы давно не виделись. Очень давно.

- Похоже, — согласилось нечто. — Я вот вас не знаю. Вас как зовут?

— Костя, — ответил я. — Константин. Я его старый друг.

- Да? Он мне про вас не рассказывал.

— Не рассказывал? Странно... — я нетерпеливо оглянулся на дверь туалета. — Очень странно...

— Он мне рассказывал... рассказывает про все. И про всех. Верно, а? — нечто толкнуло запеленутого кулаком, но запеленутый никак не откликнулся. — У него нет от меня секретов. Я знаю про каждый его шаг, про каждую женщину, с которой он перекинется хоть одним словом, про каждого мужчину, с которым он обменяется рукопожатием.

Нечто помолчало, потом достало из кармана халата сигареты, закурило, вместе с дымом громко выдохнуло:

- Я очень ревнива!

Ее признание настигло меня, когда я уже держался за ручку двери туалета: лапулька этакой птичкой выпорхнула оттуда: сверкая лосинами, залетела в ванную.

- Извините... — сказал я, закрыл за собой дверь, накинул крючок.

Теперь, в туалете, я понял, что квартирой не ошибся, что запеленутое одеялом тело на кровати действительно Зазвонов. Зазвоновский туалет был туалетом туалетов. От двери до унитаза надо было сделать несколько шагов, его потолок был выше

потолков в квартире, на туалетную антресоль вела спущенная с антресоли веревочная лестница с деревянными ступенями, стены были сплошь заклеены плакатами, а на двери Фрэнк Заппа, пригорюнившись, выставив эспаньолку, сидел на своем вырастающем из кучи разломанных дисков унитазе. Его печальный взгляд сверлил мне спину, пока я долго мочился в унитаз зазвонковский. Потом я спустил воду, опустил круг, развернулся, сел, принял позу Заппы, посмотрел ему в глаза. Мне показалось, что Заппа мне подмигнул, и я подмигнул ему в ответ. На антресоли что-то похрустывало. Я вспомнил, как однажды, во время очередной пьянки у Зазвонова, туда забрался, как подглядывал за всеми входившими в туалет мутным взором, как посыпал их сверху хранившимся на антресоли стиральным порошком, засмеялся и закрыл глаза. Надо было позвонить Шуре. Надо было узнать, что и как. Но звонить, узнавать не хотелось. Она слишком мною командовала. Позвони я, она бы начала кричать — куда я подевался, что я себе думаю, когда это кончится, почему я ее не уважаю. «А за что ее уважать?» — вдруг подумал я, открыл глаза и увидел, что на прикрепленном возле рулона туалетной бумаги блокноте Шуриной рукой записано: «Утонул Юра» — и проставлено вчерашнее число. «Так-так, — подумал я, — значит, леща ей дал мой Павлик!» — поднялся, застегнулся, вышел из туалета.

Нечто в халате по-прежнему лежало возле запеленутого в одеяло Зазвонова, а вот лапулька сидела на краешке кровати. При моем появлении обе повернулись ко мне.

— Что так долго? — спросила лапулька. — Мы думали, ты заснул...

— Да, — подтвердил я. — Заснул. Поехали?

— Поехали, — лапулька поднялась и потянулась. Попка ее заблестела еще больше, грудки остро выступили вперед.

— Павел! — позвал я. — Павел! Мы уезжаем!

— Он спит! — громким шепотом сказала нечто. — Он очень устал.

— А... — сказал я. — Ну, ладно. Тогда в другой раз...

— Что? — спросило нечто. — Что в другой раз?

— Ну, вообще, — ответил я. — Вообще...

Я снял цепочку, начал открывать замок.

— У вас очень милая жена, Костик, — донесся до меня голос из комнаты. — Мы с ней так мило поговорили...Вы ее больше не бейте, Константин. Это некрасиво. Так нельзя.

На улице светило солнце, с реки тянуло свежестью, сразу захотелось курить.

— Ты что? — закулив и открыв машину, спросил я у лапульки. — Сказала, что ты моя жена?

— Она не спрашивала, чья я жена, — ответила та, усаживаясь и хлопая дверцей. — Сразу начала меня спрашивать — хороший ли ты муж, добрый ли, ласковый ли?

Я выехал на Бульварное кольцо. Серолицый гаишник посмотрел мне вслед и что-то сказал в свою рацию.

— А ты? — спросил я.

— Ответила, что хороший, добрый, ласковый...

— А она? — я посмотрел на нее: эта сучонка улыбалась.

— Начала спрашивать, какой ты в постели. Начала говорить, что этот, как его...

— Павел, — подсказал я.

— Да, Павел... Что Павел полный валенок, что у него и стоит плохо, и кончает он быстро — и сразу спать...

— Как! — закричал я.. — Прямо при нем? Прямо вот так!

— Да он же спал. Спал как убитый.

— Господи! — сказал я. — Ну и?

— Я сказала, что у тебя стоит прекрасно, что... — она захохотала басом.

— Откуда ты знаешь, как у меня стоит? — я был готов остановиться и вышвырнуть ее вон.

— Значит, плохо стоит?

— Заткнись! — заорал я. — Тебе какое дело?

— Ну, не знаю... — обиженно протянула она. — Какое мне дело... Мало ли... А может, и есть мне дело... Откуда ты знаешь?

— Ну, ладно! — сказал я. — Может, тебе и есть дело, но мне сейчас не до этого... Я...

— Да ладно! — она откинула голову на подголовник. — Я так просто. Я шучу. Ты что, не понимаешь? Не обижайся!

— Не понимаю! — сказал я. — Я таких шуток не понимаю. Где тебе на «Войковской»?

— Мне не совсем на «Войковскую». Мне надо к «Байкалу». Кинотеатр. Знаешь?

— Знаю, — буркнул я.

— Ну вот... Там рядом пруд...

Я посмотрел на нее.

— Зачем тебе пруд? — спросил я.

Лицо ее, простое и смазливое, но словно со взятыми напрокат и навсегда присвоенными чужими, глубокомысленными складками возле губ, лицо ее стало серьезным, сосредоточенным. Она словно стала меньше, цвет ее лосин словно потускнел.

— Меня вызвали на опознание, — ответила она.

Я молчал.

— Мой друг пропал. Последний раз его видели там, возле пруда. Позавчера. Пьяным. Он с кем-то дрался. Мне позвонили из милиции, сказали, что в пруду плавает труп. Позвали. Вот еду...

Я затормозил, прижался к тротуару, остановился.

— Подожди, — бросил я ей, выскакивая из машины. — Мне надо позвонить...

Одна группа автоматов была отключена. Я побежал назад, свернул за угол. У одного автомата была очередь. Я побежал дальше, свернул еще за один угол, увидел свободный автомат, начал рыться по карманам и обнаружил, что у меня нет жетона. Я помчался обратно, попросил жетон у очереди, но на меня смотрели так, как будто я был прозрачен. Я вернулся к машине.

— Дай... — сказал я ей. — Дай...

Она дала мне жетон, я побежал к автомату, но очередь выстроилась и у него. Я начал доказывать, что был здесь первым, начал просить пропустить меня, начал ныть, что у меня неотложное дело. Меня не замечали. Все отворачивались. Тогда я растолкал очередь, встал первым, начал стучать жетоном по стеклу, выжил разговаривавшего, схватил трубку, начал набирать номер. Ответила дочка.

— Папа! — закричала она. — Папа! Мне страшно одной! Папа!

— Подожди, Олечка, подожди! Я скоро приеду. Не бойся! Ты давно одна?

— Что? — переспросила дочка.

— Я говорю, ты давно одна? Когда ушла мама?

— Какая мама? Папа! Приезжай скорей!

— Ну, Шура! Шура! Оля! Когда ушла Шура?

— Я не знаю! — дочка начала плакать в голос. — Я проснулась, а вас нет. Мне страшно! Папа! Папа!

Кто-то схватил меня за плечо. Я отмахнулся, попал кому-то в лицо.

— Оля! — кричал я. — Оля! Не плачь! Умойся, позавтракай. Я скоро приеду!

У меня отняли трубку, оттащили от автомата, я же продолжал кричать: «Оля! Оля!»

— Ну ты, говнюк! — сказал мне человек с мясистым лицом, в очках в тонкой металлической оправе. Второй, видимо его приятель, высоченный, с накрученным на горло красным шелковым шарфом, размахнулся. Я чуть присел, кулак высоченного просвистел над моей головой.

— Э, послушайте, — сказал я. — Послушайте!

— Я те послушаю! — мясистый сморщил нос, и росшие у него в носу волосы затопорщились. — Я тебе сейчас уши оборву!

Мне удалось освободиться от хватки мясистого, но обнаружилось, что меня держал еще и третий, очень интеллигентного вида пожилой человек в расстегнутом пальто, из-под которого виднелся пиджак с орденскими планками. Высоченный замахнулся еще раз, я вновь присел, кулак вновь просвистел над моей головой.

— Убью! — закричал пожилой, а мясистый очень профессионально, дорabатывая удар корпусом, резко выдыхая воздух, отчего у него из носа выскочила сопля, ударил меня в глаз. Правда, я успел немного среагировать, и удар пришелся по челюсти. Мир померк. Все стало легким. И в померкнувшем, в легком мире я куда-то полетел. Что-то возникало на моем пути, кто-то кричал. Я упал на асфальт и дальше покатился. Мне показалось, что катился я очень долго, но кто-то потряс меня за плечо, приподнял мою опущенную на грудь голову.

Я сидел, прислонившись к стене дома, где-то далеко-далеко был телефон-автомат и очередь к нему, передо мной на короточках сидела лапулька в лосинах, вытирала мне лицо мятым носовым платком и гладила по голове.

— Что случилось? — спросила она.

— Споткнулся... — с трудом ответил я, наклонился в сторону и выплюнул изо рта кровь.

— А.. — она помогла мне подняться. — Тогда пошли...

Возле машины стоял гаишник, который выдал мне квитанцию за стоянку в неположенном месте и который долго принюхивался к моему дыханию. Когда мы наконец сели в машину, отъехали, я повернулся к лапульке.

— Ну вот что! — сказал я.

— Что? — спросила она. — Что?

— Все! — сказал я. — Тихо!

В тишине мы и доехали до «Войковской», от «Войковской» — до «Байкала», свернули к пруду, развернулись, остановились, вышли из машины. Погода испортилась, дул ветер, солнце спряталось за тучами. Я застегнул куртку, закурил дрожащими пальцами сигарету.

— А ты куда? — спросила меня лапулька.

— Туда же, куда и ты, — ответил я.

— Как это? — не поняла она.

— Я тоже на опознание, — сказал я. — Пошли!

— Ты что, мент? — спросила она.

— Я живу с женщиной, муж которой позавчера якобы утонул в этом пруду. Нас позвали на опознание. То есть позвали его нынешнюю сожительницу, а она позвала нас, — начал объяснять я.

Мы прошли в высокие чутунные ворота, свернули налево, пошли к видневшейся впереди станции проката лодок.

— Зачем? — спросила она.

— Что зачем?

— Зачем позвала?

— Не знаю, — признался я. — Она позвонила сегодня рано утром, попросила приехать. Зачем — не знаю. Я его видел всего раза два...

— А ее ты знаешь?

— Да, конечно. Она моя бывшая жена.

— Мать Оли?

— Нет, та моя первая жена. Слушай, отстань. Я тебя довез, я...

Лапулька сунула руку в карман курточки и вытащила деньги.

— Бери, — сказала она. — Вот деньги. Бери...

Я взял деньги, положил в карман, и мы пошли дальше.

— С тебя две тысячи, — сказала она метров через пять.

— Что? — не понял я.

— Я тебе дала пять тысяч, а договаривались мы на три. С тебя две тысячи.

— У меня нет сдачи, — сказал я. — Потом отдам.

— Нет уж, — она остановилась. — Ты сейчас отдай.

Лицо ее было злым, чужие, взятые напрокат морщинки растягивали ее пухлый рот.

— Хорошо, — сказал я. — Ты будешь мне должна. Забери... — и отдал ей ее пять тысяч.

Она положила деньги в карман курточки и быстро пошла вперед.

— Эй, подожди! — крикнул я, но она не обернулась.

«Черт! — подумал я. — Как мне все надоело! Чем я ее обидел? Что она на меня взелась? Не хватает только встретить Шуру, не хватает только, чтобы Лиза тоже устроила мне сцену!»

Я пошел вслед за лапулькой, чьи лосины мелькали между куч желтых листьев. Ветер дул нам в спину, пронизывал до костей, вдруг стихал, а потом отвешивал подзатыльник, подлетал к кучам листьев, подхватывал листья из одной кучи и переносил в другую. У выхода на мостки станции проката стоял замерзший милиционер в плаще, в дальнем конце мостков, на носилках, накрытое какой-то мешковиной, лежало чье-то тело. Лапульку милиционер пропустил, а мне преградил дорогу.

— Куда? — с трудом разлепляя губы, спросил меня милиционер.

— Лодку взять, — ответил я. — Покататься...

— Я тебе щас покатаюсь! — милиционер равнодушно взял меня за воротник куртки.

— Костик! — услышал я голос Лизы. — Костя!

Мы, милиционер и я, повернулись на голос: Лиза стояла возле дощатой стены будки с надписью «Касса», какой-то человек, с милицейским лицом, но в штатском, наливал ей что-то из термоса в пластиковый стакан, который Лиза держала в белой руке.

— Пропусти, Анютин, — сказал милиционер штатский милиционеру в форме, тот ослабил хватку, я шагнул по направлению к Лизе, воротник моей куртки выскользнул из пальцев Анютина.

— А где Шура? — спросила Лиза. — Почему ты один?

Я пожал плечами. Милиционер в штатском, плотно сведя кустистые брови, посмотрел на меня, наклонил термос, и в стакан полился жидкий чай.

— Разминулись, — сказал я.

Лиза была в шубе, в черных чулках, в туфлях на высоком каблуке. Ей было холодно, она жалась к стене будки.

— Что у тебя с лицом, Костя? — спросила Лиза.

— Упал, — ответил я, а милиционер в штатском понимающе хмыкнул и навинтил на термос крышечку.

Возле лежащего на носилках тела стояли какие-то люди, один из них приподнял мешковину, лапулька, присевшая перед носилками на корточки, отрицательно покачала головой.

— Ха! — сказал милиционер в штатском. — И не ее тоже!

— Ты представляешь, Костя, это не он. Это какой-то совершенно неизвестный человек. Откуда он взялся — непонятно!

— Утонул вчера. Или позавчера, — засунув термос в карман пальто, сказал милиционер в штатском. — Будем искать вашего. Будем искать...

Я посмотрел на пруд. По его поверхности медленно скользила лодка. В лодке стоял человек с багром, другой сидел на веслах, третий держал в руках тонкий канат, метрах в пяти от кормы лодки вода пузырилась: там работал аквалангист. Вот он вынырнул, приподнял маску, выплюнул загубник.

— Ну! — громко крикнул он.

— Ну! — ответили ему с лодки.

Аквалангист взял в рот загубник, натянул маску, нырнул.

— Найдем! — сказал милиционер в штатском.

— А ты уверена, что он утонул? — спросил я у Лизы. — Что он утонул в этом пруде?

— Последний раз его видели здесь, возле пруда. Позавчера. Пьяным. Он с кем-то дрался. Мне позвонили из милиции, сказали, что в пруду плавает труп. Позвали, — сказала Лиза. — Я пришла. Мы же живем вон в том доме, — она двинула рукой со стаканом, чай расплескался. — А его никак не найдут...

— Найдем! — повторил милиционер в штатском.

— Конечно, — улынулась ему Лиза. — Конечно... — И обратилась ко мне: — Не хочешь взглянуть?

— На что взглянуть?

— На тело...

— Нет... — сказал я, достал из кармана пузырек с одеколоном, клочок ваты, откупорил пузырек, намочил вату, протер ватой виски.

Милиционер в штатском наблюдал за моими действиями с понимающей улыбкой.

К нам подошла лапулька.

— Не он, — сказала она и посмотрела на стакан в руке Лизы. — Какой-то бомж... Мой приятель был прикинут, все было при нем...

— Найдем, — милиционер в штатском начал мне надоедать. — Найдем и вашего...

Лапулька передернула плечами.

— Да я вовсе и не хочу, чтобы моего приятеля выловили из вашего вонючего пруда, — сказала она. — Мне этого вовсе не надо...

— Да?.. — протянул милиционер в штатском, по-видимому обидевшийся на «вонючий». — Да?..

— Да! — выкрикнула лапулька, развернулась и пошла прочь.

— Эй! — крикнул я. — Эй! Подожди!

Она даже не обернулась.

— Ну, я пошел! — сказал я Лизе. — Ты позвони, если выловят. Если не выловят, тоже позвони...

— А как же... — она поперхнулась чаем. — А я думала, ты с Шурой, пообедаем...

— Да понимаешь, Оля одна дома. И Шура куда-то пропала. Мы с ней разминулись... — Я посмотрел на милиционера в штатском, который, забрав у Лизы стакан, быстро допил оставшийся чай. — Созвонимся...

Лапульку я догнал у самых ворот.

— Давай довезу, — предложил я.

— Давай, — согласилась она. — За две штуки...

— Брось! — сказал я. — Зачем ты так?

— А у меня больше нет, — сказала она, достала деньги и протянула мне. Я оттолкнул ее руку.

Мы подошли к машине, я отпер свою дверцу, открыл дверцу ей, она села, пристегнулась. Я завел двигатель, включил мигалку, отъехал.

— Вон твоя жена, — сказала она.

— Где? — я испуганно нажал на тормоз, потом — на газ, и мы чуть не въехали в идущий впереди грузовик.

— Вон, на остановке, — лапулька обернулась назад. — Стоит озирается. Пошла через дорогу. Идет к воротам...

Я объехал грузовик и ударил по газам. Всю дорогу до дома я гнал как бешеный. Я был так нагл, что лез на красный, поворачивал, где запрещено, обгонял, сигналил. Мне уступали дорогу, гаишники отворачивались, переходившие улицу жались к борвке тротуаров. Я летел. Я стремился. Я курил одну за одной. Лапулька поглядывала на меня и меня подбадривала.

— Вот этого обойди! — говорила она. — Вот этого козла. И этого.

Она смеялась и хлопала в ладоши. Таким я ей нравился.

Возле нашего подъезда я поставил машину на чужое место, вбежал в дом. Лапулька еле попевала за мной. Я открыл дверь своей квартиры, и на меня

опустилась тяжелая усталость. Дочка спала на полу в своей комнате среди разбросанных игрушек. Я взял ее на руки, перенес на диванчик. Она что-то проговорила во сне, на мгновение открыла глаза, отвернулась к стене, глубоко вздохнула. Я вышел из ее комнаты в коридор, прошел на кухню. Придавленный пепельницей, на столе лежал лист бумаги.

«Приходили из милиции, — было написано на нем Шуриной рукой. — Зазвонова задушили у него дома. Хотели поговорить с тобой. Я сказала, что ты уехал, и не знаю, когда вернешься. Они сказали, что твою машину видели возле его дома. Суп на плите. Почему меня не дождался? Дурак. Шура».

Возле правого плеча я ощутил чье-то дыхание и повернулся. Рядом со мной стояла лапулька и читала Шурину записку.

— Ну? — спросила она.

— Что «ну»? — спросил я.

Она посмотрела на меня. Я чуть наклонился и поцеловал ее. Она обвила мою шею руками, прижалась ко мне, ответила на поцелуй.

Лилли Промет

Мир, повисший на травинке

С эстонского.

Перевод Елены Печерской



В тот день

На груди младенцы.
Мадонны умоляли: воды!
Вагоны для скота
пропитались солью
их слез.
Удушающий июнь

сочился кровью.
Настал час,
когда солнце
закрылось завесой тьмы
и занавес храма
разорвался надвое.

Вольно!

Дай слову порезвиться
без ошейника,
побегать вволю
на воле.
Пусть побудет оно

нагим
и в позе неграциозной,
пусть даже рифмы
меж собою не поладят
и в мире жить не пожелают.

* * *

Не стоит приходить.
Не надо вспоминать,
что я еще жива,
подобно манускрипту,
в котором бережно хранится

живая трепетная частица,
и лишь во мне самой
сокрыты имена
моих и мною избранных
гостей.

* * *

Через черные набухшие тучи
улетают перелетные птицы,
и ландышей лоно восковое
собственных цветов уже не помнит.
Их плоды уже созреть успели:
маленькие красные слезы.

И пылает с хрустом и треском
огненное манто осени.
Под его поллой себя скрывает
страх остаться голым скелетом.

* * *

Ах, проклятая пора
зимней темноты!
Ничего найти
невозможно почти:
все вещи убегают прочь,
и куда-то девались очки.
Нет ножниц,
ниток,
нет иглы...
Обшарив все углы,
ты мечешься,
словно безголовая курица,
растерянная и злая жутко;
кажется, что еще минута —
и лишишься рассудка.
Роешься в ящиках и шкатулках,
распахиваешь дверцы...
Наконец, держась за сердце,
садишься,
чтобы перевести дыхание.
Вздохнешь и всхлипнешь осторожно:
жить так нельзя!
Жить просто невозможно,
когда вокруг все — криво-косо...
В тумане слез
очки снимаешь с носа.

* * *

Этот мир,
повисший на травинке, —
вот он,
вид из моего окна.
Вся огромная
страждущая земля —
единственный вид
из моего окна.

Ты молчишь,
словно церковный колокол,
только ходишь
и собираешь камни:
большие,
и еще больше,
и, наконец,
больше этих —
для своей внутренней крепости.

Ежи Журе́к

Казанова

Роман

С польского.

Перевод К. Старосельской



Чудеса

Итак: да. Что ж, пожалуйста, с удовольствием, это большая честь. И вместе с тем: нет. Только не завтра. Спешка — враг настоящего искусства; недопустимо, больше того, оскорбительно выносить на суд его величества то, что требует еще нескольких дней, если не целой недели подготовки, да и средств, прямо скажем, немалых. Надо одеть мальчика, позаботиться о реквизите, об имитирующем настоящую сцену небольшом помосте с занавесом. Чудеса не терпят небрежности, верно?

Казанова выдержал наглый взгляд королевского посыльного, но своего добился. Пять дней и пятьдесят дукатов. Могло быть лучше, хотя бывало и хуже. Нарядил Иеремию в шелковый облегающий кафтан, но остался недоволен его видом. Неожиданно толстые ляжки мальчика и еще более неожиданная выпуклая мужская принадлежность отвлекали внимание от одухотворенного лица и юношески стройного торса. Ну и чучело этот Иеремия. Какой там таинственный маг, неземное существо, — в лучшем случае батрак в кафтане с барского плеча. Нет, его надо одеть на восточный манер: пышные шаровары, тюрбан со сверкающим камнем. Да, так будет хорошо.

Однако ничего хорошего не было. Как будто все шло гладко: сосредоточившись — на это уходило несколько мгновений, с каждым днем все более кратких, — Иеремия брал один из лежащих на столе предметов — гребень, сигару, табакерку, — который через минуту повисал меж растопыренных пальцев. Но при этом мальчик страшно потел и сопел, будто силы, позволившие ему сотворить чудо, в отместку безжалостно его терзали. В таком зрелище не было ничего сверхъестественного. Никакой загадки, никакой мистики. Чудо должно быть чудом, а не пыхтящим, взмокшим от пота деревенским мальчишкой.

Прежде всего — не гребень, не сигара, не табакерка. Предметы должны быть крупными и хорошо видимыми издалека. Серебряный подсвечник, золотое блюдо, кувшин для воды. Но если кувшин, то почему бы не чайник? Справится? Жилы на висках Иеремии набухли, пузатый сосуд дрогнул, словно намереваясь упасть, но, когда мальчик приблизил к нему ладони, замер и несколько секунд провисел в воздухе без участия какой-либо видимой силы. Отлично. Такого не заметить нельзя. Даже из дальнего конца зала, даже из-за спины соседа.

Далее: коли уж начнется движение, пусть оно будет как можно более интенсивным. Тяжелый чайник, пока его не остановят сближающиеся руки, падает медленно, ну а если взять какую-нибудь невесомую вещьцу, чтоб взлетела к рукам снизу? Боже, букет засушенных цветов вспорхнул на высоту головы Иеремии. Часы — с трудом, неспешно, как и отмеряемое ими время, — ползли кверху, но вдруг, качнувшись, упали в подставленную ладонь Казановы. У мальчика иссякли силы? Видно, как он устал, но пусть чуть-чуть потерпит. Еще одна попытка. Сигара. Зажженная сигара со сверкающим кончиком и тоненькой струйкой дыма. Даже в темноте будет видно.

Хорошо. Это уже кое-что. Он прикажет специально убавить пламя свечей. Серебряный крестик с Христом? Отлично, великолепно. По щекам Иеремии потекли слезы, но крестик преспокойно висел в воздухе. Вепе!* Это будет финал, мистическое завершение вечера. Только крест должен быть посolidнее. Лучше всего золотой, усыпанный бриллиантами. Взять у кого-нибудь на пару дней. Здесь это не составит труда.

Джакомо хвалил Иеремию, похлопывал по щеке, подстригал волосы, чтобы не вылезали из-под тюрбана, однако не мог избавиться от смутной тревоги. Неужели он сам ему не верит? Сам не знает, к тайне ли прикоснулся или поддался мистификации? Но какая же это мистификация! Разве он не видел собственными глазами пять, десять, двадцать раз, как застывают в воздухе между пальцами мальчика крупные и мелкие предметы?

Нет, этот мальчик — настоящее сокровище, бриллиант чистой воды. Однако, чтобы бриллиант засверкал и ослепил не только глупцов, но и маловеров, его нужно тщательно отшлифовать. И поместить в достойную оправу.

Вскоре он уже знал, в какую. Ночью ему приснилась Флоренция, потек на стене, под которым чудакватый попрошайка-философ посвящал его в тайны своего искусства. От волнения Джакомо даже присел на постели. Как его звали: Альберт, Альбрехт? Потянулся за бутылкой вина. В жизни все может пригодиться. Даже знакомство с флорентийским нищим, имени которого память не сохранила. Но все, чему тот его научил... о, это он помнит. Они обалдеют от изумления. Решено. Отхлебнув глоток, Казанова отставил бутылку. Он сам тоже покажет, на что способен. С утра надо быть в форме. Времени осталось немного. Два дня и всего одна ночь.

Щербатый художник, узнав, за чем пришел Джакомо, чуть не набросился на него с кулаками, но... раз таково распоряжение короля... Если необходимо — пожалуйста. Для его величества отдаст последнее. Крикнул девку, произнеся какое-то мягкое, незнакомое Казанове имя, когда же она вошла — растрепанная, с огромными, едва сдерживаемыми рубашкой грудями, — без единого слова указал ей на дверь.

Бинетти уговорить оказалось сложнее, однако и она вынуждена была согласиться. Осыпала его изощреннейшими проклятиями, но не рискнула — на это у нее хватило ума, — отказаться от возможности представить Лили ко двору. Еще пять дукатов за аренду зала и столько же — портному за платье.

Внутри помещение, правда, больше походило на амбар, чем на зал для репетиций, но горевать по этому поводу было некогда. Джакомо усадил всех перед собой, распределил роли. У Иеремии — одна задача, у него с девочками — другая. Очередность он установит в последний момент. Собственно, и им, и мальчику предстоит продемонстрировать одно и то же: торжество духа над материей, новые, на пограничье искусства и чуда, возможности человеческой природы. Сначала Иеремия. Выглядит усталым, каким-то отрешенным. Но костюм сидит хорошо, пускай только не горбится так, скрюченный, он похож не на всемогущего мага, а на испуганного школяра. Не понимает, что ему говорят? Ах да, он же не знает французского. Одна Лили... Неважно. Понадобится — поймут. Он сам им все покажет.

Василь ждал, взвалив на спину стул. Давай. С грохотом поставил стул посреди зала. Кстати, и этого силача надо использовать. Пусть ассистирует Иеремии, да, да. И лучше всего с Лили, должен ведь кто-то подавать мальчику реквизит. Невинность и порок, красotka и животное. Хорошо, это произведет впечатление. Джакомо тронул подружку тосканца за плечо:

— Тебя как зовут?

— Поля.

Боже, Поля, Полина... судьба — злая насмешница — наделила простецкую девку именем его лондонской возлюбленной. Но разве это не добрый знак? Легонько подтолкнул Полю к стулу. Пусть сядет. Села. Хорошо. Это и требовалось. Широко расставленные ноги, чуть не лопающаяся на задуюбка, рвущиеся из блузки груди... Никто не подумает, что ее будет легко сдвинуть с места. А уж тем более поднять двумя пальцами.

* Хорошо (итал.)

Джакомо объяснил девочкам, что им делать. Задача была нехитрая. Скрестить указательные пальцы, быстро приблизиться к сидящей на стуле Поле и — одним движением — вверх. Сара и Этель спереди подхватывают ее под колени, они с Лили — сзади под мышки. Сейчас попробуем, как получится. Ничего не получилось. Поля качнулась вперед, взбрыкнула ногами, но не приподнялась ни на йоту. Джакомо-то понимал почему, а его помощницы расстроились. Вене. Пусть сомневаются — тем тверже потом уверуют. Без труда убедил девочек — и так же впоследствии убедит королевских гостей, — что только чудо может поднять в воздух развалившуюся на стуле корову. И он, Казанова, им это чудо явит.

Изрядно помучившись, но все же кое-чего добившись, Джакомо отпустил помощников. Пусть хорошенько отдохнут перед завтрашним днем. Он еще немного поработает. Вместе — он остановил ее на пороге — с Полей.

Никогда раньше он такого не делал, хотя знал, что это возможно. Флорентийский бродяга, который в грязной харчевне на берегу Арно демонстрировал ему — по пьяной прихоти или в надежде подзаработать — свои необыкновенные способности, к утру почти совсем отключился и мог только бормотать что-то невразумительное. Один раз и он попробовал — правда, неудачно. Но теперь он, Казанова, понятливый ученик, ощущает в себе достаточно сил, чтобы сделать то, чего раньше делать не рисковал. Сегодня для него нет ничего невозможного. И впрямь, если напряжением воли удастся удвоить физические силы и даже хрупкие барышни пальчиками поднимают кого угодно, то почему б и ему не попытаться подбросить в воздух, кого он захочет? Без посторонней помощи.

Поля неуверенно обернулась. И на ее грубоватом лице оставила след усталость. Чего ему еще нужно? На всякий случай поощряюще улыбнулась. Что эта корова себе вообразила? Известно что. Раз он бросил перед ней свой плащ, то конечно же для того, чтобы она на него плюхнулась, раздвинув ноги. Не знает, темная, что такое научный эксперимент. Сейчас узнает. Пусть только встанет на колени и расслабится.

Тогда он тоже стоял на коленях, ягодицами опираясь на пятки. Только под ногами было не тонкое сукно, а грязный прибрежный песок. Он был полуживой от усталости после затянувшейся на целую ночь пьянки, но бессвязное бормотание бродяги слушал с любопытством жадной до всего молодости. Эта мерзкая, хотя, видно, когда-то красивая физиономия, слова, половины которых он не понимал, и пальцы, способные заколдовать весь мир, несмотря на грязь под ногтями, одновременно отталкивали и притягивали. Ужасно хотелось спать, но разве не стоило пожертвовать сном, дабы приоткрыть последнюю завесу тайны? Сколько лет назад это было? Пятнадцать, двадцать? Больше. Ему еще и двадцати не исполнилось. Боже. Как давно.

Хорошо. Можно начинать. Три спокойных, но решительных шага, пускай она чуть-чуть приподымается, чтобы он мог просунуть пальцы ей под колени и затем одним движением — ни поясница не заболит, ни один сустав не хрустнет, — вверх. Но как же вверх, когда руки запутались в юбке и не могут попасть куда надо? Пускай немедленно это снимет. Быстрее, время не ждет. Сняла юбку, аккуратно положила рядом. Двадцать лет назад и он, подстегиваемый брюзгливым ворчанием, сбросил плащ и аккуратно положил на песок. Ну что?

В одной рубашке Поля выглядела более соблазнительной и податливой. Опустив голову, покорно открыв шею, ждала. Так и он тогда ждал.

Какой неожиданно нежный затылок, покрытый едва заметным пушком, каким от него веет теплом. Джакомо коснулся губами обнаженной кожи, пахнущей потом и дешевым серным мылом. Решительно навалился на ожадающее чужда тело, уперся грудью в спину, обхватил. Но только просунул пальцы под колени, как, не успев понять, что делает, сам упал на колени и забыл обо всем на свете. Он уже не вверх хотел подбросить лежащее под ним тело, а наоборот — вдавить в землю, просверлить насквозь. Рубашка слетела через голову. Девушка засопела, как тогда засопел он. Раздвинула колени, как он раздвинул. Дернулась, и он дернулся... может, это ошибка, недоразумение, разве так отрываются от земли? Да нет, не ошибка. Не ошиблись ни пальцы правой руки, ледяным ошейником сдавившие горло, ни пальцы левой, раскаленными щипцами раздвигающие ягодицы.

Странная, кисло-сладкая боль пронзила тело до самого позвоночника. Что с

ним? Теряет сознание? И она пискнула, поняв, куда он метит, но сразу умолкла, покорно дожидаясь результата его усилий. Что он тогда видел? Два раздутых собачьих трупов, покачивающихся на волне у берега. А она? Грязный пол — вот и все. Он вошел в нее медленно, легко. И сам удивился: откуда такая сила? А затем и пылкость. Он должен это сделать, должен, иначе ему не отмыться от грязи, не забыть издевательской ухмылки, зловонного дыхания, обжигающего затылок, и позже, после того, как все было кончено, смеха, гогота бродяги, не смолкнувшего, даже когда он столкнул его с обрыва прямо в мутные воды Арно, где такой падали место. И еще должен забыть внезапную судорогу отвращения и холодную дрожь, долго сотрясавшую тело, несмотря на плащ и поднимающееся над Флоренцией солнце. И страх, что случилось ужасное и непоправимое, что от объятий пьяного вепря, который на мгновение его околдовал, заморозил своими дьявольскими штучками, лицо превратится в звериную морду, выпадут зубы, протухнет дыхание, а пальцы украсятся грязными когтями. Он давно уже стер случившееся из памяти, но сейчас вдруг почувствовал, что необходимо выкорчевать даже крохи воспоминаний, что с девушкой надо обойтись так, как тот обошелся с ним. Причинив ей боль, забыть о своей боли. Иначе эта грязь останется в нем навсегда, займет мысли во время завтрашнего выступления, разрушит его карьеру при дворе. Он сделает это, даже если придется разорвать девку в клочья. Сейчас. Немедленно.

Колени под Полей разбегались, и она, как колода, рухнула на пол. Все вернулось на свои места. Он свободен. И очень устал. Растянулся на полу с ней рядом. Пусть и утомленный воин отдохнет. Пусть медленно опадает и успокаивается.

Чепуха. Все это чепуха. Никому он зла не причинил. И уж тем паче Поле. Не девственница, наверняка такое делала, и не раз. Да и та история в прошлом — чепуха. Видно, у него в голове помутилось — с чего бы иначе вспомнились обиды, нанесенные невесть когда. За что себя корить? Дурацкое приключение молодости... Потому, что с мужчиной? А что в этом особенного? В конце концов, лицо его в звериную морду не превратилось, зубы все свои, ногти ухоженные. Нет, он совсем сдурел. Будет теперь всякий раз приукрашивать банальную похоть жалостной сказочкой?

А того бродягу он ведь не убил, не утопил, встречал потом в толпе ему подобных, торгующих на паперти четками... Немного погода Джакомо поднялся. Как там она? Вдруг ей стало нехорошо? Поля лежала на боку, на том месте, где он ее оставил. Легонько посапывала — спала.

Ну уж нет, нет, нет. Как можно спать — работа ждет. И так, взлет — а не вязнущие в трясине ноги; рывок — а не унылое равнодушие. Раз, два, три. Последний вдох. Но «четыре» прозвучало уже не так решительно, а «пять» Джакомо и вовсе проглотил. Вдохновение пропало, едва он прикоснулся к Поле. Чуть уловимый запах пота и исходящее от нее тепло отбили желание противиться дурацким мыслям — они вновь вернулись. Зачем куда-то бежать? Вот его опора, последняя соломинка, начало и конец, мать и возлюбленная, утешительница павших духом, кормилица голодных, убежище для преследуемых. Это пышное тело в его руках.

Джакомо приподнял голову, чтобы увидеть, как все взлетит в воздух, как он и ее подбросит силой своего взрыва, как они воспарят к потолку, волоча за собой шлейф пыли и медленно оседающих опилок. И вдруг над ее волнующейся грудью, в рамке кустистой подмышки увидел безумные глаза Иеремии.

Надо крикнуть, чтобы он убирался, прорычать повелительно: «Вон! Как ты смеешь!», — но ничего этого Казанова сделать не смог. С губ сорвалось только нечленораздельное бормотанье, и все было кончено.

Казанова не разжимал объятий. Еще минутку. Он умрет, если шелохнется. Суметь бы хоть слово сказать Иеремии. Почему он стоит, не сводя с них глаз? Что поразило мальчика? Великолепное, классических пропорций тело, достойное резца древнегреческих скульпторов? Нет, скорее, вспотевшая, бесстыдно оттопыренная задница. Вон. А впрочем, пускай газеет. По крайней мере, чему-то научится. Он в его возрасте не довольствовался созерцанием. Интересно, откуда этот щенок здесь взялся? И что, собственно, видел?

— Ты давно здесь?

Иеремия невразумительно что-то пробормотал, теперь уже глядя в пол. Сухие травинки в волосах. Должно быть, спал за сценой. Неважно. Важно дожить до завтра. — Ладно. Отведешь Полю домой. Я еще задержусь.

Джакомо плохо помнил, как и когда оказался в своей постели. Точно так же он раньше затруднился бы сказать, зачем остался. Уж, наверное, не для того, чтобы в конце концов наткнуться на компанию подвыпивших гуляк в офицерских мундирах и, поддавшись их уговорам, отправиться в поход по каким-то грязным и шумным кабакам. Кому он не решился отказать — им или себе? Впрочем, неважно — погулял на славу. Хотел отдохнуть, а устал так, что едва дышит. Хотел освободиться от ненужных мыслей, а теперь голова тяжелая, как котел. Хотел напиться — пил, пил, но жажда только усиливалась. В него вселился какой-то демон противоречия. Он прекрасно знал, чего не надо делать, и именно это делал с большим удовольствием. Ставил кому ни попадя, орал на всех языках мира, рвался в драку и, главное, поглощал рюмку за рюмкой омерзительной водки, от одного запаха которой хотелось блевать, а от вкуса — умереть на месте. Проснулся посреди ночи, почувствовав, что сейчас произойдет и то и другое.

Скорее все же его разбудили: из глубины дома доносились какие-то звуки, кашель, что-то со стуком упало. Пожар? По крайней мере, воды будет вдоволь, а то сейчас — ни капли. Этот болван Василь, конечно, не позаботился. «Василь!» — закричал Джакомо что было сил, но... с губ не сорвалось ни звука. Господи, может быть, он уже на том свете?..

Пить. Все равно что, хоть воду из таза. Но и таза не видно. Ну и банда. Он подойдет от жажды, и ни один из этих дармоедов пальцем не шевельнет. А ведь они здесь, здесь, он слышит чей-то кашель. Медленно встал, открыл дверь в сени: где-то тут должно быть ведро с водой. Уже нащупал железную ручку и привязанную к ней кружку, как снова, отчетливо и близко, услышал звук, который раньше принял за кашель. Неужели он настолько пьян, так отупел, что не может отличить любовный стон от харканья чахоточного? И не узнать голоса, который совсем еще недавно сверлил ему уши. Поля? С Василем?

Кружка выпала из рук и плюхнулась в невидимую воду. Джакомо едва сдержался, чтобы не пнуть ведро ногой. Какое ему дело до этой ненасытной шлюхи? — его сейчас вообще ничто не должно интересовать. Обратно в постель — и спать, спать, исчезнуть из этого мира — вот единственное, что ему хочется сделать. И незамедлительно. Но сделал он совсем другое.

Внезапно сверкнула мысль: а что, если этот утомительный безумный день, изнуравший ум и тело, подготовил наступление единственной, самой важной минуты? Сейчас у него все получится, не может не получиться. Разве мир не соткан из противоречий, разве он, Джакомо Казанова, не был сегодня унижен и не унижался сам ради того, чтобы наконец воспарить? И чем ниже пал, тем выше вознесется. Еще несколько минут, еще только собраться с мыслями, напрячь все мышцы для последнего усилия, и он, вершок за вершком, оторвет сперва одну, потом другую стопу от каменного пола и повиснет в воздухе. А может быть, и взлетит, вспорхнет, как птица...

Джакомо попробовал оторваться от пола, но пол приподнялся вместе с ним. Это еще что? Злобная выходка материи, защищающей свои права? Сто тысяч храпящих чертей! Он плевал на эти права, нужно только повыше подпрыгнуть, земля сама уйдет из-под ног. Подпрыгнул, повис на секунду в воздухе, но, не успев обрадоваться, снова почувствовал под ступнями каменную твердь. Ах так? Что ж, сделаем по-другому. Нащупал у стены продолговатый предмет. Скамейка. Взорбался на расшатанную доску, выпрямился, раскинул руки. Он орел, орел, расправляющий крылья над пропастью, в которую сейчас бросится лишь затем, чтобы ее покорить.

Прыгнул. Со стуком бухнулся на колени. Схватился за что-то, хотел подтянуться, чтобы окончательно не упасть, но стена вдруг куда-то отъехала, и, еще не поняв, что происходит, цепляясь за ручку, он вместе с дверью влетел в небольшую комнату. Там было светлее, чем в коридоре, да и глаза уже привыкли к темноте. Поля. Пышное Полино тело и... Иеремия, разрази его гром! Ну и ну, смекалистый оказался ученик.

Джакомо тихонько попятился, закрыл дверь. Опять его мучила жажда и кружилась голова. Взорваться от ярости помешало лишь сознание, что, как-никак, немного он полетал.

В комнате был пронизывающий холод, но сейчас Казанове это уже не мешало. Он прижался пылающим лбом к оконному стеклу. Нужно успокоиться, привести нервы в порядок. Сегодня надо быть сильным, как никогда. Ведь ничего особенного не случилось. Иеремия? Сопляк впервые в жизни переспал с женщиной — да это же повод для веселья, а не для скандала. Казанова решительно закрыл окно. Печь, проклятая печь, которая чадит, но не греет? Это, конечно, неприятно. Но не настолько же, чтобы лезть на стенку. Любые неполадки исправимы, а тут всего-навсего дурацкая печка. Сейчас Василь приведет печника, и все будет в порядке. Впрочем, зачем ему какой-то грязный мастеровой, он и сам справится. Велика штука печь! Надо только проверить, не забился ли дымоход.

Ощувив внезапный прилив энергии, Казанова приступил к делу. Открыл массивную печную дверцу, заглянул внутрь, засунул глубоко руку. Может, вороны летом свили в трубе гнездо? Падающий на остывший очаг свет слишком слаб, ничего не разглядишь. И руками не нащупаешь, поэтому Джакомо, присев на корточки, нагнулся и влез в печь по самые плечи. Мало. Протиснулся глубже. Чуть ли не по пояс забрался в темный дымоход. От гари засвербело в горле. Ну и что? Ничего. Немного он так увидит. Да и расхотелось уже. Нет, он все-таки спятил. Голова кружится от этой вони. Черт бы побрал и печку, и того, кто ее поставил. А дурака, который в нее залез, пускай немедленно вытащат и оставят в покое. Вот и в комнату кто-то вошел, наверно, Василь привел печника.

Джакомо высоводил плечи, но голову вытащить не успел. Чьи-то лапы придержали его, крепко ухватив под мышки. Он почувствовал мерзкий запах дешевых сигар и услышал не то сопенье, не то хихиканье. Это не были Василь с печником. В комнате находилось по меньшей мере три человека. Двое пригвоздили его к печи, третий хихикал в дальнем углу. Джакомо завопил, рванулся, что было мочи. Безрезультатно. Взметнувшаяся со дна очага зола забила рот, а плечи, точно клещами зажатые чьими-то руками, чуть не вылетели из суставов. Он в западне. Его зарежут, как свинью. Все пропало. О Господи! Это конец. Конец Джакомо Джованни Казанове, дураку, добровольно сунувшему голову в петлю. Но если эти скоты надеются поживиться, их ждет горькое разочарование.

— Чего ты там ищешь?

Не в живот, не под лопатку — кто-то вбил гвоздь прямо в череп. Ему знаком этот голос, и смех этот он уже не раз слышал. Где, когда? Не знает, ничего он не знает.

— А может, спрятаться от нас захотел? А?

Куп. Капитан Куп. Это зловещее «а?» ему не забыть до смерти. До смерти? Ох, они не грабить пришли! Гораздо хуже. Убивать? Прямо так, сразу? Нет, это не в их правилах. Сперва его вздернут на дыбу, привяжут к лошадям, сдерут шкуру.

— Зря ты туда пошел. У нас здесь свои задачи, и никому до них нет дела, понял? Даже самому сатане.

Сам ты сатана вонючий. И место твое в аду, злобно подумал Джакомо. Опять рванулся.

— Спокойно, мы тоже можем рассердиться.

Кто-то приставил носок башмака к бедру. Сейчас лягнет, и он сломает челюсть о железную решетку. Раз нельзя их убить, лучше не сопротивляться.

— Чего сегодня собираешься делать при дворе? Штучки свои показывать?

Раз, два, три... досчитает до пятнадцати и сомлеет. Но — не выдержал.

— Это искусство, подлинное искусство, — прохрипел, даваясь бешенством и сажей. Даже посланцам ада он не позволит считать себя шарлатаном.

— Ладно, ладно. Нам все едино. Только не забудь, зачем ты здесь и кому обещал служить. А уж мы вечером подошлем тебе парочку крепких ребят; не то что Телка, слона одним пальцем подымут.

Нет, нет и еще раз нет. Кретины, не будет он им служить, даже под страхом смерти.

— Н-н-н-е-е-е-т!

Пронзительный вопль истерзанного тела и смятенной души, оставив смоляной след на стенке печи, устремился в трубу и, наткнувшись на невидимое препятствие, ввинтился обратно в глотку, просверлил желудок, набрался сил в извивах кишок и вырвался наружу выстрелом, громким и смрадным.

Что было дальше, Джакомо не помнил. Что-то мягкое плюхнулось ему на голову, и сознание померкло окончательно. Очнулся он на полу перед печью. В одиночестве. Схватился за голову — цела? Цела. Только горела от боли левая ягодица. Когда-нибудь он за это оплатит Куцу, за все ему оплатит.

Попытавшись встать, Казанова задел рукой какой-то комок, рассыпавшийся в пальцах. Это еще что? Кучка полусгоревших листов. Оглянулся: из дымохода торчал еще один комок. Вот что на него упало, вот чем была забита труба. Загадка решена. Василь, идиот, пихал в печь целые горы бумаг. Минутку! Так и есть! Его почерк! Сейчас...

«Тюремщик... сажают на табурет, спиной к этому ошейнику, в который входит половина шеи. Другую половину захлестывают шелковым шнуром, концы коего закреплены на колесе. Колеса крутят до тех пор, пока...» Боже, его записки из-под Свинцовой Крыши. Вот почему он в последние дни не мог их найти. А это?

«... рука моя достигла корсета — настоящей тюрьмы, скрывавшей два стесненных полушария...»

Убить подлеца! Шпагу ему в глотку по самую рукоятку! Злодеи вокруг, одни злодеи. Его рукописи, дело всей жизни — в печке. Мало убить — лично препроводить в ад! Разбойники! Сейчас он им покажет! Казанова схватил шпагу и, забыв, что от нее остался лишь обломок, кинулся на кухню.

Там он застал всех. И разгром, точно после землетрясения: посуда разбросана, стулья перевернуты, на полу растоптанные булки. Василь, побагровев от напряжения, пытался поставить на ножки огромный стол. Сара и Этель собирали булки в таз, а Иеремия, придерживаемый за ноги Полей, затыкал тряпками разбитое окно. В чем дело? Что они устроили? Пусть лучше помолятся, сейчас он каждого изрубит в котлету. Джакомо потряс зажатыми в кулаке обгоревшими листками. Кто это сделал? Кто? Кто хладнокровно его убил? Куда они провалились, когда он нуждался в помощи? Других печников не нашлось, а, Василь?

Он хоть понимает, что уничтожил? Книгу. Документ. Свидетельство эпохи. В пекле его за это мало поджарить, мрачную скотину! Еще мгновение, и Джакомо бы набросился на Василя, но вдруг заметил синяк у него под глазом, заплаканные мордашки девочек и разорванные штаны Иеремии. Видно, эти разбойники и здесь похозяйничали. Господи, с такими помощниками вечером весь эффект будет испорчен. Черт с ними, с рукописями; возможно, будь в них больше правды, лучше бы горели. Он напишет все заново, только бы вырваться из этой Польши. А сейчас не путать надо свою команду, а приводить в чувство. Иначе они расклеятся и его опозорят. Сегодня решающий день, сегодня такого допустить нельзя.

Полет

Столько приглашенных он не ожидал увидеть. Пестрая толпа прохаживалась, переговариваясь, в одной из парадных зал королевского замка. Кое-кого Джакомо знал, и это прибавляло бодрости. Но остальные-то зачем? Чтобы кашлем мешать сосредоточиться? Смешками нарушать высочайший транс, дурацкими перешептываньями возвращать его и его помощников на землю? Ну и что — тысяча чертей! — у него бывали и более знатные, и более многочисленные зрители, чем при этом, в конце концов провинциальном дворе, и все получалось. Только никогда прежде он в решающую минуту не ощущал петли на шее.

Похоже, здесь собрались все. Вот они. Катаи в пурпурном платье, окруженная воздыхателями, — подскоки, поклоны, гусиное вытягивание шей. Истинная королева... ада. С тревогой поглядывающая на него из-под пышного парика Бинетти. Лили, его очаровательная дочурка: она с ним, рядом; одета пастушкой, но похожа на ангелочка. А дьявол? Сидит вблизи пустого пока еще трона. Живовер с бульдожьей мордой, увешанный орденами, брезгливо выслушивающий доклад вытянувшегося во фронт офицера. Его сиятельство граф Репнин. Посол ее величества императрицы... грязной интриганки, вонючей ведьмы, свиньи в позолоченной шкуре.

О нет, нет, нет. Не надо об этом. Иначе он сгорит, не успев вспыхнуть. И они, стайка его помощников в фантастических нарядах, спрятавшаяся за занавесом маленькой сцены... незачем им на все это паяться — обалдеют, растеряются и провалятся при первой же попытке.

— Монсенёр, — обратился Джакомо к проходящему мимо епископу, чьи умные и острые замечания на обеде у короля ему запомнились, — я собираюсь начать так: «С милостивого соизволения его величества короля Польши, Великого Князя Литовского, Русского, Прусского, Мазовецкого, Жмудского, Киевского, Волынского, Подольского, Подляского, Инфляндского, Смоленского, Северского, Черо... Черниговского...

— Черниговского.

— Да, да. Черниговского. С милостивого соизволения имеем честь представить... Так будет хорошо?

Лицо епископа не выразило ни малейшего восхищения тем, как ловко Казанова выговаривает тарабарские названия. Красицкий, епископ Игнаций Красицкий, вспомнил он фамилию, вдобавок, кажется, не то поэт, не то музыкант.

— Король не любит высокопарности, господин Казанова. Но если вы считаете нужным...

Прекрасно. Дважды ему повторять не надо. Он и сам не так уж любит произносить цветистые речи, когда пропуск какого-либо из официальных титулов могут посчитать неуважением к его величеству, а перестановка непривычных для слуха букв грозит дипломатическим скандалом. И Джакомо, скромно отойдя в сторонку, стал дожидаться, пока появится немногочисленная королевская свита и король знаком повелит начинать.

Первым делом Казанова церемонно поклонился, преодолевая боль в ребрах, пересчитанных утром головорезами Куца. Это королю... Второй поклон, столь же изысканный, хотя и не такой глубокий, — князьям, графам, епископам, послам, генералам и всем прочим, кого ему предстоит завоевать. Боже, необходимо всех их околдовать, иначе ему крышка.

Джакомо поднялся на невысокий помост, примыкавший к сцене. За спиной был плюшевый занавес, а за занавесом — его странная труппа, чей страх прожигал насквозь вишневый плюш, расшитый золотом кафтан и шелковую рубашку. Спокойно, спокойно. Сейчас он покажет, на что способен.

— Ваше величество, — поднял левую руку на высоту груди, обвел ту часть залы, где стоял трон, — прекрасные дамы и благородные господа! Жизнь — великая загадка. Бог задал ее человеку, и только Богу известны все решения. Мы, люди, лишь ощупью бредем по жизненному пути, окутанному мраком, который иногда озаряется открытием деталей божественного плана.

Хватит про Бога, фиолетовые одежды епископов заволновались — это небезопасно. Впрочем, чего бояться? — он не так глуп, чтобы впасть в ересь. Левый угол еще не включился. Стройная блондинка с хищным лицом, в роскошном платье, смеется, — не над ним ли? — небрежно заслонив веером рот. Джакомо загнул мизинец. Чур меня! Все, этой можно не опасаться.

— Так вот, одно из особых свойств человеческой природы, которое Создатель от большинства людей утаил и открыл лишь немногим, мы бы хотели вам показать.

Опаснее уса́тый чурбан, нашептывающий блондинке какие-то пошлости, — не о нем ли речь? Браницкий. От этого и целая пятёрня не защитит. Дальше. Спокойно, не торопиться, пусть сперва сотрут с лиц ухмылочки и угомонятся. Да и король слушает вполуха, увлеченно крутит на пальце перстень с рубином.

— Прошу не беспокоиться — это не будет ни женщина с бородой, ни мужчина о двух головах.

Они уже почти его. Дружно рассмеялись — стало быть, так же дружно стихнут.

— Итак, что же вам предстоит увидеть? Сам не знаю, как это назвать. Чудом, тайной, капризом природы? А разве мы с вами — не то, и другое, и третье, вместе взятое? Поглядим для начала на кисти рук. Да, на свои кисти. Что в них необыкновенного? Да почти ничего. Кожа, ногти. Что еще? Ну, может быть, кое у кого красивые перстни.

Король перестал забавляться рубином, посмотрел внимательнее. Джакомо медленно сплел перед собой пальцы.

— Однако есть в наших руках нечто, чего нам не дано лицезреть, но что важнее многого другого. Тепло, ваше величество, тепло, любезные дамы и господа. Причина и следствие нашего существования. Божий дар, разнородный кровью по всему телу. Мы его не видим, но без труда можем почувствовать. А если мы излучаем не только тепло, но еще и естественную энергию особого вида, которую нельзя ни увидеть, ни

почувствовать, но которая тем не менее существует? Как в этом убедиться? Как узнать, что каждый из нас обладает биологической силой, о которой понятия не имеет? Как доказать, что телесный магнетизм — нечто реальное и материальное?

Помолчать. Две секунды, не более.

— Не знаю.

Прекрасно. Они разочарованно вздохнули.

— Я не знаю. Но, как любит говорить мой друг Вольтер, всегда найдется кто-нибудь, кто знает. И такую особу я как раз собираюсь вам представить.

Вздых облегчения, шарканье подошв, возбужденный шепот прозвучали, точно ангельские хоры. Ему бы зевак на ярмарках завораживать. Наконец можно освободить руки — и чего этот Вольтер постоянно лезет в голову? — простереть над ними — какой он, к черту, друг? — заключить всех в свои объятия — беседовали несколько раз, но так и не прониклись взаимной симпатией, — пленить, притянуть к себе растопыренными пальцами, а затем, сжав кулаки, — если разобраться, самоуверенный пустомеля — сплотить!

И так держа в распростертых руках всю залу, Казанова попятился и осторожно повернулся к сцене.

— Перед вашим величеством, перед собравшимися здесь сливками общества — потомок татарского хана и индийской княжны Иеремия Великий и его не менее экзотическая свита!

Василь услышал, понял, потянул за шнурок. Занавес раздвинулся, но открывшееся зрелище неприятно поразило Казанову. Где воздетые вверх руки Иеремии, которым он должен доверить то, чем только что завладел? Мальчик стоял понурый, испуганный, нервно теребя край плаща. Боже, только бы они не начали смеяться. Чего ждешь, сопляк? А эта корова Поля? Почему ничего ему не подает? — не для того ей подарено платье, каких у нее в жизни не было, чтоб теперь стояла столбом, тупо тараща глаза. Поехали!

Вместо Поли к Иеремии подошел Василь, низко поклонившись, вручил мальчику табакерку. Спаситель! За это можно ему простить сожженные бумаги. Быстро опустив руки, Джакомо отступил назад. Пора. Вот он, этот момент! Сейчас все решится. Пан или пропал. Со щитом или на щите. Зажмурился — лишь бы не сглазить. Что произойдет, он услышит. Но тишина невыносимо затягивалась. Неужто зал настолько ошеломлен, что у всех языки отнялись при виде чуда — повисшей между пальцев Иеремии табакерки? Глянул, и лоб оросился холодным потом.

Мальчик, белый как полотно, жадно хватая ртом воздух, судорожно вертел табакерку, точно она жгла ему пальцы. Это был не тот Иеремия, который вчера справился даже с медным чайником. В зале поднялся недобрый шумок.

Пресвятая Дева! Табакерка глухо стукнулась об пол — Иеремия сжимал в кулаках воздух. Дальше. Быстро. Пока они не разобрались, в чем дело. Ключ. Большой блестящий медный ключ. Пусть только сопляк соберется с духом. Он ведь может. Смелее, их судьба в буквальном смысле у него в руках. На висках мальчика набухли жилы, но ключ не отрывался от ладоней. В чем дело? Сколько весит ключ? Немало. Упав, наделает шуму. Нет, этого он не допустит.

И не допустил. Молниеносно нагнулся и на лету поймал ключ, хотя куда охотнее грянулся бы вместе с ним на пол и, обхватив башку руками, завыл от унижения и отчаяния. Кто-то протянул ему руку: Поля. Повернувшись, Джакомо заслонил Иеремию — не столько от зала, сколько от девки. Черт, тысяча чертей, это же она во всем виновата. Проклятая потаскуха. Отняла у мальчика силы, высосала лучшее, что у него было, ведьма. Как же он сразу не сообразил? А если — сто тысяч пар рогатых свиней! — если совсем его опустошила, раз и навсегда выхолостила, лишив сверхъестественных способностей...

— Природа этого эксперимента чрезвычайно сложна, и отдельные его стадии редко удаются с первого раза, посему предлагаю набраться терпения. Нижайше прошу вас об этом от имени Иеремии Великого и его помощников. Будьте терпеливы и снисходительны. Недоброжелательная мысль или, не дай Бог, слово могут привести к катастрофе.

— А разве это еще не катастрофа?

Гадать, из какой усатой пасти вырвался вопрос, не понадобилось. Джакомо не впервые слышал этот голос. Безмозглый чурбан. Еще одно слово, и он воткнет этот

чертов, обжигающий пальцы ключ ему в задницу. Король жестом осадил Браницкого, а может, только прикрыл ладонью улыбку.

Но то была еще не настоящая катастрофа. Настоящая произошла минуту спустя, когда Иеремия, не дожидаясь знака, взялся за большой медный чайник и под аккомпанемент речей Казановы, убеждающего зрителей в превосходстве духа над плотью, уронил его себе на ноги. Случилось непоправимое. Позор. Полный провал. Кошмарный сон наяву. Помощники, называется!

Зал пришел в движение: кто-то незаметно протискивается от сцены к трону, кто-то повернулся спиной, дамы заслоняют веерами лица, Бинетти сверлит его злобным взглядом. Смех Браницкого и Катаи, недоверие в глазах епископа Красицкого, презрение на лице посла Репнина. А король? Король ждет, подперев ладонью щеку, будто добросовестное классическое воспитание и придворный этикет заставляют его, не подавая виду, дожидаться конца. Это шанс. Но что ему с этим шансом делать? Он недостоин благосклонности монарха.

И все же кто-то ему улыбается. Князь Казимеж. Улыбается и заговорщически подмигивает. Считает его остроумцем, а то, что произошло, — шутовской выходкой? Боже, неужто это знак, которого он ждал? Он будет шутом. Шутам прощают неудачи и постыдные провалы, шутов допускают к трону и в спальню. При здешнем дворе шута нет. Не было до сегодняшнего дня. Боже, помоги шуту!

— Это была всего лишь проба. Неблагоприятное расположение звезд и противостояние Венеры и Марса привели, как вы могли заметить, к тому, что первая попытка оказалась не по зубам нашему маленькому Иеремии Великому.

Никто не засмеялся, он же за свои оскаленные в подобострастной улыбке зубы охотно плюнул бы себе в рожу, а горе-помощников разогнал на все четыре стороны. Что и сделает, только бы пережить эти мучительные минуты.

— Ну и есть ли тут какой-нибудь выход?

— Есть. Через дверь.

Услышал или сам произнес эти слова?

— Не совсем так. Есть целых два выхода. Первый — чисто логический. Если признать, — а с какой стати отрицать божественные законы логики? — что исключение подтверждает правило, которому противоречит, можно посчитать неудачу несущественной, нашу же попытку — удачной.

— Аккурат!

Это тосканский художник, у которого он увел Полю. Да как он смеет, наглец! Зато король ободряюще улыбнулся.

— А это вы где вычитали, у какого философа?

— У российского мыслителя, ваше величество, князя Жопского, с которым мне довелось недавно обняться и даже троекратно облобызаться.

Король от души рассмеялся.

— А второй выход?

— Второй выход лишен ослепительной простоты первого. Зато сулит незабываемое впечатление.

— Опять обещания. Из посула кафтана не сошьешь.

Эта выбритая скотина осмеливается при короле отпускать такие замечания. Но король будто не услышал. Может, это не настоящий монарх, а опять его большелопый двойник? Поиздеваться вздумали над шутком? Настоящий король Польский, Великий Князь Русский, Прусский, Литовский и черт-те какой еще прибудет позже, и тогда все начнется сначала: Иеремия, табакерка, чайник, смех.

— Ну и что же это будет?

Настоящий. Только настоящий способен так невозмутимо *не слышать*. Да и башмаки с золотыми пряжками скрывают небольшую, изящную ногу.

— Это будет, мой король, очередное доказательство превосходства духа над материей.

— Лучше покажи, на что ты в самом деле способен.

— Надо полагать, не при дамах?

Браницкий и эта, наряженная человеком, тосканская обезьяна. Джакомо послал им лучезарную улыбку. Да, да, трахал я твою Полю на сто пятьдесят пять разных ладов, а когда надоело, отдал слугам. А про твою Катаи знаю столько, сколько тебе до конца дней не узнать.

— У вас нет оснований для тревоги, господа. Я намерен показать то, что умею

делать лучше кого бы то ни было. И дамы могут не беспокоиться: их скромность не будет оскорблена.

Унылый шут, зануда. Необходимо сменить тон.

— Разве что...

Заметно поскучевший князь Казимеж оживился:

— Разве что? Вы хотите сказать: вдруг не получится?

— Напротив. Вдруг получится.

Лучше б ему не слышать этого смеха, не видеть лицемерного сочувствия, плохо маскирующего презрение к чудотворцу, который сам иронизирует над своими обещаниями. Ладно, пусть считают его шутом, обманщиком, наглым вымогателем, пусть думают, что хотят. Только бы дожидаться своего часа.

С милостивого соизволения Станислава Августа, короля Польши, Великого Князя Литвы, Руси, Пруссии и еще каких-то шелестящих во рту краев — дождался. Монаршья рука, украшенная рубином величиной с куриное яйцо, заставила всех уgomониться. Пора. Хватит паясничать. И вдруг... пустота. Что? Кто? Уж конечно не Поля. Из-за нее все полетело кувыркoм. Глаза бы его на нее не смотрели. Где Лили и двойняшки? Стул на месте. Но кого на него усадить? пышное платье — это хорошо. Но только никакой плоти. Епископ! Эту мысль, наверно, небеса подсказали. Епископ Красицкий. Джакомо чувствовал, что тот не откажет. Пытался, правда, робко отнекивался и все же согласился к радости свиты князя Казимежа. Боже, подумал Джакомо, я, наверно, похож на побитого пса. Один епископ это заметил, но он же и увидел во мне человека. Притом человека, нуждающегося в помощи.

И вот уже на стуле перед ним епископ, раздираемый противоречивыми чувствами: тревогой высокопоставленного служителя церкви, стоицизмом мудреца и желанием позабавиться, ценящего остроумие поэта. Рядом сестрички, Этель и Сара, которых нарядили и причесали придворные дамы, только и ждут его знака. Но у него руки и ноги по-прежнему налиты свинцом. Ему не расшевелить королевских гостей, не одолеть их холодного презрения, почти нескрываемой издевки. Джакомо явственно ощутил, как падает со своего каната в бездну, как стул с епископом переворачивается и святейшие руки цепляются за что попало, лишь бы не полететь вместе со стулом на пол. Кошмар. Неужто ему суждено такое? Не триумф, а позорная ретирада — крадучись, по стенке, — или кое-что похуже, если кто-нибудь сочтет его выходку оскорблением монаршьяго достоинства? Ну и ладно, пускай бросают в темницу, он хоть отдохнет от этой нервотрепки. Рехнулся? Нисколько. Голыми руками его не взять. Никому и никогда. И уж, ясное дело, не тем, что сейчас ждут его провала.

Резко расправил плечи. Кого он боится? Разве они не такие же смертные? Лишить титулов, содрать богатые одежды — и что останется? Стадо перепуганных людишек. Ему тут же представилась эта картина: втягивающие животы мужчины с бритыми затылками и стыдливо съехившиеся женщины. Острые лопатки, обвислые груди, кривые ноги прячущих лица за веерами насмешниц, дряблые мышцы, гнилые зубы и похожие на свиньи хвостики члены премудрых придворных. Браницкий, волосатый, как обезьяна, князь Казимеж с копьем, готовым вонзиться в кого ни попадя. И лишь Катаи с вызывающе торчащими грудями, как всегда ослепительная. Да это же библейский Страшный Суд, на котором не они — жалкие, грешные, ничтожные — выносят приговор, а он — уже овладевший собой, сосредоточенный, способный мановением десницы обратить их всех во прах.

Поднял предостерегающе руку — о дне и часе никто не знает, — но не угрожая, не осуждая, просто дал короткий знак девочкам. Ну же! Это должна быть вспышка, вскрик, полет!

Так оно и стало. Джакомо не увидел ничего, кроме внезапно взметнувшихся вверх фиолетовых одежд, не почувствовал тяжести отрывающегося от стула тела и не услышал изумленных и испуганных возгласов, когда епископ Красицкий, поднявшись выше их голов и опрометью полетев вниз, упал прямо в его объятия. Только какое-то неведомое прежде чувство подсказало, что он наконец одержал победу.

Потом, много позже, когда уже все желающие полетали, испуганным визгом и восхищенными возгласами воздавая хвалу его искусству, и забаве пришел конец, король пригласил его в свой кабинет. Боже, свершилось то, о чем час назад он мог только мечтать. Они были одни — не считать же слуг, неслышно подававших фрукты

и разливавших вино. Одни. Он и король. Теперь все зависит только от него самого. Ну и кое-что от сидящего напротив мужчины. Казанова жадно вглядывался в его лицо. Сколько ему лет? Тридцать пять, тридцать шесть. Наверняка меньше, чем на коронационном портрете.

— Вы видели мой коронационный портрет.

Это был не вопрос, а утверждение, притом вырванное из его мыслей. Внимание, нужно быть начеку. Разговор предстоит непростой. Король пил легкое вино, Казанова тоже взял бокал, хотя сейчас без колебаний опрокинул бы стакан этой дьявольской местной водки.

— О да. Прекрасный портрет. Достойный народа, который породил такого короля.

Подействовало. Может, все не так плохо. Для порядка несколько любезных слов, а затем приступить к делу. Только с чего начать? Шелковая мануфактура, колючая проволока, лотерея или панталоны с разрезом? Чем кончить, он знал хорошо. Жизнь, его собственная жизнь...

— Честно говоря, не по душе мне это... Слишком мало правды.

Джакомо похолодел, не сразу поняв, что король говорит о портрете. Сейчас можно бы отомстить тосканскому наглецу, вставив какое-нибудь убийственное замечание, например, об отсутствии у него чувства пространства или чересчур крикливой палитре... однако нет, нельзя размениваться на мелочи, когда впереди великие дела.

— Ваш брат, кажется, тоже художник?

Знает про Джованни. Прекрасно. Мы не одиноки.

— О да. Притом признанный.

— Уговорите его как-нибудь и нас посетить.

— С истинным удовольствием, ваше величество. Мой брат, правда, предпочитает пейзажи, но и исторических тем не чурается. А история столь замечательной страны наверняка достойна быть запечатленной на холсте. Как и на страницах книг. Признаться, я уже сам начал кое-что писать.

— Что вы знаете о нашей истории?

— Немногое, но я рассчитываю на помощь вашего величества и на документы из королевской библиотеки.

Станислав Август ответил не сразу. Раздумывает, не послать ли его ко всем чертям?

— Что ж, это не исключено.

Прекрасно. Он напишет. Историю Польши для чужеземцев. Это гораздо скорее откроет путь к блестящей карьере при здешнем дворе, нежели подбрасывание в воздух даже самых тяжелых голов и самых ученых задниц. Не один народ рад был бы обзавестись таким историком. А если еще хорошо заплатят... Впрочем... внимание! Что означает косой взгляд короля?

— В Польше много странного. Но и хорошего немало. Ты, например, знаешь, что у нас не убивают королей? Существует такой старинный обычай, если не сказать предрассудок.

Боже, ему конец. Он позволил провести себя, как сопливый юнец. «Знает про Джованни». Если уж про Джованни знает, то про него тем более. Выдаст палачам или прикончит своими руками? О восточных сатрапах он и не такое слышал, да и сам кое-что видел. Ничего не поделаешь. Монарх будет прав. Он добровольно полез в петлю. Но хоть до конца сохранит лицо.

— Прекрасен народ, у которого такие предрассудки.

Король кисло улыбнулся.

— Возможно. Хотя у меня на сей счет нет иллюзий. Как раз сейчас с этим предрассудком ведется борьба, более ожесточенная, чем с истинными врагами. Ну и в один прекрасный день кто-нибудь из моих прекрасных соплеменников всадит мне пулю в лоб или проткнет шпагой печень. Кто? — какой-нибудь Нововейский, Ромейко или, скажем, Браницкий.

Пресвятая Дева, спасибо тебе! Значит, не о нем речь. Болван. Чуть что, готов наложить в штаны. Нервы никуда. Выпей, Джакомо, и пошевели мозгами.

— Браницкий? Да это же друг.

— Сатане он друг. Или царскому послу, что, впрочем, одно и то же. Полностью у него на содержании. А кто платит, господин Казанова...

— Насколько мне известно... говорят, он не хочет проливать польскую кровь, избегает схваток с бунтовщиками.

— Бросьте вы. Не хочет с ними расправляться, чтобы не упрочилась моя власть. Пока он им потакает, конфедераты связывают мне руки, а у Москвы сохраняется повод для интервенции. Вот так-то, сударь.

— Но я слыхал, будто Браницкий недавно избил доносчиков, состоящих на службе у его сиятельства графа Репнина.

Король поморщился; почему — Джакомо понял, едва он раскрыл рот.

— Не называйте этого дьявола его сиятельством. По крайней мере, при мне. По крайней мере, когда мы наедине. Что же касается моего друга Браницкого... Подумаешь, задал перцу каким-то ничтожным шпикам. Они же, довольствуясь жалкими крохами, сбивают ему цену. Ох, господин Казанова, чей народ дал миру Макиавелли — мой или твой?

Джакомо сел поудобнее, отпил глоток вина. Дело приняло новый оборот. Враг. У них есть общий враг. Этот человек угрожает им обоим. У него отнимает любовниц, а у короля хочет отнять власть.

— Враг.

Это слово прозвучало точно заклятье: Казанова сам не заметил, как оно у него вырвалось. Станислав Август внезапно поднялся с кресла, подошел к заваленному бумагами секретеру.

— Не он один.

Что делать? Встать, последовать за королем, сменить тему на более безопасную? Нет, сперва осушить бокал, вино и впрямь отменное.

— Меня здесь не любят. Не возражайте, вы очень любезны, но я знаю, что говорю. И, если нетрудно, не шевелитесь. Искусство живописи мне тоже не чуждо. Когда-то я недурно рисовал. Ну и теперь стараюсь не терять сноровки...

Король будет его рисовать! Боже, мог ли он сегодня утром вообразить такое? С достоинством распрямился: в профиль или анфас? Разумеется, он не возражает. Это большая честь...

— Не любят меня. Единственное, что готовы прощать, это баб. Я, разумеется, таковой привилегией пользуюсь, но можно ли целыми днями только одним и заниматься?

Казанова непринужденно усмехнулся. Истинное удовольствие беседовать о таких материях.

— Вообще... как бы это сказать... можно. Но... не пристало.

Оба прыснули, будто напроказившие мальчишки. Теперь и о французской лотерее можно завести речь. Станислав Август посерьезнел, однако улыбка в уголках губ осталась.

— Это бы мне охотно простили. Но многое другое — ни за что! Я здесь никому не могу угодить. Для одних я — безумец, конфликтующий с Москвой, для других — трус, российская содержанка.

— Но, ваше величество...

Если это его портрет, что означают штрихи, резко, чуть не порвав бумагу, проведенные грифелем? Ослиные уши?

— Думаете, я преувеличиваю. Хотелось бы. Но никто не простит королю желания твердо взять бразды правления в свои руки. Поляки — темный народ, господин Казанова. Темный и кичащийся своей темнотой. Несколько вельмож дергают за веревочки и препятствуют серьезным реформам. Попробуйте завести речь о развитии промышленности или нуждах армии. *Libertum veto**. Настолько эти неучи латынь еще знают. Есть, правда, и разумные люди... но их, к сожалению, мало, очень мало. А соседи? Только и ждут случая, чтобы придушить нас и проглотить. Россия...

В этой паузе для тебя нет места, Джакомо. Не отзывайся, с монархами говорить на такие темы опасно.

— Это наша беда. Была, есть и будет. Достаточно поглядеть на карту. Другие соседи не лучше, но этот вдобавок еще и голоден. Пока мы слабые, безвольные и хмельные, они не спешат: стоит ли разевать рот на неудобоваримый кусок? Но едва мы начнем наводить у себя порядок, укрепим хозяйство и армию, станем искать путь к национальному согласию, вцепятся нам в глотку. Не вертитесь, не о вашей глотке речь.

* Право наложения единоличного запрета на решения законодательного собрания (*лат.*).

Шутка или предостережение? Шутка. Но, пожалуй, разумнее превратиться в соляной столб, чем реагировать на такие шутки. По крайней мере, рисунок лучше получится.

— Итак, едва мы зашевелимся, нас разорвут на части. А будем сидеть тихо — рано или поздно сделают то же самое. Ну, и как вам это нравится?

— Признаться, я ни о чем таком понятия не имел.

— Не ты один. Возможности выбора у нас, как видишь, велики. Можно позволить себя удушить, а можно и дать перерезать горло. Любопытно, что бы порекомендовал твой друг Вольтер. Правда, пока он служит советами нашим врагам.

— Вольтер мне не друг. Наши мнения слишком во многом расходятся. А уж теперь, после того, что я услышал...

— Ты не знал, что он переписывается с российской императрицей? Впрочем, не стоит придавать этому чересчур большое значение, подумаешь, напыщенная болтовня двух философствующих натур. Правда, за одним из философов триста тысяч пштыков, только и ждущих приказа.

Ого, кажется, у него выросли зубы — длинные, волчьи, едва помещающиеся на листе. Надо будет при случае показать рисунок Вольтеру, утереть нос этому мудрецу.

— Что же нам, бедным полякам, остается? Голову поднять страшно, сидеть сложа руки — опасно. Вопить о своих обидах на всю Европу? Но разве можно перекричать ревущего медведя? Впрочем, выход есть, по крайней мере я стараюсь в это верить. Бег на месте. Понимаешь?

— Не очень.

— Да это же просто. Движение при кажущемся его отсутствии. Перебираешь на месте ногами, чтобы кровь не застоялась. Иначе говоря, благородное притворство, плутовство во имя высоких целей и мелкие обманы ради истины. Полумеры в государстве, скажем, полуидиотов. Тратить тысячи на оргии, но миллионы — на армию. Строить дворцы, но и библиотеки, театры, школы. Все хорошее делать тайком, без шума, а плохое — с треском, с надрывом, при ярком свете, господа братья. Пусть все знают, что Телок — гуляка, бабник и не в своем уме. Пусть кричат об этом что есть мочи. Может, еще удастся выторговать год-другой. Несколько общественных зданий, несколько неглупых законов, несколько лишних полков. Вот как обстоит дело, господин Казанова. Бег на месте, вот так-то!

— Теперь понимаю. Понимаю и восхищаюсь.

Язык заплетается — от этих подобострастных слов или от вина?

— Рано восхищаться. — Король с неудовольствием отложил рисунок. — Что бы я ни сделал, хор надрывается, вопит, мол, я — трус, кунктатор и изменник. Я сам иногда думаю, уж не правы ли они? А на мои письма она даже не отвечает.

Пожалуй, его величество неспроста завел этот разговор. Но зачем, с какой скрытой целью? Боже, как все запуталось. Тут уж не до картофеля и не до панталонов с разрезом.

— Разрешите взглянуть?...

Вопрос замер у Казановы на губах. Нет! Джакомо съезжился в кресле. Что это: он допустил ошибку или угодил в заранее поставленную западню? Недаром ему с самого начала мерещился какой-то подвох. Вдобавок язык как-то странно пощипывает.

— Ты с ней виделся?

То был голос не монарха — раненого самца. Значит, можно верить тому, что о нем рассказывают.

— Имел честь быть представленным императрице.

— Говорят, она постарела.

Ну конечно, спал с массивным шкафом. Но тогда, вероятно, это еще был изящный секретер.

— Немного.

— Могу себе представить. Если хоть частица того, что о ней говорят, — правда... Так и есть?

Да. Ужасная, путающая правда, подумал Джакомо и, словно бы извиняясь, улыбнулся:

— Не мне об этом судить, ваше величество.

— Хитрец. Умеешь отвечать на трудные вопросы. Из тебя бы вышел неплохой дипломат.

Или шулер, мысленно добавил Джакомо, наклоня голову в знак благодарности за доброе слово. Шулер, который уже сам не знает, когда передергивает. Или шут. Или... он вдруг помертвел — или покойник! Пресвятая Дева! Что, если язык горит

не от изжоги, а от яда... ну конечно же, его отравили, его — неплохого дипломата, российского шпиона, несостоявшегося похитителя! Вот она, единственная правда, все остальное было чудовищной шуткой. Надо спасти свою шкуру, может быть, еще не поздно. Ведь он пришел, чтобы рассказать все без утайки, как на исповеди. Сполз с кресла: хорошо бы его вырвало, только это и может помочь, надо выплюнуть отравленный язык, вырвать из своего нутра ядовитую змею. Но сперва избавиться от собственного жала.

— Ваше величество, я должен сделать страшное признание!

— Говори.

Не успеет. Перехватило горло — даже самого короткого слова не выдать.

— Я...

— Впрочем... можешь не говорить. Я все про тебя знаю. У меня тоже, где надо, есть свои люди. Ну и что ты намерен делать?

Джакомо почувствовал себя насекомым, насаженным на булавку. Король все знает. Знал с самого начала. Это конец. Что он намерен делать? А какие могут быть намерения у жука на булавке?

— Молить о снисхождении и прощении.

Молить, чтобы ему даровали жизнь, черт подери. Быть может, есть еще крупица надежды, противоядие, последняя соломинка. Нельзя вот так, ни за что... Ничего плохого он не сделал. И, честно говоря, не собирался делать. Тогда за что же его так, за что? О нет, пускай подсыпает яд своей дряблой любовнице, коронованной бляди, которая его ни в грош не ставит, или ее клеветам, пьющим кровь из порядочных людей. Только не ему, ради Бога, не ему. Он иностранный подданный, он никому, даже королю, не позволит так с собой обращаться...

— О снисхождении и прощении.

— Считай, что получил и то и другое.

Джакомо почувствовал на плечах руки короля, вместо смрадного дыхания пекла ощутил тонкий запах духов. Чудо, вот уж поистине чудо. Король поднимает его с пола, усаживает в кресло, похлопывает по щекам. Он на какой-то миг потерял сознание или сошел с ума? Заподозрить этого необыкновенного человека?! Только потому, тысяча чертей, что защипало язык. Пить надо меньше. Изжога у него, вот что! От этого не умирают. Но спать можно. Хорошо, король вернулся к секретеру и не видит его дурацкой мины.

— Вот тебе доказательство, что я не затаил зла. Как нетрудно догадаться, в кармане у тебя пусто. Они предпочитают запугивать, а не платить.

Столбик золотых монет, второй, третий. С ума сойти! Уронить слезу благодарности или от стыда провалиться сквозь землю?

— Я не имею права этого принять, ваше величество, мне...

— Бери. Королю не отказывают.

Что правда, то правда. Джакомо припал к королевской руке — той самой, которую должен был безжалостно заломить за спину или скрутить веревкой. Гореть им в вечном огне, этим скотам, пытавшимся толкнуть его на такое. Какие это деньги? Дукаты, рубли? А может, голландские гульден? Сто? Двести? Неудобно же пересчитывать.

— Что ты должен был со мной сделать? Задушить или перерезать горло?

Это было как удар в низ живота.

— Упаси Бог!

Упаси Бог в чем-либо признаться. Сто пятьдесят уж точно.

— Утопить в ложке воды?

— Я...

Огляделся, словно в поисках спасения. Но все в комнате было чужим и враждебным. Да и странная улыбка на лице короля могла в любую минуту превратиться в гримасу ярости. Тогда все, пиши пропало. Он скажет, обязан сказать.

— Похитить. Я должен был похитить ваше величество.

— Похитить. И что дальше?

— Это мне неизвестно, клянусь. Я не знаю никаких подробностей. И не пытался узнать, в этом тоже могу поклясться. Я философ, а не бандит.

Он жив. Жив и будет жить. Этого, еще молодого, мужчину с красивой головой, которую ему пришлось бы обмотать плащом, и римским носом, который легко сломать ударом кулака, его слова явно растрогали. Ничего не заберет, скорее добавит.

— Ты знаешь, почему выбор пал на тебя.

Это не был вопрос, но Джакомо поспешил горячо возразить. Станислав Август на минуту задумался.

— Зато я, кажется, знаю. По крайней мере, догадываюсь. Ты для них — человек Запада, а Запад там, в России, — олицетворение всяческого зла. Какие-то парламенты, права человека, газеты — кошмар. Потому и люди оттуда представляются такими дьяволами во плоти, способными на все. Понятно?

— Вы, сударь, не знаете, что такое страх.

— Думаешь, не знаю... А о чем я тебе уже целый час толкую? И, как ты полагаешь, зачем?

Не добавит, разве что по физиономии. Внимание!

— Ты и в моих глазах человек Запада. И не первый попавшийся. У вас там любят обвинять нас в глупости, варварстве, иногда в неблагодарности либо — что, в сущности, то же — в безропотном повиновении могущественным соседям. Может, хоть ты, философ, чуть лучше поймешь, что здесь происходит. Мы не глупцы. Мы просто порой очень мало можем...

Какие слова — точные и прекрасные, какой мудрый взгляд! И, будто одних слов было недостаточно, лучший из лучших граждан этого государства, король Польши, великий князь дюжины краев, от названия которых сводит зубы, Станислав Август, которого будущие поколения, возможно, нарекут Великим, шагнул вперед и дружески обнял его, ничтожного червя, перелетную птицу, шпиона и авантюриста, короля девственниц и великого князя нескольких дюжин шлях, от чьих ласк болят яйца, Джакомо Джованни Казанову, которого потомки, быть может, назовут Сильным. Что за минута! Все стоило терпеть, чтобы до нее дожить. Наконец его оценили. И кто! Он станет секретарем короля, его правой рукой, канцлером, черт знает кем еще. Victoria! Деликатно ответил на объятие:

— Понимаю. Теперь мне все понятно.

— Я на это рассчитываю, дружище.

Дружище! Да за одно это слово он будет служить королю верой и правдой. А своим гонителям расхохочется в рожу. Пусть попробуют его тронуть. Столько власти, чтобы изрубить их в куски, и у этого государя найдется. А он с удовольствием ему поможет. Но пока надо позаботиться о себе. Золото в карман. И, пожалуй, портрет. От него будет побольше корысти, чем от дукатов. Сейчас попробует. Но не сразу, надо еще помолчать. Сейчас прозвучат самые важные в его жизни слова. Лишь бы их понять. На названиях ведомств в этой стране тоже можно сломать язык.

— А теперь, — король, вдруг нахмурившись, отстранил его. — А теперь забирай свое и уходи.

Казанова с трудом проглотил улыбку, приготовленную совсем для другого. Значит, не все сразу. Ну что ж. Сразу только золото. Нет, не только. Еще, по крайней мере, портрет.

— Как можно скорей возвращайся к своим, сударь.

Казанову аж шатнуло к столу. Что это значит? Как же так? Скосил глаза на рисунок. Боже! Его там нет и в помине. Только изображенное несколькими штрихами кресло, на котором он сидел. Пробормотал что-то невразумительное.

— Ни о чем не заботься, все, что надо, получишь. Прощай.

Аудиенция окончена. Это он понял. Не ждать же, пока выставят силой. Но он вернется, правда? — шептал себе, сгибаясь в прощальном поклоне. Завтра, послезавтра. Может быть, еще сегодня. Кто лучше него понимает капризы правителей, он сам состоит сплошь из капризов, утром одно, вечером другое. Хорошо, хоть золото сегодня.

— Ваше величество...

Джакомо чуть ли не с благоговением поцеловал королевскую длань. Да, да, сейчас государь прощается с ним, простым смертным, чтобы спустя недолгое время приветствовать в совершенно ином качестве. Завтра. Он чуть не раскровенил губу о горящий на пальце рубин. Завтра, возможно, и этот рубин будет его...

Он был уже на пороге, когда король поднял голову:

— Что касается твоего отъезда — это приказ.

Дуэль

Как он оказался в театре, Джакомо не помнил. Да и где находится, понял, лишь увидев карликов Катаи, кинувшихся от него врассыпную. О нет, нет, сегодня им нечего опасаться: Казанова — поверенный короля, а не охотник за кроликами. Сегодня его уже ничто не заставит опуститься так низко.

Играли какую-то пьесу на польском языке. Это ему было даже на руку. Все равно он бы не смог сосредоточиться. Раздавал налево и направо поклоны, косясь на центральную ложу, однако короля там еще не было. И хорошо. Джакомо не совсем понял смысл последних слов государя. Это был приказ? Вряд ли, кто же приказывает друзьям? А так: нет короля, значит, нет и сомнений, он имеет полное право торжествовать, в этом убеждают взгляды тех, кто прежде едва удостаивал его вниманием. Ему не впервые было наслаждаться радостью победы — мало ли раз в жизни он добивался своего! — но эта победа, нельзя не признаться, особенно приятна. Боже, как мало нужно, чтобы почувствовать себя в раю.

Перед ложей Бинетти Джакомо на секунду заколебался и, вероятно, без приглашения не рискнул бы войти, но дверь была приоткрыта, и он посчитал это очередным чудесным знаком, которым грех пренебречь. Бесшумно проскользнул внутрь, готовый целовать, обнимать, бурно делиться своей радостью. Вначале увидел Браницкого; в блестящем, словно наряд сатаны, мундире, тот сидел боком к сцене, со странно напряженным лицом. Бинетти, прислонившись к барьеру ложи, внимательно следила за происходящим на сцене, но и ее поза была какой-то неестественной. Джакомо понял, в чем дело, до того, как его заметили. Рука Бинетти, будто оторвавшаяся от тела, лежала между ног графа. Джакомо хорошо знал эти пальцы — не составляло труда догадаться, какой они высекали огонь, какие дьявольские силы пробуждали. Помирились, значит. Она опять прибрала неверного любовника к рукам, притом в буквальном смысле. На здоровье! Ведь она этого и добивалась.

Казанова поклонился, чтобы скрыть улыбку, — он не был уверен, что Браницкий действительно его не видит. Очень рекомендую панталоны с разрезом, дорогой граф. По крайней мере, тут мы с вами, кажется, найдем общий язык.

Расхохотался он лишь в уборной Бинетти, где, как и предполагал, застал просиявшую при его появлении Лили. Чудесная девочка! Пожалуй, ей причитается нечто большее, чем взрыв дикого смеха. Даже если она никогда не узнает, что он ее отец. Но что можно ей подарить? Перстня с рубином он никому не уступит, тем более что пока еще его не получил. Золото? Она чересчур молода, чтобы знать цену золоту. И кроме того, может неправильно его понять. Рукопись? Ба! — если бы рукопись не скончалась в печке. Что ж, ничего, кроме смеха, не остается. Джакомо расцеловал Лили в обе щеки, чтоб не подумала, будто он смеется над ней. Когда-нибудь, позже, он даст ей несколько добрых советов. Как жить, с кем и за что. А пока пусть запомнит хотя бы это: он был весел и нежен.

Лили не пожелала ограничиться поцелуем в щечку, обняла его и подставила губки. Прекрасно. Сегодня его любит весь мир. Даже это невинное дитя, которому, возможно, следует его ненавидеть. Легонько коснулся губ девочки: в конце концов, это каждому дозволено, даже отцу. Теперь и она негромко рассмеялась. Что ее насмешило? Не такого поцелуя ждала? Он в ней ошибся? Может, она не столь неопытна, как он думал?

— Король...

Никакого впечатления. Перестала смеяться, но веселые искорки по-прежнему сверкают в глазах.

— Его величество...

Ничей авторитет, даже королевский, не заставит удержаться от смеха при виде съехавшего набок парика. Джакомо понял это, случайно взглянув в зеркало. Боже мой, ребенок, совершеннейший ребенок. Торопливо поправляя волосы, полой сюртука смахнул на пол шкатулку с театральной бижутерией Бинетти. Стекланные бриллианты, изумруды и рубины с шуршаньем вывалились на ковер и рассыпались сверкающими звездами. Лили захлопала в ладоши и бросилась ловить, подбирать, складывать побрякушки в малахитовую шкатулку.

Все вмиг исчезло. Неприветливый мир вокруг. Карлики, предатели и скособолившиеся парики. Все, кроме этого веселого существа, ползающего у него под ногами. Его кровь. Рожденное его чреслами послание, которое он оставит людям. Душа Казановы преисполнилась благостным покоем. Он мог бы пребывать в этом состоянии бесконечно. Или умереть. Или совершить какой-нибудь необыкновенный поступок. Да. Теперь наверняка получится.

Затаил дыхание. Подождал, пока Лили присядет на корточки, и без предупреждения шагнул вперед. Девочка и пикнуть не успела, как он, обняв ее, словно для кровосмесительного акта, оторвал хрупкую фигурку от пола и без труда подбросил к самому потолку. Длившееся целую вечность мгновение Лили висела в воздухе с беспомощно раскинутыми руками, с выглядывающими из-под задравшегося платья стройными ножками в белых чулках, а затем упала в его объятия.

Victoria! Истинная victoria! Он добился своего. Он это сделал! Как Бог свят — сделал! Прижал к себе трепещущую Лили, не меньше нее ошеломленный. Ничего, ничего, уже все хорошо. Теперь хоть она знает, на что он способен. А кто он? Надо ей сказать. Будет ли более подходящий случай?

— Вижу, я не вовремя.

Если он спал, это было внезапное пробуждение. Браницкий с бритоголовым офицером, похожим на переодетого разбойника.

— Сдается мне, вы приударяете за этой юной дамой, господин Казанова.

Вероятно, там, в ложе Бинетти, граф его видел, ну конечно, видел. Оттого и жажда крови в глазах.

— А разве вы, господин граф, не находите ее очаровательной?

Не приближаются. Хотят отрезать ему путь к оступлению. Браницкий побагровел от его любезных слов, на щеке вздулись и запульсировали жилы.

— Почему? Нахожу. Больше того, настолько очарован, что сам имею некоторые намерения, и заявляю, что не потерплю соперничества.

— В таком случае не смею ни на что претендовать.

Отодвинул ногой колючую блестящую брошь. В другое время он бы пригляделся повнимательнее — уж очень она смахивала на настоящую, — но сейчас нельзя было терять ни секунды. Под ногами ничего не должно валяться, когда он бросится на Браницкого и вцепится ему в горло.

— Осторожный вы человек, господин Казанова, если можно так выразиться. Значит, готовы убраться с дороги?

— Если можно так выразиться...

Того, второго, он просто вышвырнет за дверь. А чванливого графа одним пинком собьет с ног и раскровенит рожу колючей брошью из поддельного золота. Пусть узнает, болван, каково издеваться над человеком чести.

— Безусловно, граф. Притом незамедлительно. Кто б посмел соперничать со столь достойной особой.

Не этому тебя учили, Джакомо. Ты должен быть лисой, а не дворнягой, громким лаем оповещающей об атаке. Но порой и лисе не вредно оскалить зубы. Этот мрачный волчище с бритым затылком только того и ждет.

— Я считаю трусом того, кто при малейшей угрозе покидает поле боя.

Ах, так? Он заставит его выплунуть это оскорбление, выплунуть и снова проглотить, перебьет потянувшуюся к шпаге лапу, вырвет ноги из задницы, а усищами подотрется. Но... посмотрел на Лили и понял, что ничего такого не сделает. Девочка застыла, точно ее парализовало. И лишь умоляюще сложенные руки и замутненные слезами глаза просили о милосердии — его, а не этого надутого хама. Почему? Не хочет, чтобы он подвергал себя опасности, боится за него, прелестная крошка. Хорошо. Снял руку с гарды шпаги. Ради нее он готов побыть и зайцем. Пренебрежительно пожал плечами и, сдерживая ярость, на неестественно прямых ногах шагнул к двери.

— Венецианский трус!

Джакомо был уже за порогом, когда его ушей достигли эти слова. Замер, как вкопанный. Этому задире мало, что он прикинулся трусом, — ему нужно понастоящему его опозорить. Почуял в нем врага? Или, быть может, соперника? Да. Как он раньше не понял. Зато теперь, медленно поворачиваясь, преодолевая сопротивление мышц и собственную нерешительность, понял больше, чем хотел. Граф рассвирепел, увидев Лили в его объятиях. Скотина! и на нее положил глаз. Мамочки ему мало. А Бинетти? Потворствует этому? Как знать. Может, для Браницкого бережет девочку, охраняет от других, даже от собственного отца? Нет, мир все же беспредельно мерзок, подумал с яростью и кинулся обратно к двери. Убить гада! Она же еще дитя. Даже ему совесть бы не позволила.

— Граф, я готов в любое время и в любом месте доказать тебе, что венецианский трус не боится польского...

Он хотел сказать «польского магната», этот «магнат» уже вертелся на языке, но какая-то заноза воткнулась в горло, и последнее слово утонуло в бессвязном бормотании. Казалось, воздух вспикел; лысый дружок Браницкого схватился за шпагу, но граф не позволил ему ее обнажить. Побледнев и не глядя на Казанову, словно стыдясь своих слов, медленно процедил:

— Завтра на рассвете я пришлю за вами карету.

Джакомо не мог решить, что делать. Попарить ноги, выbleваться, написать завещание? В конце концов попробовал заняться всем одновременно и теперь, лежа

нагишом под шерстяным пледом, смотрел, как Василь, согнувшись, вытирает тряпкой пол. Не запачкал ли он сюртук? Если запачкал, то что наденет завтра? Тот, золотой? В нем он будет похож на шута, а шуты на рассвете могут вызвать только злобное раздражение. А шпага? Где взять приличную шпагу? Его парадной можно драться с мышами, но не с Браницким. Бог мой — шпага! Еще полбеда, если им предстоит скрестить шпаги. А вдруг граф выберет пистолеты? Тогда ему конец.

Тело сотрясла мелкая дрожь, непонятно, от холода или от страха. Чья-то рука подсунула стакан с подогретым пивом. Ага, Иеремия. Хоть раз в доме кто-то угадал его желание.

— Ну что, герой? Хочешь мне что-то сказать?

Впрочем, не нужны ему никакие объяснения. И без них все ясно. Что этот сопляк может ему сказать? Что не он виноват? А кто? Именно он. Бабы шенку захотелось в самый неподходящий момент. Чуть не опозорил его, Казанову! Заставил из кожи лезть вон. В результате он пришел в неистовое возбуждение и сам перестал понимать, что говорит и делает. А когда опомнился, было уже поздно: он вызвал Браницкого. Боже, теперь надо расхлебывать проклятую кашу, которую заварил этот горе-фокусник. Хорошо хоть не кашу принес, а пиво — горячее и вкусное. Тем не менее пускай убирается с глаз долой. Пока еще он не в том настроении, чтобы прощать, а слезы в глазах, трагические ужимки и все такое прочее только подольют масла в огонь, и он снова разгневается.

Где-то внизу хлопнула дверь. Джакомо выскочил в коридор, налетел на кого-то, чуть не сбив с ног. И сам лишь чудом устоял и не скатился с лестницы. Его поддержали чьи-то сильные руки, чье-то дыхание обдало перегаром.

— Браво, господин Казанова, браво.

Князь Казимеж! Этот что здесь делает? Пить его не уговорит, пусть и не пытается, от вчерашнего еще трещит голова. А может... Боже, это было бы превеликим счастьем! — может, его прислал сам король? Узнал о дуэли и повелел ее отменить. Так и честь будет сохранена, и голова цела.

— Это вы, князь? Милости прошу в наши скромные хоромы.

— В другой раз, господин Казанова. Я предпочитаю... поймите меня правильно... тихо, ша, инкогнито, так сказать. Брат короля — это в некотором смысле и король, а король должен блюсти закон, короче говоря — не позволит!

Сердце так и подскочило от радости.

— Не позволит?

— Скажем так: не позволил бы, если бы знал. Но он не знает. И, надеюсь, не узнает. Во всяком случае, не от меня. И не от вас, господин Казанова, верно? Не для того ведь мы загнали кабана в нору?

— Клянусь честью, князь...

Нет, это не вестник мира. Merde. Неужели сбываются только дурные предчувствия?

— Понимаете ли... Мне с Браницким схватываться не пристало. Честь трона и всякое такое. Политика... Ну а ты, сударь — руби наотмашь, не раздумывая, да только поглядывай, стоит ли еще на ногах. И королю услугу окажешь, и сам останешься цел. Иначе он тебе, господин Казанова, мозги выклюет.

Ничьи объятия, даже княжеские, сейчас не в радость. Тут и с лестницы недолго свалиться, если королевский братец не перестанет его трясти. Ну что бы им, хоть на денек, поменяться ролями...

— Мои мозги, князь, не всякая ворона выклюет.

Казимеж расхохотался прямо ему в лицо. Даже утереться нельзя — князь не дает шевельнуть рукой. Брызги слюны — забыть, слова, напротив, — записать сегодня же. Разве они не достойны великого полководца в канун исторического сражения?

— Молодец. Это по мне.

Не успев понять, что происходит, Казанова почувствовал на своих губах мокрые, пахнущие, как притон поутру, губы князя. На мгновенье его парализовало: не столько от неожиданности, сколько от омерзения. Это как понимать? Обычай у здешних варваров такой или, может, в темноте этому молокососу что-то не то померещилось?

— Прощай.

Прощай. Джакомо вздохнул с облегчением. Поцелуй в губы. Забыть. Ничего князю не померещилось. Разве не так в Древней Греции или в Трое прощались с воинами, идущими на смерть? На смерть? Кто это сказал? Какой бес шепнул на ухо

страшное слово? За спиной слышится чье-то дыхание. Чего им нужно? Лоб и ладони покрылись холодным потом. На смерть?

— Я ухажу, сударь, но оставляю человека, на помощь которого ты можешь рассчитывать. Покажись, Бык.

Сопящий призрак отделился от стены. Бык, настоящий бык. Только зачем он ему? Казанова ни в чьей помощи не нуждается. Разве что, Всевышнего.

— Береженного Бог бережет, как у нас говорят. Учти это, сударь.

Так, значит? Прикидывается другом, а сам боится, как бы он не удрал. Надзирателя под видом помощника к нему приставил, наглый мальчишка. И еще Бога припутывает.

Не бывать тому. Он не позволит, не даст, никому ни в чем не уступит. Ни Браницким, ни Казимежам, ни, тем более, каким-то Быкам. Они увидят, с кем имеют дело. Вытер тыльной стороной ладони рот. Его на смерть? Да знает ли этот забулдыга, каков у смерти вкус? Желает узнать?

Казанова бросился вдогонку за князем. Однако грозное ворчание Быка за спиной быстро его отрезвило. Он лишь перегнулся через перила и крикнул не своим голосом:

— У меня даже шпаги приличной нет!

Из темноты донеслось:

— Я тебе пришлю, какую только захочешь. Хоть золотую. А пока возьми у Быка.

Взял. С тем большей охотой, что минутою раньше почувствовал ее острие где-то на уровне печени. Стало быть, он не ошибся. К нему приставлен надзиратель. Он его разоружил, но малый здоровенный и, похоже, сильный. Такого шпагой не уложишь. Да и шпага никудышная. Неужели эти поляки ничего поприличнее не могут себе позволить? Отправили бы пару купцов в Милан, тогда б увидели, что такое настоящая шпага. Кстати... стоит когда-нибудь этим заняться. Стыдно королевским офицерам носить на боку прутики! Пятисот штук для начала хватит. Для себя он выговорит, допустим, пятнадцать процентов со штуки... А, и двенадцати хватит. Сколько же это получается? Ладно, о торговле шпагами он подумает завтра.

Завтра... Джакомо приостановился на пороге. Сколько часов ему осталось? Пять? Шесть? Завещание. Необходимо написать завещание. Но прежде избавиться от этого чербера, который громко сопит и обдает смрадным дыханием его затылок.

— Коли уж ты здесь, будь любезен, позаботься, чтобы меня не тревожили. Я должен сделать несколько важных дел.

И захлопнул дверь у Быка перед носом.

Приказал принести еще свечей, сам их зажег, но на душе не посветлело. Сел писать письма, однако дело не шло, и вскоре он отложил перо. О чем писать? Это что — прощание? Вряд ли стоит раньше времени огорчать друзей в Венеции, которые много лет его поддерживали — не очень щедро, но постоянно. И тем более двух-трех женщин, в памяти которых он хотел бы остаться. Если же эта история завершится благополучно, он так все опишет — только чернильные брызги полетят. Ну а если плохо... Лучше составить завещание. Однако и тут ничего не получилось. Джакомо вывел только заголовок. «Мое Завещание». Потом перо отказалось ему повиноваться. Буквы хромали, протыкали бумагу, расплывались бесформенными кляксами, да и смысла в этой писанине он уже не видел.

Глупо заявлять: «находясь в полном физическом и душевном здравии», когда желудок подкатывает к горлу, колени трясутся, а мысли, точно алчные стервятники, кружат над одним-единственным, самым важным сейчас вопросом: pistols или шпаги? Выиграет или проиграет? Жизнь или... Но даже если бы он справился с этой идиотской фразой — о чем писать дальше? Что у него есть, чтоб кого-нибудь одарить? Рукописи — в печке, картошка — у Василя в желудке; несколько горстей золота да пара изящных тряпок, которые он отдаст своим домочадцам перед дуэлью... для этого никакие завещания не нужны. А остальное? Башмаки с золотыми пряжками, шляпа с орлиным пером, кафтан, который будет на нем? Это все сдерут слуги Браницкого, не успеет смолкнуть гром выстрела и успокоиться поверхность грязной лужи, в которую он — не приведи Господь! — свалится, как мешок. Хотя скорее всего так оно и будет. Достаточно посмотреть на этих головорезов и вспомнить, в какой он стране... А Лили? Ей-то нужно оставить о себе память. Но что? Огляделся. Все его имущество умещалось в одном кофре и двух-трех пригоршнях. Не гаванские же сигары, не запонки с жемчужинами — они ему еще понадобятся, — и не комплект ложек для надевания башмаков в форме слоновьего хобота.

Сара и Этель! Он подарит Лили право их опекать. Вот что! И Пестрого подарит, чтобы вокруг нее не одни волки были. И волшебную медную монетку Иеремии. Может, хоть ей принесет счастье.

Что же еще? Да ничего. В голове пустота. Чернила густой каплей застыли на кончике пера. Джакомо вытер перо рукавом рубашки. Написать королю? Неплохо бы, опередив клеветников, все ему объяснить. Однако, кроме гладких расхожих фраз, ничего не пришло на ум, а сейчас нужны особые слова. И клеветники, уж конечно, найдут более выразительные. Если Браницкий его убьет, больно кольнула пронзительно ясная мысль, в рай ему не попасть. Если б рай вообще не существовало, это бы еще полбеды, тогда можно и смириться. Но рай есть: не для того же люди мучаются целую жизнь, чтобы лишиться и этой надежды. Впрочем, для него там места не будет. И никогда не было. Всю жизнь он стремился в самое высокое общество, добивался милости сильных мира сего, но когда в конце концов ее удаивался, что-нибудь непременно сталкивало его вниз. Злобные наветы, забытый карточный долг, опрометчивое признание в неблагородном происхождении. И вот уже много лет, с грустью подумал Джакомо, ему неотвязно сопутствует такая же неуверенность и фальшь, как частичка «де», которую он порой для шика приставляет к фамилии Сенгальт. Много лет о нем идет худая слава. Если бы мир только лишь догадывался, что он собой представляет на самом деле. Увы! никто этого не знает и не желает знать. Заурядный авантюрист. Таким и останется до конца своих дней. Такие — что при жизни, что после смерти — не заслуживают доброго слова.

Да? Тогда пусть хоть один человек узнает, что он был незаурядным авантюристом.

«Многоуважаемый господин Вольтер!» О нет, никаких «многоуважаемых», пора выпрених условностей давно миновала. К тому же он намерен сказать нечто весьма дерзкое.

«Уважаемый господин Вольтер!» Тоже не годится. Значит, просто: «Господин Вольтер! Пишу вам из далекой, маленькой и несчастной Польши, где, быть может, завтра завершится моя не слишком короткая и не слишком долгая, счастливая и несчастная жизнь. Я приехал сюда из России, из империи, с владычицей которой, помните, вас связывает некое подобие интеллектуальной дружбы. Говорят, можно дружить даже со змеей — не знаю. Ваши сексуальные пристрастия мне неизвестны и, честно говоря, неинтересны. И все же хочу вас предупредить: эта, нахватавшаяся философских знаний, искушенная в политике змея — сущее чудовище, изрыгающее огонь и серу. Водить с ней дружбу — все равно, что издеваться над остальным человечеством и насмехаться над самим собой. На человечество вам, возможно, плевать, но стоит ли быть столь жестокосердым к себе? Ведь рано или поздно люди все узнают. Вскоре чудовище проглотит оцепеневших от страха и бессилия соседей, икнет, обожравшись, и похвастается, что пользовалось кулинарными рецептами великого французского мудреца. И каково вам тогда будет, господин Вольтер? Не знаете? В таком случае я, человек, обожженный этим ядовитым пламенем и отравленный пропитанным серой дыханием, вам скажу: вы почувствуете себя великим французским глупцом».

На этом «глупце» чернила брызнули из-под пера, заливая бумагу. Надо будет переписать. Притом два раза. И копию отправить в Венецию. Предоставить правде лишний шанс.

Всего переписать он не успел. За дверью опять послышался шум. Машинально схватив шпагу, Джакомо выглянул в коридор, но никого не увидел, если не считать похрапывающего у стены Быка. Да уж, лучшего охранника не сыскать. Звук повторился: то ли шуршанье пересыпающегося гороха, то ли топот легких ножек. Да это же Этель и Сара. Ну конечно, они. Придется задать девчонкам перцу. Но не сейчас, сначала надо опорожнить переполненный мочевой пузырь.

Войдя в угловой чулан, Джакомо сбросил крышку огромного бака, нацелился в невидимую бездну. Какое облегчение! Но что это? Откуда свет? Из окна напротив. Кто там возится в кухне? Иеремия? Да. Этому все мало. Лопает по ночам, будто его днем не кормят. Кто из него вырастет? — в лучшем случае второй Василь. Табуретку подставляет. Ну конечно, жрать надо с удобствами. Но при чем тут веревка? Что?..

До финала было еще далеко — пенистая струя летела вниз с неослабевающей силой, — когда Джакомо с ужасом понял, что там, в полумраке кухни, происходит на самом деле.

Надо немедленно туда бежать, но... он вынужден был стоять на месте, беспомощно глядя, как мальчик без колебаний, медленно и размеренно, словно занимаясь привычным делом, влезает на табуретку и перекидывает через балку длинную

веревку. Джакомо хотелось бы ошибиться — может, это какие-то щенячьи забавы с веревкой, новый номер, который мальчик собирается им утром продемонстрировать, — но рядом с головой Иеремии закачалась петля, безжалостно и однозначно свидетельствующая, что он не шутит. Закричать? — но что толку, стены толстые, оконца узкие, как в крепости. Казанова рванулся, попытался заткнуть проклятый фонтан, но результатом стала лишь лужица на полу и досадное сознание, что потеряна бесценная секунда. Быстрее, быстрее, должен же когда-нибудь этому извержению прийти конец. Конец. Что за отвратительное, жестокое слово. Как острие шпаги, как дуло ружья после выстрела, как — Боже, нельзя этого допустить! — шуршанье веревки, затягивающейся на шее. Нет! Что этот несчастный делает!

Джакомо бросил в окно шпагу — боль в пальцах напомнила, что он сжимает ее в руке, — но не попал. Стекло не разлетелось вдребезги вместе с ужасной картиной: Иеремию, всовывающий голову в петлю. Свет померк, уже почти ничего нельзя было различить, кроме тени в центре этой картины, и вдруг тень качнулась... Все. Господь милосердный, он это сделал, сделал. На его, Джакомо Казановы, глазах. Грязная свинья, дырявый пивной бочонок, жалкий раб своего пузыря!

А вот и нет. Он уже свободен. Помчался стремглав, придерживая сползающие панталоны. Ступенька, поворот, шершавая стена, загородившая путь. Джакомо оттолкнулся от нее, прыгнул вперед. Скорее, тут решают секунды. И вдруг, наступив на что-то мягкое, растянулся на полу. Иисус, Мария! Не успеет. Однако мгновенно собрался с силами, привстал на четвереньки и — не обращая внимания на жалобные проклятия Быка, не чувствуя боли в придавленной руке, отчаянно, всем телом, — ударился в кухонную дверь. Теперь счет шел уже не на секунды, а на вздохи. Есть! Медленно покачивающаяся тень. Что ты сделал, засранец, что ты сделал!

Ум работал четко, любая ошибка могла привести к непоправимому, поэтому, еще не видя висельника, Казанова схватил со стола нож. Тело Иеремии, какое-то крохотное и словно подернутое серостью, качалось выше, чем ему показалось. Джакомо приподнял мальчика, чтобы ослабить петлю, но не сумел дотянуться до веревки ножом. Свой просчет он осознал слишком поздно. Ножа мало, нужна еще табуретка. Но чтобы дотянуться до табуретки, надо выпустить худые ноги мальчика, а тогда искорка жизни — а он верил, хотел верить, что она еще теплится в маленьком теле, — бесповоротно угаснет. Что делать? Вскоре даже надежды не останется — у него затекут руки, и теплое еще тело под собственной тяжестью повиснет, затягивая петлю. По его, черт возьми, вине...

Джакомо хотел позвать на помощь, но, прежде чем голос ему повиновался, в кухню с шумом кто-то вошел. Казанова не успел обернуться, как над его головой просвистел какой-то предмет, и внезапно освободившееся тело Иеремии мягко на него свалилось, а рядом упал на колени сбитый с ног силой собственного прыжка Бык. Откуда у него эта кривая сабля?

У меня бы мог быть такой сын, подумал Джакомо, на негнущихся ногах бросаясь вперед. Что же ты сделал, что ты сделал, сынок? Положил мальчика на стол, прижался ухом к груди. Жив? Услышал только стук собственной крови в висках. Ждать больше нечего. Если что-то можно еще сделать, это во власти одного только Бога. И его, понятливого ученика доктора Готье, который за свою практику был сочтен растлителем молодежи и изгнан из Парижа.

Распутав веревку на шее Иеремии, Джакомо со злостью швырнул ее на пол. Какой ужас. Ведь мальчик решил покончить с собой из-за него. Из-за его дурацких затей. Животный магнетизм, чудеса, левитация. Сила сверхъестественная, а немочь обыкновенная. Тысяча чертей, сегодня следовало быть с ним помятче. Если бы знать... Он же еще ребенок, подумал, торопливо расстегивая рубашку на худенькой груди Иеремии.

— Свет, зажги свет, — крикнул подымающемуся с пола Быку. Склонился над мальчиком и, зажав ему пальцами нос, выдохнул весь воздух из легких в полукоткрытый рот. И еще. И еще. И еще. Доктор Готье мог делать так и сто раз. Только пониже нагнуться и сильнее впиться в губы. Но что это?! Вкус жизни, а не смерти. Значит, не все потеряно? Несомненно. Еще раз. Еще.

Мальчик не шевелился, и ничто не указывало, что на это есть хоть малейшая надежда. Пациенты доктора Готье давно бы уже встали и церемонно поклонились своему спасителю. Он однажды видел нечто подобное. Но сейчас видит только закрытые глаза и беспомощно открытый рот Иеремии. Хуже того: он сам начал задыхаться и, похоже, вот-вот потеряет сознание. Все вокруг стало затягиваться черной пеленой. Надо отдохнуть, но отдыхать нельзя, дорого каждое мгновение. Нет, он должен передохнуть. Пошатнулся, но успел схватиться за стол. Желудок подско-

чил к горлу. Спокойно, спокойно. Держись, малыш, еще минуточка. Лишь бы не грохнуться в обморок.

Внезапно Джакомо почувствовал на затылке смрадное дыхание: чья-то тяжелая туша отталкивала его. Обернувшись, он напряг зрение: глаза еще не привыкли к угрожающе пульсирующей темноте. Долго гадать не пришлось. Казанова увидел искривленную странной улыбкой рожу склонившегося над Иеремией Быка. Боже, только не это! Пьяная скотина. Из-за таких извращенцев затравили доктора Готье. Вон! Куда лезет?! На место! От одного вздоха, вылетающего из вонючей пасти, можно свалиться без чувств. Целоваться захотелось? Пожалуйста — пускай поцелует его в задницу. Но к мальчику не смеет прикасаться!

Собрав все силы, Джакомо пнул Быка в щиколотку. Великан, понурившись, попятился, беззлобно бормоча что-то себе под нос, — непохоже было, чтобы он горел желанием дать сдачи. Наверно, сам не понимает, что делает, пьяная образина. Чудо, что не покалечил Иеремию своей саблей. Как бы сейчас исподтишка не располосовал его сзади... Эта мысль прибавила сил. Джакомо быстро нагнулся к мальчику. Вдох — выдох. Вдох — выдох. И настороженный взгляд через плечо — не летит ли на него вооруженное огромной саблей чудовище. Однако, прежде чем он разглядел в полумраке забившуюся в угол фигуру, дверь медленно приоткрылась, и тусклый свет лампы вырвал из темноты перепуганные личики близняшек и высоко над ними заспанную физиономию Василия. Но все это произошло секундой позже.

До того на столе что-то изменилось. Он это услышал, почувствовал? Понял во внезапном озарении? По-видимому, все сразу. Но что, что? Иеремия продолжал лежать неподвижно, не подавая признаков жизни, с мертвенно бледным лицом. Где же надежда, вспыхнувшая минуту назад? Опять он обманулся? Махнул рукой: пусть войдут, случилась беда, вот что. И в этот момент Иеремия громко икнул и открыл глаза. Значит, все-таки произошло чудо, благодарение Господу и — Джакомо вытер рукою рот, — доктору Готье. Мальчик, похоже, не понимал, что с ним, но, увидев Казанову, испуганно заморгал.

Меня боится, меня, который заменил ему отца, который хотел сделать из него великого артиста, прославленного на всю Европу, который ни одной розги не сломал об его спину, словом не попрекнул после сегодняшнего провала. Вот она, плата за его доброту, за выкачанные досуха легкие. Что этот мальчишка воображает? Кто его вытащил с того света? От судьбы убежать думал? Наивное заблуждение. От судьбы никому не убежать. Ну, может, мало кому. Кое-кто все-таки убежит, притом скоро. Одно такого он сам знает.

— Приветствую тебя. Ты дома.

Слабая, но счастливая улыбка Иеремии. Злости как не бывало. Может, еще из мальчика выйдет толк. Не всё же, надо надеяться, вытрясла эта крепкозада корова. Что-то от его необыкновенного дара, возможно, осталось, пускай хоть искра или даже едва тлеющая искорка; не беда, ее можно раздуть в костер до небес. Надо будет только всерьез этим заняться. Потрепал Иеремию по щеке. Пусть лежит, не двигается, пока не придет в себя. Отвар мяты. Мгновенно согреет кровь. Он бы и сам выпил чего-нибудь горяченького — Сара уже разводила огонь в плите, — но жалко терять время. Они тут и без него управятся. Джакомо еще постоял минутку, поглядел, как Этель платком вытирает Иеремии лицо. Лишь теперь он почувствовал, какой в кухне холод, а ведь единственная его одежда — собственная шкура. Полуобнаженный и босой — ну и вид у него, должно быть. Будет здесь торчать, наверняка схватит воспаление легких, и завтра злые языки раструбят, что он струсил. Не дождетесь.

Казанова нагнулся, чтобы вытащить застрявшую между пальцами ноги крошку, а когда выпрямился, ощутил на голой спине грубую шерстистую рубашку. С удивлением обернулся. Василь. Волосатый, как обезьяна, и рожа как у обезьяны, выпрашивающей морковку. Ну и почитатели у него. Дождался! Неожиданно для самого себя улыбнулся Василию и вышел, чтобы окончательно не расчувствоваться. Рубашка воняла козлиным потом и липла к спине, но он и виду не показал, как ему противно. А то еще один вздумает сунуть голову в петлю...

За дверь, однако, он сорвал с себя эту пакость и швырнул в глубину коридора, не сомневаясь, что расстанется с вонючей тряпкой навсегда. Но не успел сделать и шага, как рубашка оказалась у него на голове. Кто-то его придержал, кто-то обхватил шею руками. Джакомо даже не вырывался, не пытался оказать отпор. В глубине души он этого ждал. Головорезы Браницкого или какого-нибудь другого дьявола. Явились, чтобы его убить. Ну, скорей же. Чего они ждут? Он готов. Может, хоть

последнее доброе дело зачтется ему на небесах. Как там будет? Как там будет? Этот вопрос вытеснил все прочие мысли. Словно на этом свете его уже ничто больше не интересовало. Как? Наверно, темно, но уж конечно никакой вони. Он задохнется от этого смрада еще до того, как убийцы решатся всадить ему под ребро нож или перерезать глотку. Почему они медлят? Пускай делают свое, лишь бы кончились мученья. Это конец? В самом деле? Должно быть, конец, раз даже пошевелились нету сил. Он уже мертв?

— Хватит.

Кто это сказал? Почему по-французски? Местные бандиты не столь образованны. Голос знакомый. Ну и что — ему знакомы тысячи голосов. Клепсы на шее внезапно разжались, мышцы невольно напряглись, и мерзкая тряпка взлетела высоко вверх.

— Браво, господин Казанова. Первый правильный поступок.

Огонек сигары приблизился к лицу. Даже не узнай он голоса, запах крепкого табака подсказал бы, кто перед ним. Полковник Астафьев. Призрак или сон?

— Я, разумеется, не трюк с рубашкой имею в виду, ни, тем более, дурацкое паясничанье при дворе. А вот идея прикончить Браницкого вполне достойна вашего ума.

Это не сон. Явь. Неужели так плохи его дела? Полковник, надо полагать, не развлекаться сюда приехал...

— Я не собираюсь никого убивать. Это дуэль, — растерянно пробормотал Джакомо. — У меня не было другого выхода.

И сейчас нет. Он чувствовал это спиной, за которой затаился кто-то, верно, только и мечтающий — как перед тем рубашкой — обмотать ему шелковым шнурком шею или хорошо рассчитанным ударом проломить череп. Чувствовал всем телом, внезапно одревеневшим, неспособным сопротивляться, точно заранее знал, что это бессмысленно. Он почти видел усмешку на лице Астафьева.

— Отлично, отлично, дуэль. Но дуэли по-разному кончаются. Предположим, с Браницким случится беда, скажем, душа выпорхнет через небольшое отверстие, к чему вы, господин Казанова, будете иметь самое прямое отношение. Что тогда произойдет, как, по-вашему?

— Не знаю. — Он услышал свой жалобный голос и от стыда набрался наглости: — Не знаю, и меня это нисколько не интересует.

— А жаль. Больше того — это ваша ошибка. Сегодня, впрочем, не первая. В самом деле: почему б вам не пригласить нас в комнату?

Сигара подвела к самому подбородку. Джакомо не ответил, загнипнотизированный движением огненной точки.

— Ну ладно, Бог с тобой. Нет у нас времени тут рассиживаться. Будем считать, что этой ошибки не было, идет?

Бандит за спиной громко загоготал. Куц? Нет, уж скорее тот, что не выпускал его из печи.

— Что касается других ошибок... деньги, которые ты потратил на эту шлюху, придется вернуть. Мы золотом не разбрасываемся, любезный. Во всяком случае, не ради потаскух...

Merde, подумал Джакомо, не опасаясь, что кто-нибудь прочтет его мысли, не понимаешь, что говоришь, евнух. Ради такой добычи никаких денег не жалко.

— А твой визит к Репнину, к послу Репнину... Своим длинным языком ты причинил нам немало хлопот. Но... что было, то быльем поросло. Только учти... — вспомнив, что сигары существуют также и для того, чтобы их курили, глубоко затанулся, — в следующий раз за подобную оплошность заплатишься головой. Понял?

Понял. И еще понял, что на этот раз выйдет из переделки живым. Опять ощутил холод, ледяной каменный пол обжигал босые ступни. Поскорей бы вернуться к себе...

— Поговорим о более приятных вещах. Итак, ты убил Браницкого. Что дальше?

— Я не хочу никого убивать.

— Хорошо. Но, предположим, Браницкий погибает на дуэли. Я тебе расскажу, каковы примерно будут последствия. Его сторонники — а их немало, и весьма влиятельных, — учуяв, что тут не обошлось без сторонних сил, а возможно, и короля, поднимают бунт. Армия восстает против трона и отказывается усмирять мятежников. Смута, хаос. Что делать королю? Его величество вынужден обратиться к нам за военной помощью. Мы, разумеется, ее оказываем — незамедлительно и, так сказать, бесповоротно. Не задаром, естественно. С золотом, правда, не только у тебя

туго, но ничего, обойдемся без золота. Ценой будут некоторые уступки, допустим, территориальные.

Не боится, что кто-нибудь услышит? Но кто, например? Пьяный вдребедан Бык, Василь, которого они сами к нему подослали, девчонки или едва восставший из мертвых Иеремия? Н-да, отличные у него союзнички. С такими в лучшем случае блох ловить. Никто его не защитит. Даже Пестрый уже несколько дней как куда-то запропастился. Приходится рычать самому.

— Я пойду к королю.

Опять дыхание того, второго, на затылке. Перегрызет шею или грохнет лбом в темя, так что эхо, прокатившись по лестнице, понесется на улицу? Астафьев кончиком сигары прервал размышления над этой мрачной загадкой.

— Попробуй. Кстати, он уже знает, кто ты. Прикажет страже вышвырнуть тебя ко всем чертям. А то и собак натравит. Надо думать, ты не всех с его псарни распустил? А?

Ноги подламываются. Они знают все. И про собак Репнина, и, вероятно, про заколотого караульного. Придерживаясь за стену, чтоб не упасть, Казанова сполз на пол. Желание бунтовать бесследно пропало, осталась только усталость, смертельная, сдавливающая горло усталость. И горькое удивление: неужели он больше ни на что не способен?

— Я не хочу никого убивать.

— Придется. Другого выхода у тебя нет.

Знает, что говорит, скотина. Заманили его в западню, загнали в угол. А ведь он и без них собирался продырявить этого надменного хлыща или, по крайней мере, изукрасить его бритый затылок, чтоб надолго осталась память. Но теперь все приобрело иную окраску. Ему отводится роль статиста в политической интриге, дьявол махнет хвостом, и он бросится крушить троны, переносить границы, убивать, калечить, и не одного Браницкого — тысячи ни сном, ни духом не повинных людей.

— Я смогу уехать?

— Отчего же нет? Думаешь, мы тебя держим?

Какой невыносимый гогот — трескотня сороки над задремавшим в траве котом. В аду такое может присниться! Хорошо, он им покажет, как униженность превращается в высокомерие, как повернутый поднимается, расправляет плечи, гордо вскидывает голову. Если б не этот смех, эти парализующие волю бессловесные проклятья... Нет, не будет он ничего никому показывать. Просто просидит здесь до утра. Лишь бы оставили в покое. Чтоб их черти рогатые! Спрятал голову в колени. Да хоть бы и убили, пускай.

— Вставай!

Ладно, ладно, он сам собирался встать.

— Быстрее!

Жаль терять минуты и слова на этих скотов.

— Выпрямись!

Знал бы ты, болван, какая прямая у него спина, насколько он готов к бою.

— Сдвинь ноги! Живо!

Сейчас. Минутку.

— Шпага!

Холодок стали в руке. Бог мой — шпага! Настоящая шпага. Взвесил ее на ладони. Самая что ни на есть настоящая. Не слишком тяжелая и не слишком легкая. Чувствуется работа мастера. С чего это они проявляют такую заботу?

— Будь осторожен. Достаточно его поцарапать.

Эти слова дошли до сознания Казановы, когда, уже не обращая на них внимания, только мечтая, чтобы пол, а затем и земля расступились и навсегда поглотили полковника Астафьева и его многотысячную рать, он бросился к себе в комнату. Вот, значит, как! Отравленное острие? Очередная шутка или сон? Не остановился, не обернулся. Крепче сжал рукоятку шпаги. Глупая шутка. Кошмарный сон. Пропади они пропадом!

Лошади тронулись, не дожидаясь приказа, — видно, место дуэли кучеру указали заранее. Ехали молча, и когда Браницкий коротко о чем-то спросил, это показалось бестактностью. У Казановы болел живот и шумело в голове, за обедом он позволил себе наестся так, словно его долго морили голодом. Глупец, кто же обжирается перед поединком? Браницкий только усмехнулся, когда он ему об этом сказал. Было холодно, тихо и нереально. Пофыркивание лошадей, желчь во рту, колено человека,

которого он должен убить, рядом с его коленом, все более убогие дома за окном кареты, свежий снег на полях.

Реальность вернулась, когда экипаж остановился у ворот парка. Оба торопливо вышли — каждый со своей стороны — и, уже не прикидываясь ни друзьями, ни уверенными в себе забияками, тяжело зашагали вперед по грабовой аллее. Джакомо обеими руками сжимал шпагу — свою спасительницу. Тем не менее тревога росла. Почему у графа на боку только кривая сабля? Может, кто-нибудь другой — он незаметно огляделся — несет его шпагу? Трудно сказать. За ними следовала целая свита офицеров и слуг. Никого из них Казанова не знал. Даже седовласого генерала, дружески ему улыбающегося, видел впервые. Хорошо хоть, нет наголо обритого хама, в присутствии которого произошла ссора.

Аллея заканчивалась скамейкой и каменным столом, испещренным какими-то латинскими надписями. Как только они остановились, воцарилась тишина, еще минуту назад нарушаемая шуршанием гравия под ногами приспешников Браницкого. И тотчас произошло то, чего Джакомо ждал всеми своими вдруг обострившимися нервами, всем, точно заживо ободраным, телом. Один из офицеров положил на каменную столешницу два больших пистолета. Боже — ему конец! Все пропало.

— Ты ведь, сударь, выбрал шпаги.

Браницкий его даже взглядом не удостоил, лишь небрежно пожал плечами:

— С незнакомыми я дерусь только на пистолетах.

Это было как удар между глаз. Граф что-то знает или просто хочет лишний раз его оскорбить? Ответить Джакомо не успел — седой генерал отчаянно замахал руками:

— Вы что, граф, драться хотите?

— А как же.

— Упаси вас Бог. За это головой можно поплатиться. Поединки строжайше запрещены. Предоставьте решить спор его величеству, пусть он вас рассудит, но драться — нет, исключено.

— Я тебя не задерживаю, генерал, — злобно прошипел Браницкий, — однако требую сохранения тайны. Я должен сатисфакцию господину Казанове и, с божьей помощью, намерен возратить долг.

Лицо генерала сделалось одного цвета с волосами. Он повернулся к Казанове. Почему в глазах старика такое отчаяние? Неужто ему и вправду грозит не только пуля Браницкого, но и топор палача? Не чересчур ли много для одного человека? И вообще, пусть разбираются сами. Он здешних законов не знает.

— Ты не можешь драться, сударь.

Не могу, но должен, неужели добродушный старикан этого не понимает?

— Коли уж меня сюда привезли, я буду драться. Буду защищаться в любом месте, даже в церкви. Разве что граф выразит сожаление и извинится за то, что вчера меня оскорбил.

Слова, слова, какая в них живительная сила! Джакомо сразу приободрился. Браницкий не ответил, только выругался себе под нос и демонстративно принялся снимать плащ. Торопится. Кажется, сегодня не съел ни крошки. Ясное дело — ему есть куда спешить. Вот только застрелит его, Казанову, невесту откуда взявшегося чужака без роду, без племени, лихо плонет на раскаленное дуло и наконец сможет нажраться и напиться вволю. Скотина!

Генерал, кажется, едва сдерживал слезы.

— Я должен был быть вашим секундантом. Но, видит Бог, не могу.

Джакомо поклонился, чтобы не огорчать славного старика, хотя и тот начал его раздражать. Будь что будет. Браницкий, не задумываясь, нашел замену: небрежным движением руки подозвал молодого офицера с лицом хищной птицы. Если б Казанову сейчас что-нибудь могло потешить, он бы порадовался меткому сравнению. Минуту спустя в неожиданном коротком смешке — не послышалось ли ему? — своего нового секунданта он узнал знакомую сорочью трескотню. Невидимый пособник Астафьева? Вон оно что. Это одна банда. Но ведь... Задумывалось все совсем по-другому. Джакомо позволил секунданту снять с себя плащ.

— Я не умею стрелять. Он меня убьет, и вся недолга. Что тогда?

Офицер равнодушно поглядел ему в глаза. Не понял или не расслышал?

— Советую встать боком, втянуть живот и не слишком долго целиться. Вот так. Пустое. Даже если втянуть живот до самого позвоночника.

— Вся ваша интрига полетит прахом. Хоть это приятно.

Офицер больше не притворялся глухим. Но выражение его лица не изменилось; равнодушные если не притворное, то просто нечеловеческое. Впрочем, смешно

было бы ждать от преследователей сочувствия. В приступе внезапного отчаяния Джакомо вдруг захотелось напоследок подложить им свинью: пусть лучше попомнят его, чем запомнят как труса. Сейчас он заставит этого офицера содрать с рожи непроницаемую маску.

— Я предпочитаю сто раз погибнуть, чем оказать вам услугу. Не будет этого. Никогда, слышите, никогда!

— Вынужден вас разочаровать. Нам, в общем-то, безразлично, кто погибнет. Это был не голос, а шипенье паленой кожи.

— Если он — ты уже все знаешь. А если ты — тоже неплохо. Королю придется арестовать Браницкого за нарушение закона, а уж мы позаботимся, чтобы скандал получился громкий. Начнутся беспорядки, бунты в армии и тому подобное. Без помощи императрицы, опять же, не обойдется. Тем более, что специальный корпус наших войск сегодня утром пересек границу и спешит королю на помощь.

Что за стук? Череп раскалывается, или всего лишь упали на каменный стол уже заряженные пистолеты? Сволочи, приспешники дьявола! У него еще есть шпага. Слишком далеко лежит. С одного прыжка не достать, а второй ему не дадут сделать. Пресвятая Дева, им мало его убить, они и труп хотят использовать для своих гнусных целей. Для успеха заговора против короля! Некрофилы проклятые, пусть со своей императрицей играют в эти игры, с ним у них ничего не выйдет.

Схватил офицера за плечо, правда, с оглядкой, чтобы никто ничего не заметил:

— Я могу им все рассказать.

Опять затрещала сорока — отрывисто, издевательски. Браницкий уже приближался с пистолетами в руках.

— Попробуй. Тебя просто сочтут трусом.

Он и сам это знал. С отвращением выпустил плечо офицера. Зачем напоследок пачкаться в дерьме? Ему уже ничто не поможет. Это конец. Убийца преспокойно протянул пистолеты:

— Выбирай.

Он взял ближайший. Не все ли равно, из какого промазать. А на второй стоит поглядеть. Из серебристого, старательно выточенного человеческими руками дула вскоре с грохотом вылетит смерть, ему предназначенная, неизбежная. А Бог? Что же Бог и святые угодники? Позволят ему умереть? А скольких вещей он еще не сделал, сколько мыслей не успел записать. Его ли вина, что он попал в руки преступников?

— Целься пониже, эти пистолеты дают большой перелет.

Даже в аду сохраняется крупица надежды. Пресвятая Дева, эта царская гнида, этот пособник сатаны учит его, куда целиться, проявляет заботу. Нет, еще не все потеряно. С такими друзьями, Джакомо, ты высоко взлетишь. Итак, вперед, начинай, не заставляй себя просить. Все тебя ждут. Браницкий, Катаи, король, императрица, все святые. Ну же.

— Хорошее оружие выбрал.

— Это я проверю на вашем черепе.

Пять шагов по гравии аллеи. Дальше чахлые кустики, истоптанная копытами грязь. Докуда бы он добежал, если б, вопреки здравому смыслу, вдруг пустился наутек? Не далее, чем до ближайшего пруда, а там — головой в воду. Повернулся, поднял руку с пистолетом. Внезапно вокруг будто посветлело, все приобрело четкие очертания. Джакомо видел густую поросль волос на обнаженной груди Браницкого и даже капли пота у него на носу. Но яснее всего — пока еще опущенное книзу дуло пистолета. Колеблется? Неужели не все потеряно? Merde, он не колеблется, он уже целится, но не в голову, не в сердце, а в живот. И даже не в живот — дуло опускается! — в низ живота, в пах, святые угодники, смилуйтесь... в яйца! Это чудовище хочет оскотить его перед смертью. О нет, только не это!

Ждать было нечего. Казанова поспешно заслонил ладонью живот и, точно шпагой, ткнул пистолетом в воздух, указательным пальцем невольно нажав курок. Грохнуло так, что вороны с пронзительным карканьем сорвались с деревьев. Острая боль обожгла левую руку, но не время было обращать внимание на такую мелочь. Произошло нечто невообразимое. Бог мой, попал! Браницкий пошатнулся и рухнул, как марионетка, у которой обрезали веревочки. Сколько было выстрелов: два или один? Два. Поднес руку к губам. Кровь. Два. Если б секунду назад он не прикрыл живот...

Машинально бросился вперед, первый подбежал к Браницкому, схватил за плечи, попытался поднять, помешать неотвратимому, исправить внезапно разладившийся механизм. Алое пятно на белых панталонах — откуда? Рубашка. Рана пониже груди. Пошатнувшись, чуть не упал, приподнимая тяжелое тело. Почувствовав

движение за спиной, скосил глаза: к ним бежали четверо из свиты Браницкого с саблями наголо. Господи, как же так? Его зарубят — сейчас, когда он чудом остался жив. Варвары, дикари, быдло, это ведь дуэль. Довольная рожа царского агента. Бежать! Это ему еще по силам. Но, когда он опустил Браницкого обратно на землю, тот вдруг открыл глаза:

— Умираю...

Хриплый шепот вырвался словно из наливающейся свежей кровью раны. Нет, сейчас никакой шепот и даже слабая улыбка не произведут впечатления; твердый взгляд и громовой голос — вот что нужно! И без промедления, ведь они уже близко. А у него даже шпаги нет. Даже палки. Ну и пусть! Он не позволит искромсать себя как не нюхавший пороха юнец. И, схватив Браницкого под мышки, напрягши все силы, подтянул кверху и поволол. Два невероятно трудных шага, и спина коснулась ствола могучего дерева. Теперь пускай попробуют его тронуть, свиньи. Видят, что он вытаскивает из манишки и подносит к шее их господина? Булавку — крошечный острый кинжал. Два дюйма венецианской стали — это не шутка. Достаточно, чтобы оборвать любую жизнь, а не только такую, едва теплящуюся.

— Стой!

Браницкий чуть не выскользнул у него из рук, но окрик прозвучал грозно и повелительно. А эти четверо уже заносили сабли.

— Прочь, каналы!

Они растерянно замерли, понурились, как псы, у которых силой отнимают добычу, однако повиновались. Обошлось! Еще секунда, и этого бы не случилось, потому что Браницкий снова бессильно осел на землю. Он не должен умереть, иначе все будет кончено. Не сейчас, так чуть позже люди графа с ним разделаются. Они оба должны остаться в живых, наперекор заговорщикам, замахнувшимся на короля. Быстрее, в одиночку эту тяжесть долго не удержать. Какой-то офицер подскочил, подхватил Браницкого с правой стороны. И — бегом вперед. В ста шагах от ворот парка трактир, там, наверное, есть горячая вода, тряпки, чтобы перевязать рану, может быть, даже врач. Должны же они были предусмотреть такой поворот дела...

Силы быстро покидали Джакомо. Вначале он держал Браницкого за руку, но, пробежав с полсотни шагов, почувствовал непреодолимое желание самому опереться на эту руку. Его сменил какой-то усатый великан, похожий на Василя. Но оттеснить себя от раненого Джакомо не позволил, опасаясь тех, что бежали сзади, и ухватился за ногу в сверкающем офицерском сапоге, тяжеленном, точно отлитом из свинца. То и дело спотыкался, сапог выскальзывал из рук — кровь из собственной раны мешала крепко его держать. Будь милосерден, Господи. Еще немножечко. Только бы добежать. Потом он что-нибудь придумает. Но не добежал, не удержал скользкую тяжесть. Они уже были за оградой парка, на ухабистой дороге, покрытой неглубоким грязным снегом. Нога графа, как подрубленное дерево, медленно опускалась и в конце концов ударилась о землю, обдав грязью и кровью все вокруг. Браницкий застал, открыл глаза. Казанову оттолкнули, отгородили спинами, но и так было ясно, кого искал взгляд графа.

— Беги отсюда.

Браницкий сказал это или просто его губы едва заметно искривила гримаса боли? Сказал. Но только Казанова услышал эти слова. Кто-то что-то крикнул, кто-то сунул ему забрызганный грязью плащ графа, и опять все тяжелой рысью устремились вперед. Джакомо бежал рядом с офицерами, несущими раненого, потом, отстав, уже один, позади. На него никто не обращал внимания. Решиться он ни на что не мог — слишком ослабел, слишком отуманен был болью и страхом. Пришел в себя только в корчме. Все рассыпались кто куда, низкий потолок гудел от шагов и проклятий. О нем, похоже, забыли. Бежать. Немедля.

Какая-то фигура загородила дверь. Смех — уже не сорочья трескотня, а сатанинский хохот — заставил Казанову замереть. Царский прихвостень, посланец ада. Этот про него не забыл. Задержать хочет? Сверкнуло лезвие. Не задержать — убить. Добить раненого и безоружного. Такой, значит, план родился в их грязных мозгах?

Нельзя упустить момент. Не для того разве его неделями обучали, не для того он исходил потом и сносил оскорбления капитана Куца, чтобы теперь показать, на что способен? Обмотал плащом руку и шагнул вперед. Тот тоже не зевал, бросился на него, не сомневаясь в преимуществе кинжала. Первый удар порвал сукно, второй разодрал свисающий рукав. Скверно. Он теряет силы и время. У него есть всего

несколько секунд, чтобы не остаться в проигрыше, не дать этому негодяю себя зарезать или тем — до смерти забить. Как его учил Куц, сам сатана Куц, Джакомо сделал вид, что отступает, а когда нападающий, уже уверенный в победе, кинулся на него, разразившись своим сорочьим смехом, — сейчас уколется, проткнется, перережет горло! — с полуоборота двинул его ногой в лоб. Голова мотнулась, как резиновая груша, на которой он отрабатывал удары. Вторым пинком Джакомо выбил из пальцев противника кинжал, третьим — подсек под колени. Глухо стукнул затылок о каменный пол. Казанова потянулся за кинжалом. Сейчас он, достойный ученик сатаны Куца, всадит стальное лезвие в глотку его дружку по самую рукоятку, пусть подавится, сволоч. Размахнулся, но... куда бить, если человек у его ног вдруг забился в ужасном припадке, колотясь головой и пятками об пол, воя и выплевывая пену? Господи Иисусе, дьявол, дьявол во плоти! Джакомо, не выпуская кинжала из правой руки и плаща из левой, протиснулся между стеной и корчащимся на полу телом и бросился к двери.

Он бежал, а потом шел, не разбирая дороги, едва не теряя сознание, не ощущая ни боли, ни холода, и остановился, лишь когда его догнали крестьянские сани.

— Варшава! — крикнул он, протягивая на ладони дукат. — Варшава!

Ему еще хватило сил, чтобы твердо пройти последние несколько шагов, но на брошенный для него на дно саней мешок с сеном он свалился, уже не чувствуя ни рук, ни ног, чуть не выбив себе зубы. Закутался в плащ Браницкого, напряг всю свою волю, чтобы не впасть в беспамятство. Катаи, что он ей скажет? Кто скажет, при чем тут Катаи? За такие груди никаких денег не жалко. Левая, с крошечной родинкой, словно чуточку меньше правой. Лили, прелестное дитя, он теперь никогда с ней не расстанется, пусть только сейчас поддержит ему голову, а то шея отказывается служить, пусть подопрет пальчиками веки, а то он провалится в темную бездну... Отрезвил его раздражающий легкий и горло кашель. Он жив. Он будет жить. Помалу стал приходить в себя. С каждым причмокиванием возницы, фырканием лошади и стоном скребущих по грязному снегу полозьев в голове прояснялось и крепла уверенность в том, что он уцелеет, что ничего плохого уже случиться не может.

У самого въезда в город Джакомо услышал громкий топот. Он не испугался и не схватился за кинжал, ведь звук доносился не сзади, а спереди. Лишь когда всадник, не обратив на них внимания, опретью проскакал мимо на роняющем ключья пены сивом коне, в лысом лихаче, яростно размахивающем саблей, Казанова узнал ближайшего дружка Браницкого.

Теперь можно было с уверенностью сказать только одно: что ни в чем нельзя быть уверенным.

Finale

Жизнь — просто-напросто искусство самоограничения. Эта фраза уже не первый час вертелась в голове. Откуда она взялась? Черт знает. Вольтер? Пожалуй, нет. Какое самоограничение при его непомерных аппетитах? Но, с другой стороны, изречение вполне в духе нашего философа, очередной перл из его коллекции банальностей. Итак, Вольтер. А может, и нет. Мало ли таких бесхозных афоризмов засоряют мозги? Хорошо, он попробует применить его к себе.

И потому даже не шелохнулся, когда — в который уж раз! — услышал шаги в коридоре. Не вздрогнул, когда в замке со скрежетом повернулся ключ и со стуком упал засов. Ничего интересного ждать не приходилось. Вероятно, тот самый детина в рясе, который тогда не пускал его в монастырь и уступил, лишь будучи повален на пол и обрызган кровью из раненой руки. Крадется — наверно, решил отомстить, служителям Бога не чужды земные слабости, а жилистым лапам может позавидовать профессиональный душитель. А, все равно. Он, Казанова, не станет сопротивляться. Не сумеет, не хочет, не в состоянии. Всему есть предел. Сколько можно ждать, прислушиваться к шагам за дверью, бросаться с надеждой к каждому переступающему порог остолопу, паясничать перед ним с пересохшим от волнения горлом, чтобы в конце концов выслушать кучу обещаний, и снова ждать, как зверь, навечно заточенный в клетку? Сколько это продолжается, сколько — не дней, Господи Иисусе! — недель? Три, четыре?

Джакомо потерял счет времени, да и зачем нужно знать, какой день на дворе, если надежда убывает с каждым часом? Но на этот раз шорох, нарушивший воцарившуюся было за дверью тишину, показался ему необычным. Почудилось?

Раньше он слышал такое по пять, по десять раз на дню, но сейчас... неужели приснилось? Нет — шорох повторился, стал громче. Это не может быть ни один из тех вельмож, что в первые дни слетались сюда, как мухи к гниющей падали, возбужденно гудели в коридоре, бренчали орденами и шипели от сдерживаемого смеха, когда он в сотый раз рассказывал, как Браницкий со стоном упал в грязь.

Верно, это один из неразговорчивых писарей, приносивших ему кипы книг и рукописей. Пошли они к черту со своим наглым усердием! Он больше ни слова не напишет. Да, была у него охота, но пропала. Конеч, schlus. Что написал, то написал. Сдержал свое обещание, пускай теперь Телок что-нибудь пообещает. Как минимум, пару верховых лошадей, полный кошелек и эскорт до границы, чтобы который-нибудь из околачивающихся возле монастыря головорезов, жаждущих отомстить за Браницкого, не вздумал помешать отъезду. А не захочет, не надо. Пускай историю этой несчастной страны ему пишут косноязычные придворные бездари. Хотя бы тот, что сейчас нетерпеливо топчется за дверью, горя желанием бросить на стол очередной опус об очередной национальной катастрофе или загубленных шансах на победу. Господи, что за люди! Что за народ! Столетие за столетием бредут навстречу гибели, пожираемые соседями и собственной гордыней. Точно слепы и глухи. Бог с ними! Он, во всяком случае, не станет больше заниматься чужими бедами — собственных хватает. И открывать им глаза не намерен, наоборот, закроет свои и попробует — по их примеру — слышать лишь то, что пожелает услышать.

Дверь громко скрипнула, словно одобряя его решение. Посетитель был уже внутри. Ну и пускай. Он не проронит ни слова. Не вскочит, о нет! с твердой, как камень, лежанки, не кинется приветствовать вельможного пана. Довольно. Не сдвинется с места, откажется принимать пищу, вообще от всего откажется. Пока его отсюда не выпустят. С королевскими почестями и с королевской охраной, ибо здесь важная охрана важных любящих почестей.

Что-то зашуршало по каменному полу кельи — крыса? шаги безмолвного посетителя? Дверь с тяжким стоном закрылась, а когда стон оборвался, вновь настала тишина. Тишина. Ключ в замке, кажется, не повернулся? Нет. Значит, это не королевский библиотекарь, а более важная персона. Какая разница? Кем бы незваный гость ни был, он пожаловал не вовремя. Господин Казановы нет. Уехал, победив на дуэли, провожаемый слезами друзей и заверениями в дружбе врагов. Здесь остался узник без лица и без имени, готовый терпеливо дожидаться торжества справедливости. Хорошо. Он им покажет, что такое искусство самоотречения. У них волосы встанут дыбом и отвалятся челюсти. Может, только дышать не перестанет, хотя и в этом не уверен. Даже испражняться будет под себя. Как бы ни разыгрался гемморой. Пусть увидят, что он действительно на все готов. Предпочитает живо сгнить, чем и впредь забавлять эту свору. Молчанием заставит их призадуматься, а воню — наконец что-то предпринять. Вот так-то! Прекратятся многолюдные паломничества к «нашему доблестному Казанове», и, быть может, кто-нибудь из этих молодящихся хлыщей подумает, как его отсюда вызволить, вместо того чтобы развлекать бесконечными однообразными рассказами, что Браницкий, как Браницкий, с кем Браницкий. Идите вы со своим Браницким куда подальше, чтоб я вас не видел! Меня не интересуют его заживающие кишki, у меня есть собственные, переворачивающиеся десять раз на дню от вопиющей несправедливости, которая победу превращает в поражение, а победителя — в узника, ждущего помилования. Насрать на такие порядки. Прямо сейчас, немедленно. Почему нет? Пусть этот, первый, все еще не решающийся заговорить смельчак увидит, что их ждет.

Джакомо напрягся, надулся, но эффект был ничтожный. Так, значит? Даже на это он уже не способен? И в эту секунду с порога прошлестел тихий голосок:

— Это я...

Мать Божия, святые угодники, поганый мир! Ему явился ангел, настоящий ангел — Лили! Джакомо мгновенно расслабился, мысленно благодаря Бога, что не слишком поздно, и торопливо вскочил. В темной епанче с полуопущенным капюшоном, оставляющим открытыми только нос и рот, Лили и впрямь была похожа на посланца того мира, в котором самая соблазнительная награда дается лишь после смерти. Да нет, вздор! Разве у ангела может быть такая улыбка? И такой любопытный взгляд? Боже, разве так смотрит дочь на отца? И так его — минуту спустя — обнимает?

Ее прислала тетушка, с едой и запиской. Ага, грудь пополнела, или она как никогда близко к нему прижалась? Что? Ах, корзинка. Но что может сравниться с этим запахом и этими округлостями... Он болен? Нет, почему, неужели так скверно выглядит? Лежал? Лежал. А что здесь еще делать? Можно, конечно, стоять либо

сидеть, но в одиночестве эти занятия лишены всякого смысла. Когда лежишь, по крайней мере, вспоминаются разные приятные минуты. Рука? Зашипел, едва она коснулась повязки, не от боли — скорее, от обиды, что тогда, когда он нуждался в помощи, рядом никого не было.

Она слыхала, что ему хотели отрезать руку? О да, местные коновалы только о том и мечтали, ходили к нему табунами. Но он отлично понимал, что им на самом деле нужно. А она не догадывается, наивная барышня? Впрочем, откуда ей знать, сколько в мире подлости и грязи? Они хотели — это ясней ясного — в качестве презента преподнести Браницкому отрезанную по плечо руку. Выровнять чаши весов. Какое там выровнять — ведь граф поправляется, так что в проигрыше остался бы только он, с пустым рукавом в том месте, которого она сейчас касается. Впрочем, зачем он ее пугает, все эти ужасы позади, он не поддался, выгнал в шею неучей и интриганов, теперь все будет хорошо. Пусть она чувствует себя как дома, снимет накидку, присядет, расскажет, что творится на белом свете.

Свеча... пожалуй, надо зажечь свечу, сумрак сгущается с каждой минутой. Но не сдвинулся с места. Так лучше. Незачем ей видеть его не мытое несколько дней лицо, круги под глазами, пятна на рубашке. Совсем опустил. Позор! Возможно, жизнь — это искусство самоотречения, но стоит ли начинать с собственной внешности? Ведь вчера — вчера или неделю назад? — ему принесли новый парижский костюм, который он заказал еще до выступления при дворе. А рубашки? Целая дюжина лежит в сундуке под окном — их с букетиком засушенных цветов прислали Этель и Сара. А башмаки? — грязные и запыленные, небрежно брошенные в угол, они даже в полутьме сверкают атласной кожей и серебряными пряжками. Так что зачем свеча? Чтобы девочка разглядела его босые ноги, небритую физиономию и несвежую рубашку? Чтобы отпрянула с отвращением?

Итак, он не сдвинулся с места. И она не отстранилась. Наоборот, крепче его обняла и прижалась лицом к этой ужасной рубашке. Влага на груди — неужели плачет? Поднял за подбородок прелестную головку, — это еще что? — и тут слезы потекли ручьем.

— Это все из-за меня.

Да, да, из-за нее, она хотела руки на себя наложить, когда узнала, что он ранен, любимый, единственный, не вступишь он за ее честь... она уже давно рвалась сюда, сразу же... служить ему, как умеет... но ее не пускали, даже сегодня не позволили, но она придумала... а сейчас умоляет, умоляет, чтобы он ее не отталкивал...

Господи, да как же можно оттолкнуть ее, чудесную крошку, чьи слезы красноречивее всякого признания в любви, его заплаканную дочурку, прижимающуюся к нему с отчаянной нежностью. Дьявол! да как же ее не оттолкнуть, если она опустилась перед ним на колени, обхватила их и целует, целует... быть может, это невинные поцелуи, она бы, наверно, так же прижимала к груди тряпичную куклу, но разве трудно почувствовать, что он не из тряпок сделан, а из раскаленного железа? По меньшей мере три недели у него не было женщины. И крохотной искорки хватило б, чтобы ему об этом напомнить. Но ведь девочка, разжигающая в его жилах огонь, не знает, кто она, не понимает, что делает. Не знает... Но он-то — тысяча чертей! — он знает, и чересчур хорошо.

— Погоди, детка... я зажгу свечу.

— Нет.

— Зажгу.

— Нет. Пожалуйста. Пусть все остается, как есть.

Он бы засмеялся, будь на его месте кто-то другой. Не может все оставаться, как есть, — поздно. Пусть лучше будет, как было, доченька. И лучше тебе не знать почему. Джакомо нежно поднял Лили за плечи и отодвинул на безопасное расстояние. Мужчины — скоты. Жеребцы, быки, хряки. С ними надо ухо остро. Ей никто еще этого не говорил? Может, именно ему следовало бы сказать, — разумеется, не сейчас. Он не такой святоша, чтобы испортить необыкновенную минуту провозглашением банальных истин. Впрочем, возможно, это неплохой выход — отец задавит в себе зверя, для которого нет ничего святого, увянет, прочтя мораль. Пододвинул Лили единственный стул, хотел помочь снять накидку, но вовремя удержался. Сейчас лучше не предлагать ей раздеться. Тем более что от окна тянет холодом. Холод и тьма. Уже не спокойный полумрак, царивший здесь четверть часа назад, — темнота сгустилась, покрыв стены графитовой плесенью. Только лицо девочки смутно светилось, да сверкали выбившиеся из-под капюшона локоны. Улыбается? Плачет?

— А что тетушка? Сердится на меня?

Лили даже засопела от возмущения: сердится? почему? кто бы посмел на него сердиться, даже господин граф Браницкий отзывается о нем с уважением. А у тетушки сейчас много работы в театре, наверно потому она его до сих пор и не навестила. Как бы не так, подумал Джакомо. Вот благодарность за то, что он для нее сделал. Графа-то своего она, в конце концов, заполучила. А что досталось ему: четыре грязных стены под неусыпной охраной. И потоки красивых слов вместо свободы. Ах да, еще корзинка с едой.

Женщины тоже животные. Только другого вида. Может быть, птицы. Да, птицы. Ничто, кроме собственного гнезда, их не интересует. А если кто-нибудь попробует в это гнездо вторгнуться, у них есть клювы, и когти, и крылья, которыми можно презрительно махать. Конечно, и с Бинетти выпадали приятные минуты, когда ее гузка милостиво подрагивала, но сейчас это не имеет никакого значения. Он ей больше не нужен. Как будто перестал существовать. Глупая курица! Хотя... не такая уж глупая, раз прислала к нему Лили. Она хоть понимает, сколь это рискованно?

Джакомо протянул руку, погладил, успокаивая, нежную, как атлас, холодную лапку. Лили накрыла его пальцы ладонькой, поднесла к лицу. Знает ли он, как все его любят, как не могут дождаться? Это кто же, хотелось бы знать, чуть не пробормотал он вслух, те, по милости которых он здесь сидит уже какую неделю, или те, что изо дня в день кормят его пустыми обещаниями добиться заступничества короля, или приятели первых, с нетерпением дожидаящиеся, когда он выйдет, чтобы пустить ему пулю в лоб, а пока упражняющиеся на воронах, итак, кто эти «все»? — он хотел язвительно рассмеяться, но подавил и это желание.

Воспоминание о толпящемся перед монастырем сброде, готовом оторвать ему голову при попытке к бегству, подействовало не хуже прикосновения пузыря со льдом к животу. Сейчас он уже мог без опаски зажечь свечу. Склонился над принесенной Лили корзинкой — отчасти из любопытства, отчасти чтобы не огорчать девочку; после сегодняшнего обеда — разваренной капусты со шкварками — даже мысль о еде была пыткой. Сверху лежал небольшой конверт. Ага, письмо. Письмо от Бинетти.

«Офицер, который вручит тебе это письмо...» Какой офицер? Лили, точно услышав немой вопрос, выпалила:

- Тадé.
- Твой жених?
- Да.
- И он тебя отпустил?
- Он для меня все сделает.
- А ты для него?
- Не все.

Казанову в равной мере удивила и ее твердость, и собственная дурацкая несдержанность. Ему-то какое дело? Мало у него неприятностей? Скомкал письмо, почему-то совершенно уверенный, что ничего хорошего там не найдет. Однако любопытство взяло верх. Ну ладно, он только взглянет.

«Офицер, который вручит тебе это письмо, рискует честью. До того дошло, что всякие с тобой отношения грозят ее утратой, притом по твоей, Джакомо, вине».

Что эта баба несет! Она ему будет говорить о чести! Его честь при нем, он ее утратить не может. Подлая! Пусть только когда-нибудь ему попадется — тут они и побеседуют о чести. Но что интересного она сможет сказать, если в пасти у нее будет торчать нечто, никому чести не делающее?

«Завтра мы с королем уезжаем на охоту, а затем в Петербург, где зимы, говорят, бесподобные, а высшее общество жаждет искусства. Так, во всяком случае, утверждает граф. Стало быть, мы никогда больше не увидимся, о чем я ничуть не жалею. По сути дела, Джакомо, ты — сукин сын. Но чтобы не поминал меня лихом, посылаю тебе корзинку того, что — после самого себя — ты любишь, пожалуй, больше всего на свете...»

На мгновенье Казанова рассвирепел. Словно получил оплеуху, пощечину, причем отнюдь не женской ручкой. На обороте была еще приписка, но ему вполне хватило прочитанного, и он сунул письмо в карман. Зачем подставлять вторую щеку? Пускай уезжает. Он не станет поминать ее лихом. Вообще не вспомнит. Неблагодарная тварь — ничего другого она не заслужила. Хотя, — он посмотрел на застывшую как изваяние Лили, — может быть, это не совсем так.

— Она... — ему пришлось проглотить слюну, чтобы не подавиться этим словом, — тетушка... знает, что ты здесь?

— Не знает. Думает, я пошла на урок.

Ах вот оно что. Интересно.

— А он?

— Он не в счет...

Черт, малышка эта — беспредельно наивна или чересчур сообразительна? Много будет понимать, скоро состарится.

— Я...

О нет. Он тоже умеет читать чужие мысли. Никаких признаний, милая барышня. Он еще не решил, как себя вести.

— Хорошенькое дело. Ладно, поглядим, что ты принесла.

Вдруг напильник и моток веревки? Что сейчас — не считая его собственной персоны, — самое дорогое на свете? Сдернул салфетку, прикрывающую корзину, неторопливо приподнял крышку. Наверняка котелок капусты со шкварками. Замер, недоуменно всматриваясь в горку серых раковин. Пока не потрогал рукой, не услышал шуршания льда на дне корзины, не коснулся пальцами выпуклого бока лимона, не мог поверить своим глазам. Устрицы! Настоящие устрицы! Бог мой, да это же королевский подарок. Умница Бинетти, знала, что делает. Пожалуй, он ей простит этого «сукиного сына». А когда обнаружил еще бутылку рейнского, понял, что простит все.

Вытащил из-под стола табурет, на который сажал не самых высокородных гостей, удобно уселся. Нашлась какая-то тарелка, стаканы, салфетка, чтобы вытирать губы. Чего больше желать от жизни, когда перед тобой горка устриц, бутылка вина и девушка? А то, что устрицы не такие свежие, как он любит, вино недостаточно заморожено, а девушка — его собственная дочь... ну и плевать! Живешь один раз и слишком недолго, чтобы придавать значение таким пустякам.

Боль в раненой руке вернула Джакомо обратно на землю. Он зажал в пальцах раковину и попытался было другой рукой ее вскрыть, но предплечье тотчас свела судорога. Попробовал зубами. Безуспешно. И тут она, его Лили, застывшая в позе дремлющей кошки, быстро к нему пододвинулась. С первого раза у них ничего не получилось: Казанова неловко схватил устрицу, и она полетела под стол. Бог с ней. Но потом дело пошло на лад: Лили крепко держала раковину, а услышав треск раздвигаемых ножом створок, выдавливала внутрь капельку лимонного сока и подносила устрицу к его губам. Тогда он — какое наслаждение! — просовывал кончик языка внутрь, подцеплял, вертел, высасывал, пока плотный комочек не проскользнул в глотку. Голова шла кругом. А вино. А возбуждающий запах устриц и пота. Джакомо хотелось, чтобы Лили тоже испытала райское наслаждение, но язычок — прелестный язычок, робко притаившийся меж не менее прелестных губок, — еще не обучен был подобного рода искусству, и вторая раковина усакала под стол. Эту Казанова уже стало жалко, он нагнулся, а когда снова выпрямился с обретенной устрицей в руке, увидел, что Лили сбрасывает пелерину. И в следующую секунду, неведомо как, оказалась у него на коленях.

Пожалуй, это было несколько неожиданно, однако отнюдь не неприятно. Да и почему, сто тысяч старых дев, должно было быть неприятно? Мало ли таких девочек прошло через его постель. Кровосмешение? Подумаешь! А Леония? Он обладал обеими, матерью и дочкой, в одну и ту же ночь. И ничего, мир не перевернулся. Обе были ему благодарны. Устаревший, достойный черни предрассудок.

Они вместе раскрыли очередную раковину, Джакомо извлек из нее устрицу и, легонько придерживая языком, приблизил лицо к Лили. Девочка ждала — с полуоткрытыми глазами и приоткрытым ртом, как птенец в гнезде, дожидаящийся лакомого кусочка. Он всунул устрицу ей в рот, лишь слегка коснувшись губами мокрого клювика, и тут же отстранился. Но — поздно. Лили судорожно его обняла, а когда он за подбородок поднял ее головку, смело посмотрела ему в глаза:

— Я тебя люблю, Джакомо, и всегда хотела быть твоей.

Нет, все-таки она его удивляет. Детская серьезность, пальчики, застенчиво теребящие его грязную манишку, и это неожиданное недвусмысленное признание.

— И я тебя люблю.

Улыбнулся и нежно поцеловал открытый холодный лоб.

— Не так.

Потянула его на себя — он не сопротивлялся, потому что девочка явно намеревалась сорвать с него парик, чего Казанова допустить никак не мог, — и крепко поцеловала в губы.

— Так.

Ею руководит скорее упрямство, чем страсть, но откуда этой телочке знать

разницу. Нет, с Леонией было по-другому. Леония была уже женщина, и достаточно опытная. Какая там женщина — пышнотелая девка, умеющая удовлетворить мужика. А эта — девочка, хрупкая, как тростинка. Ведь в ней что-то раз и навсегда сломается. Потерять невинность в мрачной монастырской келье, на куче тряпья, вдыхая запах тухлятины и слипшейся от пота пудры, с любящим папашей, не переставшим думать о своих геморройных шишках...

Джакомо все-таки решил высвободиться, даже рискуя лишиться парика, устриц и уже материализовавшегося желания, но она повторила маневр, опять попыталась язычком разомкнуть его мертвые губы, и тогда он понял, что у него нет сил противиться. Ничего не поделаешь. В конце концов, много ли хорошего ее ждет в жизни? Пускай лучше отдастся искреннему чувству, нежели прибегнет к арсеналу уловок расчетливого кокетства, чему ее, вероятно, учит Бинетти.

Внезапно со стуком открылось окно. Повяло холодом; с пронизывающим ветром вернулись петербургские воспоминания. Вдобавок, будто по тревоге, забил монастырский колокол. Это был не самый подходящий аккомпанемент к тому, что они делали, и уж тем паче к тому, что собирались делать. Выпутавшись из нежных объятий, Джакомо схватил бутылку и бросился к окну. Сильный порыв ветра распахнул его почти настежь. Казанова захлопнул створки, так что зазвенели стекла, и уже хотел вернуться обратно, но что-то его остановило. Быть может, запах морозного воздуха, быть может, расплывающиеся в сумеречном свете, но еще заметные очертания внешнего мира — дома, костелы, купы деревьев над Вислой, — а возможно, простое любопытство. Ведь где-то там его гонители. Как знать, вдруг он кого-нибудь увидит. Не так уж и темно. Верно, и за ним сейчас наблюдают. О да; вон они, сбились в кучу и наводят на него подзорную трубу: Браницкий, спеленутый тугими повязками, поплывающий сквозь зубы капитан Куц, что-то бормочущие на своем гортанном языке псевдокупцы, Катаи со спрятанным между грудей кинжалом, рябой художник, грозящий отомстить за Полю, Бинетти. Они там. Там все его преследователи, но и свобода там — не здесь; и свет, и жизнь там, а не здесь, в темной норе, чье бы сияние ее ни озаряло.

Никого он за окном не увидел. Только патруль уланов Браницкого со скуки резался у дороги в карты. Колокол звонит, подумал невольно, скоро смена караула. Как каждый день. Уже которую неделю. Стерегут его, точно стадо волков раненого лося. Скоро они сменятся. Новые разведут костры и разойдутся по околице. Тогда и мыши не проскользнут. Они хоть знают, на кого охотятся? Он, — покосился через плечо, — по крайней мере, знает. Отважно ждет его или замерла от страха? Если второе — проводит ее до двери, и баста. Он не людоед.

— Иди ко мне.

Какая страсть в тоненьком голоске. Точно огненный язык лизнул спину. Идет, уже идет. Сам удивляется, почему так медленно. Бойтся обжечься?

Что-то хрустнуло под ногой. Потерявшаяся устрица. Кошмар, он чуть не упал. И что это Бинетти взбрело в голову? Куда больше он бы обрадовался напильнику и веревке. Чего она, собственно, хотела? Подразнить его? Или подсластить горечь расставания? Расставание? Ну да, ведь они уезжают вместе с королем. Минутку, о Господи... Это значит... король уезжает! По спине побежали мурашки. Если король уедет, никто и ничто не защитит его от этого сброда. Сейчас они рискуют головой, а тогда? Меньше, чем ничем, парой синяков, на худой конец ржавыми пятнами на мундирах! Коварная скотина этот Браницкий. Едва они с королем выедут за городскую заставу, прикажет своим псам его растерзать.

Еще минуту, минутку, минуточку. Он только проверит одну мелочь. Когда? Вытащил из кармана письмо Бинетти: как там написано? Полумрак смазывал слова, но у самого окна кое-что можно было разобрать. «Что же касается Лили...», это не то, не та сторона, сейчас... что касается Лили? Листок плясал в руке. «Офицер, который вручит тебе это письмо...», неважно, важно, когда они уезжают, когда его разорвет эта свора. «Дела обстоят совершенно иначе, нежели ты думаешь». Что за дела, чьи дела, его? Поднес листок к глазам.

«Она тебе вовсе не дочь, и если я раньше об этом молчала, то лишь потому, чтобы ты не вздумал ею попользоваться. Завтра мы уезжаем. Больше ты Лили не увидишь. Не для таких, как ты, я ее растила, Джакомо!»

Сейчас, сейчас. Что же это? Когда? Лили — не его дочь. Король уезжает завтра. Еще раз. До боли напряг зрение. Да. Он не придумал эти слова, не перепутал смысла. Что делать? Смеяться или плакать? Аккуратно сложил листок и сунул за пазуху. Последний раз посмотрел в окно. Когда разожгут костры, мыши не проскользнут. А Лили?

Оглянулся с тревогой, словно то, что сейчас узнал, могло и девочку разохотить. Но ничего не изменилось. Она сидела в прежней позе, хотя... минуточку... пламя свечи, затрещав, ярко вспыхнуло и осветило бледное пятно на его постели. Это было уже не светлое платье Лили — оно осталось на стуле, — а ее белое худенькое тело. Обнаженная, она простирала к нему руки. Когда успела, чертовка? А он ничего не заметил, не услышал ни малейшего шороха. Верить не хочется.

Поверил он, лишь когда коснулся чудесной упругой груди, когда ноздри защекотал запах живой теплой кожи. Лили не его дочь. Вот так. Небеса предпочли не рисковать. Она его, для него, с ним. Почему же он теряет время? Огляделся, запечатлевая в памяти все: пелерину на спинке стула, туфельки под столом, свою рубашку на крюке у двери, — и задул немилосердно коптящую свечку. О руки, пальчики, кожа! Какое наслаждение их касаться! Несколько быстрых движений, и он был готов. Шелест простыней — и она готова. Хотя нет: парик. Он терпеть не может париков в постели. Помог ей отстегнуть напудренные волосы, мельком отметив, что за окном раздался протяжный свист сменяющегося караула. Когда пушистый, увешанный локонами зверек уже был у него в руке, глухо прогремело несколько беспорядочных выстрелов. Палат для куража. Как каждый вечер. Сейчас начнут разжигать костры. Для него разводят адский огонь. Стоп... Замер — даже прижавшееся к нему, ждущее ответной ласки тело не могло вывести его из оцепенения. Овладевшее им чувство было ему хорошо знакомо, и он знал, что здесь от него не избавится. Плотно укутал Лили в покрывало.

— Я сейчас...

Теперь каждое движение должно быть безошибочным, четким и быстрым. Но какое там: босые ступни не желали влезать в башмаки, панталоны добрую минуту не застегивались, один за другим отлетали крючки на рубашке. Только с париком Лили не было хлопот: он сел на голову, точно был сделан по мерке. А пелерина — можно ли придумать что-нибудь лучше? Джакомо одновременно сыпал беззвучными проклятиями и молился, чтобы она ничего не услышала. Услышала?

— Иди ко мне.

Чертова плетка наконец встала на место. Подтянуть панталоны, поплотней закутаться в плащ. Еще только корзинку в руку, глубокий вдох, чтобы голос прозвучал спокойно. И последняя ложь — одному Богу известно, как трудно ее произнести.

— Уже иду, любимая. Иду.

И — думая со сжавшимся сердцем, что жизнь — это и вправду искусство самоотречения, — тихонько шагнул к двери.

Потом он уже больше не думал о Лили — прокрался мимо ничего не заподозрившего привратника, не имеющего обыкновения разглядывать посещающих монастырь женщин, и на негнувшихся ногах, не поворачивая обрамленной локонами головы, пошел прямо на солдат у дороги. Ничего не видел и ничего не слышал. Только резкий запах конского навоза напомнил, что он еще жив. А когда этот запах растаял в воздухе, понял, что проскочил, что его не остановили. За поворотом не выдержал, кинулся опростебуть вниз по травянистому склону — вон из этого проклятого места. Корзинка выскочила из пальцев, пелерина развевалась как крылья. Успел. Едва его скрыла вершина холма, там, позади, взметнулся вверх кровавый огненный столб. Успел, святые угодники, успел! Теперь его уже ничто не задержит. Башмак зацепился за камень и слетел с ноги — плевать. На середине склона Джакомо споткнулся, перекувырнулся несколько раз на грязном снегу и поехал на промокшей спине и ягодицах вниз, в густеющий мрак, к сулящей спасение реке.

Спуск завершился в полузамерзшей луже. Казанова готов был кричать от радости и целовать эту поганую землю. Поднялся, мокрый до нитки, оглянулся назад, наверх.

Слабое, почти невидимое зарево стояло над неопасными уже кострами. А еще выше, в разрыве ночных туч, мелькнуло что-то знакомое, чей-то внимательный глаз — опять этот любопытный взор, устремленный на его дамские локоны, босую ногу и заляпанную грязью епанчу. Джакомо гордо выпрямился и погрозил кулаком самому упорному своему преследователю.

Как только приду в себя, сам это опишу. Сам, слышишь? Сам. По-своему расскажу, как все было. И кому люди поверят? Ну, как ты считаешь — кому?

Мэлор Стурау

Сапожки царицы Тамары



Каждый раз, когда я иду по проспекту Руставели и вижу здание Государственного театра оперы и балета имени Закария Палиашвили, я кланяюсь ему и говорю про себя «Спасибо!».

Этот храм искусства, который мы любовно, хотя и несколько запанибрата, называли «*თავის*»¹ с легким ударением на первом слоге, был частью моего детства и отрочества. И я глубоко уверен, что это может повторить все мое поколение тбилисцев. Да и не только они. Человек, любивший Грузию, не мог не любить «*თავის*». Дом музыки на проспекте Руставели был гигантской морской раковинкой, в которой пела душа моего народа.

Особую главу в истории театра составляют годы войны. В те трудные и невеселые годы он заменял нам многие радости жизни, потускневшие или совсем исчезнувшие во мраке кровавой бойни. Театр был для нас тогда и зрелищем, и хлебом. И не только в переносном смысле слова. В театральном буфете можно было поесть то, что исчезло с магазинных полок.

А какое музыкальное пиршество происходило на сцене! Наш театр дал прибежище многим выдающимся певцам и танцорам, бежавшим от гитлеровского нашествия. Солисты Большого театра, Мариинского, Киевского, Одесского пели под сводами «*თავის*», а впоследствии некоторые из них так и остались у нас навсегда. Именно война вернула нам великого балетмейстера и танцовщика Вахтанга Чабукиани.

Жизнь кипела не только на сцене, но и в кулуарах театра. Антракты были не менее насыщенными, чем сценическое действие. Дело в том, что театр был не только храмом Мельпомены и Терпсихоры, но и клубом. Мы туда ходили почти каждый день, независимо от того, что давали. Благо дело, билетерши особой строгостью не отличались, а администрация не скупилась на контрамарки. Кроме того, у каждого из нас были свои оперные кумиры, которые щедро снабжали нас билетами или просто проводили через артистический вход.

Одной из удивительных институций в рамках этого стихийного клуба было столь же стихийное дискуссионное общество. Оно собиралось в фойе галерки в антрактах, а иногда продолжалось и после окончания спектакля, пока нас не выдворяли капельдинеры и не гасли последние люстры. Дискуссионное общество было, разумеется, открытым. Любой мог стать его членом. Для этого было достаточно войти в круг спорщиков, которых со всех сторон обступали любопытствующие, и бросить вызов на словесный турнир, обозначив тему дискуссий.

И тем не менее все-таки существовало ядро этого словесного ристалища, которое составляли, как правило, студенты-первокурсники и школьники-старшеклассники. В основном последние. Среди них были признанные лидеры, которых по аналогии с кулачными поединками называли «бодальщиками». Когда они сшибались, публика забывала даже возвращаться на свои места после третьего звонка. А публика была самая разношерстная. Послушать битву «бодальщиков» в фойе галерки приходили и маститые деятели науки и культуры — академики, профессура, писатели и «воры в законе». Демократичность аудитории была абсолютной. Иногда она

¹Опера (груз.).

задавала тему дискуссии для «бодальщиков» и бурно реагировала на все перипетии словесных поединков, подбадривая своих фаворитов. Особенно волновались болельщики — «воры в законе».

— Давай, давай! — то и дело кричали они, входя в раж.

Девизом дискуссионного клуба было «Пошли подискутируем». Происхождение его весьма элементарное. Встретившись в театре, «бодальщики» говорили друг другу «Пошли подискутируем» и шли на галерку. За ними следовали болельщики. Темы споров были самыми разнообразными — например, сможет ли тбилисское «Динамо» завоевать первенство СССР по футболу, или почему Артур Рембо бросил писать стихи? Но в общем преобладала «интеллектуальная тематика» с литературно-философским уклоном.

Среди наиболее популярных «бодальщиков» были Отар Карсанидзе, он же «будьдог», Резо Табукашвили и, без ложной скромности, ваш покорный слуга.

Все сказанное выше лишь подход к теме, окрашенный в несколько сентиментальные тона ностальгии по невозвратной юности, ее невозвратной чистоте и наивности, ее идеализму и тому, что хорошо передается грузинским словом «აღტიკუნება»¹.

В тот памятный для меня день в фойе галерки схватились я и Карсанидзе, у которого было еще одно прозвище — Кровавый Ницше, — так как в то время он бредил автором «Заратустры». Народу набилось чрезвычайно много. Во-первых, бодались самые напористые «бодальщики», а во-вторых, давали «Самсона и Далилу», в которой всех разочаровала Вера Александровна Давыдова, недавно приехавшая из Москвы. Дело было не в ее голосе. Пела она замечательно. Вот только в сцене обольщения она не позволяла своему партнеру — артисту Белахтели — то, что разрешала ему наша местная Далила — актриса Шарата-Долидзе. Пуританское поведение Давыдовой на сцене явно пришлось не по вкусу темпераментным тбилисским театралам, в первую очередь молодежи.

Но я, кажется, отвлекся от сквозной темы. Так вот, схватились я и Карсанидзе. Тема нашего спора была задана кем-то из публики. Была она сформулирована, как сейчас помню, следующим образом: «Что больше необходимо Грузии — сапожки царицы Тамары или электростанции как символ энергетической независимости республики?» Несколько слов для пояснения столь экстравагантно-парадоксального предмета дискуссии. Как раз в те дни в Тбилиси разнесся слух, что в Советский Союз не то возвратился, не то возвращается из Парижа профессор Такашвили и везет или привез с собой усыпанные бриллиантами сапожки царицы Тамары, вывезенные якобы меньшевистским правительством, эмигрировавшим во Францию. В те же дни город сидел без света, что местные власти объясняли нерасторопностью наших соседей, от которых мы зависели. Максимализм, с которым был сформулирован предмет дискуссии, не допускал компромиссного и, видимо, наиболее трезвого решения — и сапожки царицы Тамары, и энергетическая независимость. Сам жанр спора диктовал не «и — и», а «или — или». В этом была его драматургия и прелесть, «рассудку вопреки», как поется в знаменитом «жестоком романсе».

Карсанидзе защищал приоритет сапожек, я — приоритет энергетической независимости. Время стерло с полимпсеста памяти детали этого спора. Помню только, что диспут был даже для нашего клуба на редкость жарким и напряженным. Расколовшаяся аудитория то и дело подбадривала своих фаворитов:

— მიდი, კარსანიძე²

— მელორ, მიდი!³

По странному водоразделу большинство «интеллектуалов» поддерживали Карсанидзе, а большинство «воров в законе» были на моей стороне, хотя по роду их профессии крошечная тьма предпочтительнее освещенности электричеством. Победителем в споре вышел я. Не потому, что мои аргументы оказались весомее, а потому, что Карсанидзе, опытный спорщик, допустил непозволительную для себя оплошность: в пылу дискуссии, видимо, от чрезвычайной *აღტიკუნება* он предложил мне разрешить спор на кулаках и продемонстрировал в качестве психической атаки толщину своих запястий. В обычных условиях в этом не было бы ничего пораженческого, скорее наоборот. В те годы распри в Тбилиси решались дуэлью на

¹Возбуждение.

²— Давай, Карсан!

³— Давай, Мэлор!

кулаках, благородно и по-рыцарски, даже без применения головы и ног, не говоря уже о спицах, финках и огнестрельном оружии. Это пришло позже, как страшный провозвестник нынешних «калашниковых» и бронетранспортеров, бомб и гранатометов.

Аудитория присудила победу мне потому, что «нищенская» выходка Карсанидзе была расценена как слабость, как невольное признание отсутствия или истощенности разумных доказательств. Кровавый Нище нехотя подчинился гласу народа и нарочито с силой пожал мне руку, как бы демонстрируя свое сверхчеловеческое, по Заратустре, самообладание...

И еще один эпизод — как затянувшийся затактовый аккорд, как увертюра, которая длиннее самой оперы. Он так же неизгладимо врезался в мою память, как и диспут в «მჯობე» с Карсанидзе.

Дело было в период летних студенческих каникул, моих первых каникул после первого года учебы в Москве. Никогда еще я не жил так долго вдаль от Грузии, от родных и близких, от друзей и знакомых. Манящие всевозможными соблазнами огни большого северного города не могли подавить мою юношескую ностальгию, и, возвращаясь домой скорым поездом Москва—Тбилиси, я волновался, напоминая пушкинского «любовника молодого», ждущего «минуты первого свиданья».

Когда поезд ворвался в ущелье Куры, я перешел в вагон-ресторан, заказал бутылку кахетинского № 8, смахивавшего больше на уксус, чем на вино, и жадно прильнул к окну. Перед моими глазами мелькали, убегая вспять, карталинские пейзажи, но в моем разгоряченном воображении я как бы листал потускневшие страницы Жития Грузии. Слезы подступали к моим глазам, сердце — к горлу. Я шептал, шевеля губами, строки наших великих поэтов и писателей, вызывая в воображении кровавые битвы и роковые судьбы Грузии, ибо железная дорога была проложена именно там, где эти битвы свершались, где эти судьбы разыгрывались. Здесь каждый клочок земли обильно полит грузинской кровью, кровью завоевателей Грузии. Здесь в каждой разрушенной башне притаились тени прошлых катастроф, потрясавших Иверию.

Я то воображал себя Тарашем Эмхвари из «Похищения луны» Константина Гамсахурдия, совершающим сентиментальное путешествие в Тбилиси и слышащим в многоголосье вышедших к железнодорожному полотну продавцов всевозможной снеди и фруктов голос моей изобильной Родины.

Я видел себя одетым в черкеску, положившим одну руку на кинжал, а второй — пощипывающим молодые, только что обозначившиеся усы, стоящим в полном одиночестве перед надвигающимся на меня несметным полчищем не то персов, не то сельджуков, не то монголов, не то турок. Над моей головой витали ангельские лики Верико Аджпаридзе и Нато Вачнадзе. Я грозно произносил «Марабда!», и несметное полчище захватчиков обращалось в бегство. Я был в состоянии абсолютной экзальтации, готовый на все, на любое самопожертвование ради Грузии. Если бы в тот момент передо мной явился ჯგერბა, то я, несомненно, признал бы его правоту и приоритет над энергетической независимостью, хотя перед моими глазами пробегали Земоавгальская гидроэлектростанция — ЗАГЭС и памятник Ленину с простертой неизвестно куда рукой работы скульптора Якова Николадзе. Индустриальный пейзаж, сменивший библейские картинки, как бы предупреждал, что до реального Тбилиси, а не того, воздвигнутого Вахтангом Горгасалом, осталось совсем немного, какое-то Дидубе...

В вагоне-ресторане было пусто. Буфетчик дремал, директор лениво подсчитывал выручку, медлительно пощелкивая костяшками счетов. Только за одним столиком сидели четыре грузина. Перед ними стояла батарея пустых и недопитых бутылок вина. Они пришли сюда, видимо, много раньше меня и гуляли, соблюдая весь ритуал грузинского застолья с его бесконечными каноническими тостами. Несколько раз они предлагали мне присоединиться к их трапезе, но я неизменно отказывался, пребывая в эмпиреях предельного ლტკობება.

Я невольно прислушивался к их громкому разговору. Из их речей следовало, что они — профессиональные воров, возвращающиеся после весьма успешного турне по российским городам. (Один из них, расплачиваясь с буфетчиком, раскрыл чемодан довольно приличных размеров, битком набитый сторублевками, естественно догадывавшейся деминации).

В какой-то степени карталинская аура и приближение Тбилиси влияли и на воров. В их тостах все чаще звучали, если можно так выразиться, патриотические

нотки. Стихов они, конечно, не цитировали, но определенное *აღტკიბება* в их речах все же чувствовалось. Один из воров, поднявшись, провозгласил, чокаясь чайным стаканом с оконным стеклом, за которым мелькала Картли:

— Выпьем за то, чтобы у Грузии было больше таких сынов, как мы!

Перехватив мой взгляд, тамада сказал:

— Эй, парень, поддержи наш тост!

Он налил стакан вина и жестом пригласил меня к своему столу.

Я по натуре не самоубийца и в обычной ситуации принял бы такое предложение, как бы оно мне ни претило с моральной точки зрения. В повседневной жизни мы идем на куда более сомнительные компромиссы. Как говорят французы, *сэ ля ви*. Но в тот момент, разгоряченный романтическими видениями, сражающийся с воровом под хоругвями Верико и Нато, сомнамбулически повторяющий «Еще подрастут в Алгети волчата», я был не в состоянии мыслить и действовать рационально. Инстинкт самосохранения ушел куда-то в пятки, как у фанатика-камикадзе, идущего на таран. Я тоже поднялся из-за стола и презрительно и гневно, со всем жаром восемнадцатилетнего юноши, опоенного не столько кахетинским, сколько *აღტკიბება*, воскликнул:

— Нет, пить с вами я не буду!

— Но почему? — удивился нахмурившийся тамада.

— Потому, что Грузии такие, как вы, сыны не нужны!

Эти последние слова я буквально выпалил, чувствуя, что отсекаю себе путь к отступлению, переходя незримый Рубикон по соседству с реальной Курой. Я вдруг понял, что впервые в жизни совершил поступок, а не жест и что поэтому на кон поставлена моя жизнь, которую не защитят ни Верико, ни Нато, сколько бы я ни кричал «Марабда!», «Марткоби!» или «Крцаниси!».

Тамада сначала опешил от такой дерзости, но затем им овладел бесконтрольный гнев. Он обрушил на мою голову поток площадных ругательств, а затем выхватил финский нож. Смертельная бледность залила мое лицо. Я положил руку на бутылку вина и сжал ее горлышко. Наступил момент истины: я должен был доказать самому себе, что мое романтическое *აღტკიბება* не было лишь сплетней сентиментальностью, что я в действительности могу и готов ответить за свои слова, так сказать, постоять и пострадать «за идею». Разумеется, слова и мысли, роившиеся в моей голове в те мгновения, не отличались такой стройностью — адреналин бил в мою голову, стучал в крови, — но мое подсознание посылало мне именно такие сигналы. Я собирался дорого продать свою жизнь, хотя — о, святая простота и юношеская наивность! — еще не знал ее подлинной цены, как и цены жизни вообще.

В вагоне-ресторане воцарилась могильная тишина. Были слышны только перестукивания колес, лязг цепей и нервные гудки электровоза. Проснувшийся буфетчик и оторвавшийся от счетов директор замерли на своих местах, как заколдованные. Развязка отсчитывала какие-то микроскопические доли мгновения, чтобы взорваться и захлебнуться кровью. И вдруг с воровского стола поднялся еще один мужчина. Он был много старше остальных и по возрасту, и, видимо, «по чину». Остальные обращались к нему с крайним почтением, как к пахану. Мужчина схватил тамаду за руку, державшую финку, заставил его спрятать ее, а затем раздельно, с трудом выговаривая слова, произнес:

— Оставь парня в покое. Может быть, у него есть свое мнение насчет того, какие сыны нужны Грузии.

Взгляд его перешел от тамады ко мне. В нем было не меньше ненависти, чем в глазах бандита, схватившегося за нож. Но была она какой-то холодной, рассудочной, что ли. Наши глаза встретились. Пахан вдруг сощурил их и неожиданно миролюбивым и даже добродушным голосом произнес:

— А я, парень, тебя знаю. Я был твоим больничником в опере.

Я сначала не понял, что он говорит, настолько далеки были в тот момент мои мысли от «*ოპერა*» и наших отроческих диспутов в фойе ее галерки. Но, даже поняв, не отреагировал, сочтя это за малодушие. Воры встали и покинули вагон-ресторан, больше не глядя в мою сторону. Я опустился на стул. Страх наконец с большим опозданием обуял меня. Ноги словно онемели. На лбу выступили крупные капли пота. Я весь дрожал мелкой нервной дрожью. Поезд приближался к тбилисскому вокзалу, уже въезжал в него. На перроне замелькали носильщики и первые встречающие. Но я уже ничего не видел. Я приходил в себя, словно возвращаясь ко второй жизни, подаренной мне неведомо кем. Во всяком случае, не паханом.

Скорее Верико или Нато. Или, быть может, я сам, того не замечая, во время словесной стычки с ворами громко произнес «Марабда»?

Но чудес на свете — помимо библейских — не бывает. Чудеса, подобно экспромтам, требуют основательной подготовки. Их поэтические корни в прозе жизни. Судьба всегда была беспощадна к Грузии. Только мы, грузины, были еще беспощаднее к ней, находясь в плену зависти, корысти, легкомыслия, в плену всех тех пороков, которые перечислены в тоже беспощадном стихотворении Ильи Чавчавадзе «Есть ли народ счастливее нас?». Илья вынес непререкаемый и нелицеприятный приговор своему народу, который он не только любил, но и знал. Любил сильно, знал хорошо. И народ столь же непререкаемо подтвердил его правоту, вогнав пулю в высокий лоб Ильи.

Убийство в Цицамури было не только ужасным, но и символическим, ибо это было одновременно национальным самоубийством. Грузию не столько убивали, сколько она сама себя убивала. Ее крепости брались изнутри. Прав был поэт, посылавший проклятия не «диким магрибским разбойникам», а тем, кто открывал им врата затерченного Дарьяльского ущелья.

Наш грузинский менталитет, вылепленный многовековой историей национальных самоубийств, их непрекращающейся чередой, принуждает нас метаться меж донкихотским отношением к прошлому и маниловским — к будущему. В результате мы никогда не имели настоящего. А это ставит под сомнение и наше прошлое, и наше будущее. Ибо, как сказал Лейбниц, процитированный Ильей, настоящее, рожденное от прошлого, является родителем будущего. Настоящее, в котором мы сейчас пребываем, грозит зачеркнуть наше великое прошлое и погрузить во мрак небытия наше будущее.

И донкихотство и маниловщина сегодня для нас не только непозволительная роскошь, они орудия национального самоубийства. Дон Кихот не мог победить даже ветряные мельницы. Наши грузинские Дон Кихоты мечтали победить на дряхлом Россинанте реального противника. Манилов, мечтавший построить мост в своем поместье, просто титан практицизма и здравого смысла по сравнению с нашими маниловыми и луарсабами таткаридзе¹, доведшими страну до национального и экономического коллапса.

История не Дед Мороз, который приносит подарки каждый год. История дает народу один-два шанса за тысячелетие. Упустившие шанс обречены на гибель и забвение. Под конец XX века Грузия вновь получила шанс и вновь упускает, если уже не упустила, его, погруженная в самоубийственные донкихотство и маниловщину, сводящая счеты сама с собой, словно самоед.

В советский период, в особенности в годы брежневского правления, у нас в Грузии была популярна экономическая басня, которую можно условно озаглавить как «Басня о двадцати и пяти миллиардах». Согласно этой басне, Грузия давала в общесоюзный бюджет двадцать миллиардов рублей, а обратно получала всего лишь пять. Мораль сей басни гласила: «Вот если бы Грузия была независимой и все эти деньги оставались при ней, то у нас была бы райская жизнь!»

Дон Кихотов и маниловых отнюдь не смущала полная экономически невежественная несурязица этой басни, в которой неверность посылок успешно соперничала с неверностью выводов. Я не пишу сейчас экономический трактат, но, думаю, любой грузин, даже не слушавший курса лекций Пааты Гугушвили, согласится ныне со мной, что басня сия была абсурдной. Какая горькая ирония: рубль, который не имел в Грузии никакой цены при советской власти, ныне, в независимой Грузии, стал вожажденной валютой!

Нам, убаюканным сказками, казалось, что если все рубли, вырученные от продажи мандаринов, вина, чая, табака, минеральных вод, пойдут исключительно в грузинскую казну, горные районы Иверии превратятся в Швейцарию, а приморские — в Лазурный берег или Багамы. Блажен, кто верует! Мы не хотели замечать, зашоренные наихудшим видом маниловщины — ქართული ყოვლრეობობა², что наш экспорт был хорош только для советского рынка, что он был провинциален, как наш быт и наше мировоззрение. Выйдя за пределы одной шестой — советской — части земли, наши вина столкнулись бы с французскими, цитрусы — с флоридскими, «Боржоми» — с «Виши», чай — с «Липтоном» и «Дарджелингом», табак — с

¹Луарсаб Таткаридзе — герой рассказа Ильи Чавчавадзе «Разве это человек?».

²Грузинская фанаберия.

«Мальборо» и «Винстоном», столкнулись бы и потерпели сокрушительное поражение, сколько бы ни кричали «Марабда!». И ни Верико, ни Нато не смогли бы защитить хилый грузинский экспорт от негостеприимного мирового рынка, который, в отличие от русских женщин, не приходит в восторг при виде бутылки «Хванчкары».

А что касается грузинской Швейцарии и грузинского Лазурного берега, то ни на какие рубли, даже знаменитые двадцать миллиардов рублей, их не построить. Здесь нужны сотни миллиардов долларов и сотни лет труда. Долларов, которых никогда у Грузии не было, и труда, к которому Грузия непривычна. Наши горы и наше море, при всей их сказочной красоте, могли быть и были Швейцарией и Лазурным берегом только «для бедных». Для той же России и других Советских республик, для «демократов» и самых низших слоев из западных стран.

Ныне в результате наших традиционных междоусобиц, «рай для бедных» превратился в ад для грузин. Черноморское побережье пусто, как тбилисская казна. И несчастные держатели купонов с тоской вспоминают о рублях сибиряков, польских золотых и гэдэровских марках, которые прилипали веселыми ракушками к черноморским здравницам и набивали матрацы сдаваемых коек. (Их ныне заменило одно мрачное прокрустово ложе с опрокинутой на нее Грузией, у которой отсекали Абхазию.)

Наши московские друзья, когда остаются с нами наедине и не боятся быть подслушанными российским «общественным мнением», благоволящим абхазским сепаратам, вопрошают с нескрываемым удивлением и сожалением:

— Ребята, как же это вы, такие вояки, не смогли разделиться с абхазами? Ведь вы же умеете драться лучше всех!

Нашим московским друзьям, видевшим, как мы умеем драться лишь в гостиницах и ресторанах, на ринге и на борцовском ковре, простительна подобная наивность. Но она непростительна нам самим. Неужели широченные спины Арсена Мекокишвили и Кости Коберидзе или «агроматные» кулаки легендарных тбилисских драчунов Кекелидзе и Резо Пагава закрыли от нас реальную перспективу наших, с позволения сказать, военных возможностей, нашего марсового потенциала? (Я имею в виду, конечно, бога войны Марса, а не двойную победу в нардах.) «Выяснение отношений» в садах Александровском или Муштаиде, сшиб ღოჭჯი¹ с проспекта Руставели с ღოჭჯი Плехановского проспекта, походы стенка на стенку, район на район имели такое же отношение к нашей воинской доблести и смекалке, как, простите, онанизм к деторождению.

Так вот, мы прикрывались или, вернее, отгораживались от действительности не только широченной спиной Арсена Мекокишвили, но и гигантской тенью Давида Строителя; не только кулачищами Резо Пагава, но и щитом Георгия Саакадзе. Это тоже было опасным донкихотством, ибо, зарывшись, как страус в песок, в рыцарские романы и хроники, мы проворонили настоящее.

Однако и прочтение истории нашей было легкомысленным и поверхностным. Тот же Давид Строитель, отчаявшись создать национальное профессиональное войско из враждовавших друг с другом феодальных дружин, пригласил кипчаков, которые делали для него и за нас дело государственного объединения. Что же касается Георгия Саакадзе, личности многоликой, как Янус, то он постоянно кого-то приводил в Грузию — то иранцев, то турок. Ему также оказалось не по плечу создание профессионального грузинского войска, и он окончил свою жизнь наемником. Какая горькая ирония судьбы — лучшие наши военачальники были ландскнехтами. Свой профессионализм они проявляли не при защите Грузии, а сражаясь под чужими знаменами. Вспомним хотя бы мамелюков. (Читают ли еще у нас роман Уиараго?). Вспомним Багратиона и Чанчибадзе, целую плеяду блестящих генералов первой и второй Отечественных войн. Правда, отечеством, которому они служили и за которое проливали кровь, была Россия, а не Грузия.

Военное поражение в Абхазии можно понять, но нельзя простить. Разговоры о русской военной технике и советниках, о добровольцах и наемниках с Северного Кавказа и мусульманского мира вообще не могут служить оправданием. Скорее наоборот. Это лишь отягчающие нашу национальную вину обстоятельства, свидетельствующие о том, что внешняя политика Тбилиси была близорукой. Вместо того чтобы создать благоприятные дипломатические условия для обуздания абхазских сепар-

¹Парней.

ратистов, наша внешняя политика способствовала изоляции и самоизоляции Грузии на международной арене.

Но даже в неблагоприятной внешнеполитической ситуации, когда абхазский гордиев узел стало невозможно развязать, его можно было разрубить. Для этого были необходимы два условия: профессиональная армия и воля к победе. Ни того, ни другого у Грузии не нашлось. Современные феодалы продолжали сводить счеты друг с другом, думая не о взятии Сухуми, а о воцарении в Тбилиси. Они не воевали, а играли в войну. И доигрались. Семьдесят тысяч абхазов изгнали с одной территории Грузии четверть миллиона грузин, а еще четыре миллиона грузин, проживающих на другой грузинской территории, беспомощно наблюдали за этим. Нет, это не национальное поражение. Это куда хуже. Это национальный позор!

Смыть это пятно позора можно лишь кровью, если не произойдет чудо и Ардзинба не образумится. В Тбилиси все больше начинают осознавать эту жестокую истину. Эдуард Шеварднадзе уже неоднократно намекал и даже прямо говорил о возможности военного решения, хотя неизменно присовокуплял, что он предпочитает политическое. Кто не предпочтет бескровный путь?! Но существуют неумолимые реалии, и закрывать на них глаза — значит кокетничать с еще более ужасной катастрофой.

Но не может быть решения абхазской проблемы, если мы будем ходить походом на Сухуми в городских автобусах, как это сделал Тенгиз Китовани. Автобусы — средство мирного передвижения, а не ведения военных действий. Я думаю, что Шеварднадзе абсолютно прав, приступив исподволь к формированию профессиональных вооруженных сил республики. На нынешнем этапе это то основное звено, которое в будущем поможет нам вытянуть всю цепь, если до того времени с Ардзинбой не произойдут чудесные метаморфозы. Необходимо учитывать и следующее обстоятельство: перед лицом хорошо вооруженных регулярных войск Грузии Сухуми может скорее проявить благоразумие и очнуться от опасных сновидений и миражей, чем это произойдет при виде полувоенных отрядов, прибывших на автобусах. Тогда Ардзинбе будет уже не до смеха.

Но профессиональной армии еще мало. Нужна воля к победе, в которой воедино сольются национальная идея и готовность к жертвам. Как это ни больно и ни стыдно, давайте скажем друг другу в лицо горькую правду: не было у нас воли к победе, не было готовности к жертвам, не было национальной идеи. Их всех заменяло словоговорение. Рисовка у вождей, апатия у масс. Если бы мы сражались хотя бы с небольшой долей той воли и веры, с которыми маленькая Чечня бросила вызов огромной России, над Сухуми развевалось бы знамя Грузии. Не было бы ни грузинских беженцев, ни абхазских сепаратистов.

Вот почему сегодня для меня критерием подлинного, а не застольного грузинского патриотизма является отношение к созданию в Грузии профессиональных вооруженных сил и эффективных органов правопорядка. Без этого не только территориальная целостность, но даже национальная независимость нашей страны сплошная фикция, химера. Я хорошо знаю, что многие в Грузии видят за этим лишь желание Шеварднадзе укрепить свою личную власть. Не исключаю, что подобные мысли посещают Эдуарда Амвросиевича. В этом нет ничего удивительного. Какой политический или государственный деятель не мечтает об укреплении своей личной власти, не печется об этом? Святых среди них не бывает. И это, поверьте, благо, ибо у святых и у политиков разные, так сказать, функции. Святым положено осенять воинство, а не командовать им.

Независимо от того, что думает Шеварднадзе, создавая вооруженные силы и органы правопорядка, какие цели он при этом преследует, объективно его деятельность отвечает самым сокровенным национальным чаяниям Грузии. Многих это, конечно, не устраивает. Многие предпочитают мириться с Ардзинбой в Сухуми, если это дает им шанс на преуспевание в Тбилиси, преуспевание всякое: и политическое, и низменно материальное. Для рыбной ловли им нужна мутная водичка. Они руководствуются девизом «После нас хоть потоп». Лицемерие этих господ вполне под стать их эгоизму. Они утверждают, что борются против режима личной власти, против диктатуры. В действительности они сами метят в диктаторы. И, в конце концов, если уж выбирать из двух зол наименьшее, то предпочтительнее просвещенная авторитарная власть одного лица, чем дожина маленьких наполеончиков, разрывающих в клочья страну.

Что же касается подлинной, а не демагогической заботы о демократии, подлинной, а не демагогической борьбы против культа личной власти, то они могут быть действенными только в том случае, если Грузия обретет подлинную государственность, что невозможно без армии (а не мародеров) и без органов правопорядка (а не бандитов). Надо думать не о том, как воспрепятствовать их созданию, а о том, как их создать, а создав, контролировать, чтобы они служили Республике, а не кандидатам в диктаторы. В этом суть демократии, а не демагогии...

Вспоминается старый, «с бородой» анекдот. Посреди Красной площади стоит грузин и пересчитывает толстую пачку сторублевок. К нему подходит русский провинциал и осведомляется, как пройти к Мавзолею Ленина. «Дэлом занимайся, дэлом занимайся», — отвечает грузин, не прекращая пересчитывать сторублевки. Если осовременить этот анекдот и сбрить у него «бороду», то сегодня он будет звучать приблизительно так. Посреди Эриванской площади стоит «новый русский» и пересчитывает толстую пачку долларов. К нему подходит грузин и осведомляется, как проехать в Гори и домику Сталина. «Дэлом занимайся, дэлом занимайся», — передразнивает его «новый русский», не переставая пересчитывать «зелененькие».

К чему это я? А к тому, что после обретения Грузией независимости выяснилось: мы не умеем не только воевать, но и торговать. Грузинская деловитость оказалась таким же блефом, как и грузинская воинственность. Грузинские солдаты храбро сражались под водительством русских генералов. Грузинские генералы талантливо командовали русскими подразделениями. Нечто подобное происходило и в экономической сфере. Наши мелкие торговцы ловко использовали гигантский советский рынок. Наши крупные дельцы не менее ловко подкупали мелких московских чиновников. Но советский рынок был рынком в прямом смысле слова — Центральным или Тишинским в Москве, Верийским или Сабуртало в Тбилиси. Это была стихия примитивного рынка. А для того чтобы подкупать чиновников Госплана или Госснаба, не надо было иметь мозги Рокфеллера или Моргана. Вполне достаточно было иметь ящики мандаринов и коньяка.

Когда же на смену Верийскому и Центральному рынкам пришел свободный рынок, сразу же выяснилось, что знаменитые братья Лазишвили не были братьями Рокфеллерами или братьями Гракхами частного предпринимательства. Они были ворами и жуликами, которые могли процветать исключительно в атмосфере советской централизованной экономики. Что же касается таких «экономических категорий», как ящики мандаринов и коньяка, то в новой Москве «новых русских» они уже «не звучат». На Москве-реке ныне «Мартель» предпочитают «Енисели», а бананы — мандаринам. А еще больше предпочитают взятки в долларах. Грузинскими купонами наследники советских Госплана и Госснаба брезгуют даже оклеивать стены своих дач. Уже не государственных, а частных.

Лишившись советского рынка и советских взяточников, наши доморожденные рокфеллеры сначала растерялись, а затем, слегка очухавшись, принялись за старое, но уже в грузинских масштабах, и стали грабить свою плоть и кровь, свой народ. Но грузинский народ, вопреки легендам, оказался бедным. Навару с него почти никакого. Поэтому наиболее удачливые, ограбив своих соотечественников в целях «первоначального накопления», ринулись на российские и даже международные просторы, став ландскнехтами, подобно своим тезкам — военным. Ну а народ, брошенный на произвол судьбы, не смог выдвинуть из своих рядов ни капитанов индустрии, наподобие Карнеги или хотя бы Тевосяна, ни капитанов банковского дела, таких, как Морганы или хотя бы Гулбекяны. Сказалось давнее отношение к деньгам как к ზეღის ჭკუყი — грязь, прилипающей к рукам, — давнее дворянское легкомыслие. Вот и оказалась Грузия в финансовом отношении «гигиенически чистой». Никакой «грязи» на ее руках, все чаще протягиваемых сейчас за подаянием.

Сказалась, разумеется, и специфика Грузии. Согласно древней легенде, святая Нина — покровительница Грузии сделала так, что Бог, пролетая над нами, приспустил подол своего хитона, и блага посыпались на землю иверскую, как из рога изобилия. Но, к сожалению, святая Нина не была экономистом. В противном случае она одарила бы нас не вином, а нефтью, не газированной водой, а промышленным газом, не царичьими сапожками, наконец, а энергетической достаточностью и независимостью. Святая Нина — святая простота — не понимала, что алмазы и золото на сапожках царицы Тамары не могут тягаться с алмазами и золотом Якутии. Она не смогла защитить нашу экономику, как не смогли защитить наши границы Верико и Нато. К стыду наших мужчин-рыцарей, с удовольствием взваливших это тяжкое бремя

бога войны Марса и бога торговли Меркурия на слабые женские плечи. Слишком долго подымали мы бокалы за ангелов-хранителей Грузии, за то, чтобы у нее «было больше таких сынов, как мы». Вот и оказались у разбитого корыта, когда пришлось взять в руки вместо бокалов мечи и весы. «Все куплю», — сказала злато. «Все возьму», — сказал булат», — говорится в знаменитом пушкинском стихотворении. Но именно по части злата и булата мы оказались в полном мизере. А что касается ангелов-хранителей, то они в первую очередь помогают тем, кто сам себя хранит. На Бога надейся, да сам не плошай.

И наконец, субъективный момент, но от этого не менее важный. Ни первый президент Грузии Звиад Гамсахурдиа, ни второй — Эдуард Шеварднадзе не имели вкуса, что ли, к свободному предпринимательству. Оба тяготели к централизованной экономике. Один потому, что видел себя неограниченным самодержцем, у другого, видимо, сказалась коммунистическая наследственность. Так, к несчастью для Грузии, противоположности — бывший диссидент и бывший первый секретарь республиканского ЦК — сошлись в своем неприятии свободного рынка.

Размышляя о нынешних бедах Грузии, я все чаще вспоминаю о своем давнем путешествии в Бирму. В одном из отдаленных уголков этой экзотичной страны Юго-Восточной Азии живет племя, женщины которого спавятся необычайно высокой шеей. Эта черта не наследственная, а приобретенная. С самого раннего детства девочкам здесь надевают на шею изящный железный обруч. С каждым годом количество обручей растет, и шея все больше искусственно вытягивается. Чем больше обручей, тем длиннее шея. И тем красивее считается женщина этого племени. Новые бирманские власти, пришедшие к руководству страной после того, как Бирма перестала быть британской колонией и обрела независимость, посчитали этот обычай варварским пережитком прошлого и решили освободить женщин этого племени от «унизительных» обручей. Но не тут-то было. Головы на искусственно вытянутых шеях держались исключительно благодаря обручам, а естественные шейные позвонки были полностью атрофированы. Когда женщин этого племени начали «эмансипировать», это привело к ужасным трагедиям. Длинные, как у лебедей, но бессильные шеи не могли выдерживать тяжести голов и ломались. Женщины или гибли, или вынуждены были лежать без движения, словно парализованные, полностью зависимые от окружающих.

Так вот, современная Грузия напоминает мне тех бирманских женщин, которых независимость освободила от обручей и обрекла на мучительную смерть. Советский тоталитаризм с его суперцентрализованной властью и экономикой подмял под себя все проявления независимости и изобретательности как отдельных индивидуумов, так и всего общества. Выражения вроде «Сталин думает о нас» или «Сталин заботится о нас» были отнюдь не только данью культу личности. Сквозь искривленную этим культом призму проступали вполне реальные контуры общества, где все делается сверху — и плохое и хорошее, где инициативе снизу не оставлено почти ничего — ни в общественно-политической, ни в экономической, ни даже в частной жизни.

Убийство в человеке и обществе инициативы было, пожалуй, самым страшным преступлением режима, ибо оно привело к универсальному рабству, причем самому худшему, страшному и постыдному виду рабства — относительно сытому. Как ни прискорбно это признавать, но грузинский народ, благодаря определенным чертам его национального характера, природы и экономики, это относительно сытое рабство долгое время устраивало. Его границы оберегали русские и среднеазиатские пограничники; его тяжелую промышленность тащила на себе Москва; его финансами управлял Кремль. Короче, никаких забот. Можно было заниматься «своим делом», как грузин из вышеприведенного анекдота, и торговать на всесоюзном рынке дарами своей земли, поддерживая относительно сносный уровень жизни, а по сравнению с остальной страной — даже высокий, на зависть соседям.

Но, как говорят американцы, такой вещи, как бесплатные обеды, не существует, то есть все имеет свою цену, за все надо рано или поздно платить. За свою относительную сытость Грузия расплачивалась безотносительным рабством; за свое относительное благополучие — безотносительной безынициативностью, переходящей в национальную тактаридзевскую лень. Наше общество стало напоминать табак без никотина, кофе без кофеина, вино без танина. На шею Грузии один за другим нанизывались красивые обручи, которые были во много раз опаснее и тяжелее обычных, элементарных рабских цепей, оков и кандалов.

Почему?

Во-первых, обручи на шее выглядели скорее украшениями, чем оковами. Они создавали иллюзию свободы.

Во-вторых, они выглядели менее унижительными, чем оковы. Их можно было терпеть.

И наконец, в-третьих, благодаря этим «прельстительным» качествам обручей воля к свободе притуплялась. Кандалы — зримое клеймо рабства — звоном своим зовут к борьбе за освобождение. Обручи, которые можно выдать за украшение, звоном своим создают атмосферу «всенародного праздника». Они парализуют волю раба, мечтающего уже не о свободе, а о том, чтобы набить свое брюхо и в отдаленном идеале стать вольноотпущенником.

В отличие от большинства других республик шея у Грузии оказалась много длиннее, а ее обручи — много красивее и прельстительнее. Талант нашего народа, его творческий гений сыграли с ним злую шутку. Наши, мягко говоря, недостатки оказались продолжением наших преимуществ. Традиции высокой культуры, уходящие в глубь веков, помноженные на «свободу» от общественного служения и национального долга, узурпированных центральной властью, дали грузинской интеллигенции возможность и время заниматься «своим делом». Грузинская поэзия, грузинская школа кино, театр Руставели при моем племяннике Роберте Стурра-младшем, театр марионеток Резо Габриадзе, блестящая плеяда живописцев, скульпторов и чеканщиков, с одной стороны, не менее блестящая плеяда математиков, физиков и физиологов, медиков — с другой, создавали картину благоденствия и цивилизованности. Добавьте ко всему этому еще несоизмеримые с ничтожным населением и территорией Грузии спортивные достижения — и вы получите полный набор веселящих глаз обручей, маскировавших длинную, красивую, как у лебедей, шею с атрофированными позвонками национальной воли.

Когда пробил час Свободы и Грузия — в самозабвении — сорвала с себя дьявольские обручи, шея ее бессильно повисла и почти что надломилась. Трагедия освобождения усугубилась еще и тем, что освобождение шеи, как и рабство, пришло извне — из Москвы. Сначала перестройка, а затем крах Советского Союза создали условия, при которых свобода свалилась нам на голову. Грузия, страдавшая от отсутствия свободы, ее не выстрадала, не оказалась, да и не могла быть к ней подготовленной. Как символично: независимость Грузии провозгласил романтик-диктатор Гамсахурдия, а ее защита легла на плечи бывшего коммунистического лидера Шеварднадзе! И тот и другой были сделаны из того же металла, что и прельстительные обручи, которые, к сожалению, в отличие от кандалов, в мечи не перековываются. Привилегированный доминион советской коммунистической империи превратился буквально с ночи на утро в евро-азиатские задворки. «Азиатский Париж» — Тбилиси перестал быть Парижем, оставшись азиатским. Вот почему кровь, пролитая на его улицах российскими сатрапами, оказалась лишь каплей по сравнению с междоусобным кровопусканием, которое мы сами себе учинили. Голова, еле держащаяся на обессиленной шее, плохо соображает...

Я не случайно связал образ обручей на шее бирманских женщин с блеском нашей творческой и научной интеллигенции. Ее грехи перед грузинским народом неисчислимы и велики настолько, что вряд ли их можно простить или замолить. Дело не только в том, что наша интеллигенция объективно служила, так сказать, культурной потемкинской деревней, разузоренной ширмой, за которой грабили и насиловали народ. Дело в том, что такое положение ее устраивало. Она сама принимала участие в строительстве потемкинских деревень, паразитируя на бедах народных. Она перестала служить народу, заставляя народ прислуживать ей. Она оторвалась от народа, сделав одновременно народ-коренник пристяжной лошадию, да еще к тому же тягловой.

Эта постыдная и насильственная рокировка народ—интеллигенция проходила на всех уровнях, начиная с географического и демографического, когда Тбилиси подмял под себя всю страну, узурпировав ее имя, кончая чисто житейским. Интеллигенция вспоминала о деревне лишь по праздникам, во время застолий, свадеб и похорон, когда возникала необходимость «держатъ большие столы». Бочки с вином, битая птица и дичь, овощи и фрукты представлялись к этим «большим столам» из маленьких деревень полузабытыми родственниками или местными властями в виде постыдной

дани за право быть допущенными в прихожую, за право похвалиться «столичными связями». В «Похищении Луны» Константинэ Гамсахурдиа писал, что он может еще «вынести» запах пота грузинского крестьянина, но уж никак не его привычку говорить громко. Наша интеллигенция, воротя нос, еще «выносила» визиты своих пропавших трудовым потом деревенских родственников, которых помещали в передней или в подвале, но вот говорить отучила. Народ остался безязыким. Он делегировал свое право голоса интеллигенции, а она его предала. В ее рядах не оказалось Ильи или Акакия, чтобы артикулировать беды Грузии, ее народа. «Соль земли» оказалась хуже агзеванской¹. Ею посыпали не трапезу, а раны.

Вместо того чтобы стать колоколом на башне вечевой во дни торжеств и бед народных, наша интеллигенция превратилась в тетерева на току, упивающегося собственными руладами, причем весьма специфического тетерева, который не замечал, что происходит у него под носом, но зорко следил за дальними берегами. Поэмы и фильмы, спектакли и скульптуры создавались не для народа, а для зарубежной княжны Марьи Алексеевны, проживавшей в Москве и Париже, в Лондоне и Нью-Йорке. Культура все больше делалась в «экспортном исполнении», пародируя народное творчество, а не аранжируя его по Глинке. Московский Дом кино или нью-йоркский «Карнеги холл» стали куда важнее Грузии, а их аудитория — важнее собственного народа, который не мог ни наслаждаться, ни восхищаться творениями «соли земли», не мог хотя бы потому, что у него вырвали язык.

Грехопадение грузинской интеллигенции началось задолго до 25 февраля 1921 года, когда «дикие магрибские разбойники» во главе с Серго Орджоникидзе и Сергеем Кировым водрузили над Тбилиси красное знамя. Национальная лень не позволила нам создать компрадорскую буржуазию. Национальный гений «помог» нам создать компрадорскую интеллигенцию. Служение Российской империи послужило хорошей школой для прислуживания империи коммунистической. Но если до 25 февраля 1921 года, когда два Серго — грузинский и русский — подвели черту под недолгой и призрачной независимостью меньшевистской Грузии, наша интеллигенция все еще сохраняла свое лицо, придавая ему «необщее выражение», еще дорожила такими понятиями, как честь и совесть, и пыталась «оформить» законным браком свое грехопадение, притворяясь Ниной Чавчавадзе, пошедшей под венец с трубадуром русского колониализма Александром Грибоедовым, автором ходившей в списках гениальной комедии «Горе от ума», если в недрах этой интеллигенции все еще дремала национальная идея, дышавшая — по Акакию Церетели — на ладан и были еще живы ее носители и хранители огня — аристократы крови и духа, не чужавшиеся запаха пота и громкой речи своих вчерашних крепостных, то после 25 февраля 1921 года — даты, вписанной в «Житие Грузии» в четыре руки Навуходоносором и Мефистофелем, начался сплошной и безудержный обвал. «Законная жена» превратилась в наложницу, а дворянское собрание — в дом терпимости, где говорить о чести и совести считалось дурным тоном. Дышавшая на ладан национальная идея приказала долго жить. В рабстве. Если не с оковами на руках и кандалами на ногах, то, во всяком случае, с обручами на шею — когда-то гордой, а ныне покорно согнутой.

Грехопадение сопровождалось вырождением и перерождением. Это тоже был процесс, но уже акселерированный советской властью. Часть потомственной интеллигенции эмигрировала, большая часть пала жертвой сталинско-бериевских репрессий. Те, кто уцелел, или вынуждены были пойти в услужение большевикам, или затаились, затаились до такой степени, что утратили свою социальную функцию. Образовавшуюся пустоту стала заполнять интеллигенция новой формации — советская интеллигенция. Внешне она мало чем отличалась от потомственной, а по таланту иногда превосходила ее. Дело в том, что, в отличие от других национальных окраин Российской империи, грузинская интеллигенция «советского розлива» не была так называемой «народной интеллигенцией», то есть вышедшей из провинции. (Эта последняя стадия загнивания грузинской интеллигенции пришлась на последние же агонизирующие годы советской власти.) Грузинская советская интеллигенция рекрутировалась в подавляющем масштабе своем из городского — более того, столичного — тбилисского резервуара. Это были в основном дети образованных слоев, вчерашних интеллигентов.

Внешне, повторяю, они мало чем отличались от своих отцов, а по таланту даже

¹Агзевани — район добычи соли.

превосходили их. (Отсюда знаменитый «культурный флюс» Грузии на удлинённой коммунистическим тоталитаризмом шее.) Но по сути своей они утратили основное родовое качество интеллигенции и интеллигентности: бескорыстие — бескорыстие вообще и в первую голову бескорыстное служение своему народу. Впрочем, глагол «утратили» не совсем корректен. Они, подобно гетевскому Фаусту, заключили сделку с коммунистическим Мефистофелем, продали ему душу за право заниматься «своим делом».

В основе этой сделки лежал не только страх, лежало естественное желание самовыражения и самореализации. Вот почему многие интеллигенты работали на советскую власть и за страх, и за совесть (при всей сопротивляемости этого последнего слова). Принято считать, что платой за эту ограниченную творческую свободу-лицензию, назначенной коммунистическим Мефистофелем, было «воспевание» режима, его приукрашивание (теория бесконфликтности, борьба отличного с хорошим и прочие прелести соцреализма). Разумеется, такой пункт в контракте с дьяволом наличествовал. Но не он был главным. Главным пунктом — негласным и незафиксированным — было обязательство интеллигенции отказаться от роли народного поводыря и заступника, которая безраздельно переходила к Партии.

Отказ от этой роли сделал бессмысленным бескорыстие. Оно превратилось в ненужную добродетель, в слишком громоздкую мебель, которая мозолит глаза, а главное — совесть, которая «съедает» простор твоей творческой квартиры. Но пространство, из которого улетучивается бескорыстие, неминуемо заполняется субстанцией-антиподом — корыстью. Интеллигенция стала корыстной, эгоистичной и в результате этого — продажной. Прирожденный талант грузинской интеллигенции «уберег» ее от судьбы уличной девки, сделав прелестной весталкой и куртизанкой. Но основной принцип — продажная любовь — остался тем же. Вместо бескорыстной любви к народу, к людям продажная любовь к Партии. Отсюда моральный, вернее, аморальный солипсизм грузинской интеллигенции, ее нравственная слепота. Для нее уже ничего на свете не существовало, кроме собственного Я и Партии. (И то и другое с прописной буквы).

Партия коварно поощряла эгоцентризм интеллигенции, лицемерно жуя ее за «отрыв от масс», за добровольное затворничество в башне из слоновой кости. Отрыв и затворничество не поощрялись и наказывались лишь в том случае, если они были формой протеста. Коммунисты хорошо знали древнегреческую мифологию. Недаром в знаменитом «Кратком курсе истории ВКП(б)» приводится миф об Антее. Чтобы сломать непокорство интеллигенции, Партия отрывала ее от народа. «Массы» же были синонимом рабов. С другой стороны, она разжижала интеллигенцию «массами». Противоположности сходились. (Но в Грузии этот процесс, как уже было сказано выше, начался значительно позже, чем в других бывших колониях Российской империи.)

Политическая активизация грузинской интеллигенции началась с перестройкой. Не случайно фильм Тенгиза Абуладзе «Покаяние» стал символом этого последнего этапа вырождавшейся советской власти. Но вскоре выяснилось, что грузинской интеллигенции не осилить дорогу к Храму. К старту перестройки она подошла не только коррумпированной, но и разжиженной, не только продажной, но и провинциальной. Деревня к тому времени взяла роковой реванш у города. Запах крестьянского пота и звук его громкой речи захлестнули Тбилиси. Мне отмщение, и аз воздам. Нет, это не народ вломился в стены стольного града; это провинция взяла его изнутри, согласно древней грузинской традиции — крепость берется изнутри.

В то время как истеблишмент грузинской интеллигенции заседал в горбачевском Верховном Совете в Москве, реальная власть в Тбилиси, а следовательно, в Грузии, все больше переходила в руки интеллигенции провинциальной. Именно она явилась той социальной силой, опираясь на которую пришел к власти Звиад Гамсахурдия, превративший ради этого Тбилиси в Зугдиди. Грузинские интеллигенты-диссиденты оказались куда большими эгоцентриками и эгоманьяками, чем промосковский истеблишмент. Вацлава Гавела среди них не нашлось. Их эгоцентризм был тем более опасен и чреват трагедией, ибо он прекрасно уживался с бесстыдным популизмом их вождей. Звиад Гамсахурдия был не только рафинированным потомственным интеллигентом из дворян, хотя и обедневших, он был одновременно провинциальным Савонаролой, который мог разговаривать не только на языке Тбилиси, но и на языке Кутаиси, Зугдиди, Абаши. Он был законченным эгоманьяком, который, как и многие

диссиденты, понимал свободу Родины как свой собственный выход из тюрьмы. У него не было мировоззрения, но у него была харизма. И народ, с которым грузинская интеллигенция давно обрубила национальную пуповину, с которым она перестала, по сути дела, разговаривать, прислушался к слову Звиада и пошел за ним.

Провинциальная интеллигенция (я имею в виду не столько географические, сколько сущностные факторы) так же относится к интеллигенции, как чернь к народу. Она толпа. И Звиад Гамсахурдиа стал не лидером нации, а кумиром толпы. Отсюда такой феномен, как гонения на интеллигенцию в дни недолгого царствования Звиада I. Я вспоминаю встречи с грузинскими делегациями, приезжавшими тогда в Соединенные Штаты. По старой советской традиции они состояли из функционеров — на сей раз звиадовских, а не коммунистических, и «для украшения» — из видных деятелей науки и культуры. Последние, выступая совместно с функционерами, пели осанну Звиаду, а оставшись наедине, со страхом озираясь и понизив голос, шептались о том, что «жить стало невозможно», имея в виду хлеб не насыщенный, а духовный.

Как это ни больно, но надо признать: низменная месть толпы была исковерканной, искаженной, извращенной формой справедливого наказания за реальные преступления нашей интеллигенции, за ее перерождение, за ее эгоизм и высокомерную элитарность, за ее легкомыслие, за ее забвение своей миссии и предназначения, за подмену национальной идеи контрактом с коммунистическим Мефистофелем. Звиад Гамсахурдиа с пронизательностью и коварством злого гения нащупал слабую точку нашей интеллигенции и начал бить по ней, приглашая к тому же и толпу. Этой слабой точкой была прорусская ориентация нашей интеллигенции, скорее культурная, чем политическая, скорее прикладная, чем корневая. Мы понимали, что без России нам грозит удушье, варение в собственном соку. Россия была для нас окном и дверью в большой мир. Наши творческие достижения так и остались бы кантовской «вещью в себе» и задохнулись бы, если бы их не переводили на русский язык, а с него — на мировые; если бы наши кино и театр не «обкатывались» на русском, главным образом московском, зрителе, чтобы затем с подмостков столичных театров, с экранов столичных кино шагнуть за пределы Советского Союза — в Европу и Америку.

Космополитизм грузинской интеллигенции Звиад и провинциальная толпа приравняли к коллаборационизму. Это был дьявольски мастерский ход! Он оказался чрезвычайно действенным потому, что в этой подмене понятий присутствовала огромная доля истины. Грань между космополитизмом и коллаборационизмом была в советских условиях весьма прозрачной, субтильной. (Я имею, конечно, в виду не «безродный космополитизм».) И грузинская интеллигенция сплошь и рядом эту грань переходила. Когда умышленно, когда непроизвольно, ибо за роскошь космополитизма приходилось платить иудинными сребренниками коллаборационизма.

Мне кажется, что одной из главнейших причин, почему грузинская интеллигенция не дала сразу же бой Гамсахурдиа, не приструнила его, не ограничила его злую волю и большую фантазию, было сознание ею своей вины, парализовавшее ее гражданскую дееспособность. Имея рыльце в пушку, она не посмела выступить с открытым забралом против Звиада и не решилась обратиться с открытым лицом к народу. Значительную роль в этой пассивности сыграла и атрофированная шея грузинской интеллигенции, к которой прибавился еще один новый обруч — надежда на горбачевскую перестройку и лично на Михаила Сергеевича. Бойня в Тбилиси расстреляла веру в этого либерального кремлевского властителя. Но плодами этого отрезвления воспользовался опять-таки Гамсахурдиа, а грузинская интеллигенция в который уже раз была обвинена в коллаборационизме. В свою очередь она проморгала или не ощутила то, что этап покаяния — даже искреннего — прошел и наступил новый — искупления.

Наконец, нельзя сбрасывать со счетов обнаженную, откровенную грубую силу — толщину запястий. Грузинскую интеллигенцию запугали и терроризировали угрозами физической расправы. Актеры, певшие в Большом театре, получали письма, равносильные смертному приговору, который анонимы обещали привести в исполнение, если те осмелятся выступить на сцене театра имени Палиашвили, моей дорогой ღმრთი. Режиссеры, ставившие спектакли в российских театрах, скульпторы, ставившие свои монументы в российских городах, писатели, печатавшие свои книги в российских издательствах, были объявлены «врагами народа». Реминисценции прошлого, призраки 37—38 годов заставляли трепетать людей от этих двух слов.

Головорезы Гамсахурдиа мало чем отличались от чекистов Берии. А грузинская интеллигенция, повторяю, в самых глубоких закоулках своей смятенной души чувствовала себя «немного» «врагом народа». Вот она и затаилась, опасаясь физической расправы и придавленная чувством неискупленной вины. Затем началась эмиграция в Россию и на Запад, которую подхлестнул экономический крах Грузии. Страна осталась и без сапожек царицы, и без экономической независимости.

Свержение Гамсахурдиа не было делом рук грузинской интеллигенции, ее заслугой. Он пал жертвой разборок среди себе подобных. Гражданская война на улицах Тбилиси, штурм Дома правительства, в котором засел Звиад, в чем-то напоминали штурм Белого дома в Москве в октябре 1993 года. Здесь я опускаю целый ряд аналогий, которые не относятся непосредственно к моему повествованию. Ограничусь лишь одной. В обоих случаях русская и грузинская интеллигенция проявили трусость и жестокость. Укрывшись за плечами «человека с ружьем», они требовали от него крови. В моих ушах до сих пор звучит сопрано фурии российской интеллигенции Галины Вишневской: «Я вас умоляю! Только не щадите их!» Были свои сопрано и у Грузии, равно как и басы и баритоны. Потеряв голову от страха, они требовали головы Гамсахурдиа. «Соль земли» превратилась в английскую соль, вызвавшую кровавый понос.

Гамсахурдиа тогда ушел из Тбилиси, но все остальное осталось, как и было. Униженный и оскорбленный народ, покинутый своим недостойным пастырем-интеллигенцией; крестьяне, разучившиеся сеять пшеницу и кукурузу; «властители умов», разучившиеся сеять разумное, доброе, вечное; нахрапистая и нахальная провинция, задающая тон сплошь из фальшивых нот и мстящая когда-то заносчивой столице, насилующая ее, как орангутанг Джакко княгиню Хевистави из знаменитого романа Михаила Джавахишвили; пустые обещания и пустые прилавки; холод и голод; гапоны и купоны; уже не борьба, а драка за власть; четвертование территориальной неприкосновенности земли Иверской; разбой на больших дорогах и средь бела дня; разборки феодальных мафиози и мафиозных феодалов.

Короче, Грузия погрузилась во мглу и в прямом, и в переносном смысле слова, словно после татаро-монгольского нашествия. Нет света электрического и света надежды. Нет воды из крана и воды бессмертия из Цхрацкаро. Нет хлеба насущного и хлеба духовного. Правда, зрелища остались. Позорные.

В этой непроглядной мгле — хоть глаз выколи — серебрится венчик седых волос на голове Эдуарда Шеварднадзе. Независимо от того, что он делает или не делает, сам факт его присутствия на сцене политического театра Грузии оберегает ее от полного развала и национального самоубийства. Ненавидящие Шеварднадзе провинциальные наполеончики при всем своем скудоумии понимают: они не в его весовой категории. Они не могут вести переговоры с Севером и добывать деньги на Западе. Но даже не это самое главное. Пока Шеварднадзе жив и правит в Грузии, никто не смеет бросить ему вызов в чисто личном плане — дескать, а чем я хуже тебя?! Но, если он сойдет со сцены, исчезнет аршин Арсена, все пигмеи подравняются, и каждый из них будет вправе сказать другому: «А чем я хуже тебя?!» И в самом деле — чем? Ведь все они стрижены под одну гребенку, под первый номер, как новобранцы и тюремные заключенные, как «скинхэды» и тифозные больные. Это равенство в ничтожестве непременно нарушит хрупкий баланс сил, и начнется вязкая — в крови и грязи — борьба за власть, которая окончательно доконает Грузию:

Кто возмечтает о ее смерти,

Мгновенно убьет ее.

Акакий Церетели

Значит, каждый грузин, озабоченный судьбами своей многострадальной Родины, именовавшейся в недалеком прошлом «солнечной Грузией», должен ставить на Шеварднадзе, не так ли? Так и не совсем так. Любой политический и государственный деятель, впрочем, как и любой человек, имеет энное количество позитивной динамики, отпущенной ему Богом, Судьбой и Историей. Пока он ее не исчерпал, его деятельность несет благо или, во всяком случае, объективно льет воду на колесо прогресса. Но, когда позитивная динамика исчерпана, когда начинается стагнация, а затем откат, вождь-реформатор превращается, как говорится, в и.о.

ржавого гвоздя на пути прогресса, а то и в отнюдь не просвещенного диктатора. Происходит трансформация лидера нации в «отца народа», который, вместо того чтобы думать *о нем*, начинает думать *за него*, становится обручем на шее народа, истощая его волю, самостоятельность, предприимчивость, то есть свободолюбие.

Грузинская интеллигенция должна поддерживать Эдуарда Шеварднадзе лишь до того момента, пока он не начнет украшать шею Грузии обручами. Причем это может произойти независимо от его доброй воли и внутренних побуждений. Поэтому ныне очевидная незаменимость грузинского лидера должна носить тактический, а не стратегический характер. Он дал Грузии судьбоносную передышку. Это не так мало, как может показаться на первый взгляд. Но этой передышкой необходимо похозяйски распорядиться, чтобы закат Шеварднадзе не стал одновременно и закатом Грузии.

Распорядиться этой передышкой, воспользоваться ею — историческая миссия грузинской интеллигенции. Это и будет ее искуплением, которое я, теолог-любитель, трактую как *активное покаяние*. Дорогу к Храму мало найти. Ее надо построить. С самого начала и основания. И осилить в ходе строительства. Но я убежден, что, построив и осилив дорогу к Храму, мы и его найдем поруганным и порушенным. И Храм нам придется создавать заново.

Однако распорядиться передышкой, чтобы проложить дорогу к Храму и восстановить сам Храм, грузинская интеллигенция сможет лишь в том случае, если она начнет эти «строительные работы» с самой себя. Она должна перегруппироваться политически и возродиться этически. И то и другое требует «хождения в народ». Долг и задача интеллигенции отвоевать народ у провинции (это не парадокс) и дать ему заговорить в полный голос, который так раздражал Гамсахурдиа-старшего. Слезы и кровь уже больше не могут оплодотворить землю Грузии. Только трудовой пот может, запах которого Гамсахурдиа-старший еще кое-как выносил...

В своем знаменитом стихотворении «Грядущие гунны» Валерий Брюсов писал:

Но вас, кто меня уничтожит,
Встречаю приветственным гимном.

Трагедия русской дореволюционной интеллигенции, приветствовавшей Октябрьскую революцию, состояла в том, что она, ослепшая от стыда и чувства собственной вины перед народом, потеряла ценностные ориентиры. Народ и гунны стали для нее едины, как впоследствии народ и Партия — народ с маленькой буквы, Партия — с большой. Русской, как и грузинской, интеллигенции не удалось даже красивый жест самопожертвования. Ее вздернули на дыбу, и вместо приветственного гимна их полупридушенное горло и атрофированная шея исторгли унижительную мольбу о пощаде и еще более унижительные признания в связях со всеми империалистическими разведками мира. Заступники народа каялись и признавались в том, что они враги народа. Без кавычек.

Грузинская интеллигенция тоже приветствовала Великий Октябрь. Его воспел царь грузинских поэтов Галактион Табидзе. Но, рожденный летать, он не смог ползать в ногах у гуннов и выбросился из окна. Грузинская интеллигенция приветствовала и провозглашение независимости республики Звиадом Гамсахурдиа. К тому времени она, к сожалению, уже разучилась летать. Поэтому плоды независимости достались не ей, как поводырю народа, а провинциальным гуннам, жестоким и алчным. И близоруким.

Так что опыт у нас есть. Хоть отбавляй. Главное — сделать из него правильные выводы: возродить и падший дух нации, и ее материальное благополучие — экономическую независимость. Если грузинская интеллигенция выполнит эту историческую миссию, то, я уверен, она сможет с чистым сердцем провозгласить тост:

— Выпьем за то, чтобы у Грузии было больше таких сынов, как мы!

И, я в этом тоже уверен, весь грузинский народ этот тост поддержит. От чистой души.

Миннеаполис, США

P.S. Вся критика в адрес грузинской интеллигенции, которая содержится в этом опусе, полностью относится и к автору. Я писал не столько портрет, сколько автопортрет.

Шуга Нурпеисова

Вся власть — брахманам



Статья Шуги Нурпеисовой представляет собой развитие концепции, заявленной автором в прежней работе («Анафема», см. «ДН», 1995/1); тогда же мы имели случай отметить в этой концепции сильные и слабые стороны. В прежние времена такого рода идеи шли по разряду реакционного романтизма, но этот ярлык пора сменить (во всяком случае, первую его часть), потому что на старой романтической основе разрабатываются сегодня новые национальные образы мира, и поскольку делают это, как правило, люди молодые, их идеи вполне могут иметь будущее, то есть оказаться прогрессивными. Будущее в любом случае надо знать — с тем мы и представляем вниманию российских читателей текст одного из ярких представителей современной казахской мысли.

Есть мотив, который хочется оговорить особо: он может несколько озадачить наших читателей. Автор темпераментно протестует против евразийской

программы, имеющей, как известно, в Казахстане сильных сторонников: фигурально говоря, Ш. Нурпеисова боится, что путь через евразийские ворота ведет казахов прямо в имперские объятия В. Жириновского. Однако Россия отнюдь еще не лежит в этих объятиях.

А если она в них и окажется, вряд ли это будет означать то, чего так боится Ш. Нурпеисова. Правые, как известно, у власти левеют, левые правеют; добываясь избрания, политик может обещать все что угодно, и говорит он все, что хочет (вернее, все, чего хотят, по его мнению, люди: совершить бросок на юг и т.д.), но, оказавшись у власти, политик делает не то, что «хочет», а то, что диктуют обстоятельства.

Обстоятельства диктуют нам: братство равных.

Чему, как ни странно, самим фактом своего упрямого диалога с нами способствует Шуга Нурпеисова.

Л. А.

I

Быть может, нам повезет понять, что прекрасное — не забава, и тогда мы спасемся. Все, кто добивался грандиозного, шли за идеей, как идут за звездой, и творили собственный стиль. Перестройку отличало полное бесстылье, равно и полное отсутствие собственного интеллектуального содержания. Только протест, порожденный долгим гнетом, и ошеломление от роскоши и либерализма Запада. Идея благоденствия и свободы была единственной серьезной вдохновительницей перестроечников. Но демократия не более чем форма, и ей еще предстоит отыскать свое реальное наполнение. А вот стиль — это уже не простая оболочка. Стиль — это именно материализация, квинтэссенция сути и в то же время аура, кристаллизующая суть. Непонятно, как бороться с казармой и бараком, коль понятия о гармонии и красоте проросли и сложились из завышенного подглядыванья на фасады чьих-то красивых коттеджей. Вероятности больше, что выйдет скорее курятник. Советскую школу губило равнение на троечника. Что негоже для школы, кажется, устраивает демократическое общество независимого Казахстана. Не рассматривать проекты, что сложны пока для среднего восприятия, ни в коем случае не увлекать никого в опасную даль за крышу сарая. Говорят, несвоевременны наши споры о языках — обществу нечего есть, да и

мнение существует, мол, язык — лишь средство передачи информации, инструмент общения, и не более. В таком случае и огород городить действительно незачем. Сегодня слово и вправду стало мертвым, бессильным и способно передавать лишь информацию. Но «Вначале было Слово. И Слово было Бог». И в этой функции оно творило чудеса. Добрые, но, впрочем, и самые разные. Большевики зато оказались политиками более прозорливыми. Уж они-то знали, что и в тюрьму народ завлекать лучше песней. Наверное, в своих уютных склепах они потешаются над нами, у кого перехватили победу в час торжества, опорочив само понятие идеи в наших глазах. Кто мог мечтать прежде о стольких замечательных возвращениях. А ведь даже религию вернули. Какое ценное, в самом деле, приобретение — звучная буква, сосуд нарядный. Сиял прежде, говорят, чудесный огонь в сосуде — дух живой и творящий: знание, создающее мосты между микрокосмом и макрокосмом. Мир на глазах преображался по велению могущественного Слова. Он становился храмом, все обретало чудесное значение и смысл. Сегодня это происходит несколько иначе. Один неубедительный моральный кодекс строителя коммунизма спешно сменили на другой, столь же эфемерный. Интересное возвращение вышло. Так из химчистки возвращают по квитанции клиенту пальто.

Человек — зеркало, в которое глядится Бог. Бог наблюдает, познает себя, наблюдая за человеком. И отсюда главная суть человека — он есть существо творящее. Дьявол — пародия на Бога. Бог творит, дьявол подражает, пародирует, лишенный творческого начала. Подражать, воспроизводить механически какие-то формы, строя ни много ни мало новую жизнь — идти отнюдь не за Богом.

Не ясно ли, что в первую очередь в изменении нуждается сама атмосфера вокруг нас? Но уповают по-прежнему на чудодейственную силу принимаемых законов и на удачную смену чиновников. Однако великая же радость заниматься неутомимо перестановкой своих драконов. Бесконечно менять дракона на дракона. В питательном бульоне, какова наша среда, явиться на смену старым могут лишь новые драконы. Драконий панцирь в нашем воздухе нарастает на очередного избавителя как бы сам собою. Демократический народ, к слову, имеет и то правительство, и ту оппозицию, каких заслуживает, ибо политика — это скромное искусство возможного. А невозможное случается в обществе красивых людей, признающих власть чуда. Хотя бы потому, что это красиво и вдохновляет. Жизнь, как ни крути, — творчество, нечто гибкое и радостное, а отнюдь не мрачная, упертая борьба.

Идея нынешнего евразийства строится вокруг посыла, который вполне способен лечь надгробным камнем на все живые творческие силы народов. Политики обещают неповторимое духовное объединение. Но трудно все же отрицать, что в СНГ сегодня однозначно существует диктат экономики, и нет пока оснований полагать, что у подобного альянса будут духовные приоритеты. Не будет никакой Евразии — сплошное экономическое пространство, забывшее, что было некогда чем-то иным. И Казахстану, у которого нет собственных сверкающих, заманчивых ориентиров, путь один — снова слепо плестись за государством посильнее, которое хоть на шаг, но впереди. Что сегодня побуждает Чечню к отколу? Полнейшая чужеродность ее в теле России. Россия — замечательная страна, но судьба ее автономий свидетельствует, что не научилась она пока, как бы ни клялась евразийством, воспринять идею покруче, чем то ли святая, то ли цивилизованная Русь. Русь великолепная в оправе из мелких, благородных народов. Пока она демонстрирует фатальную несклонность ментально сблизиться со своими федеративными частями, общаться не только поучая, но и участь, Евразия лишь довершит то зло, что уже содеяно сегодня разным народам. Сегодня она громит Чечню, благосклонно внимает Солженицыну насчет Казахстана — Южной Сибири, дает дорогу Жириновскому, а мы из кожи вон лезем в евразийство, будто вознамерились компенсировать России неблагоприятный Северный Кавказ. Так с кем же мы заключаем союз, не с Россией ли Жириновского? Ей все никак не удастся оторвать от себя зачарованный нарциссический взгляд, увидеть самоценную сущность народов, которых вобрала в свою сень, поглотила, да как-то и забыла о них, объявив их малыми и ведомыми мудрым, заботливым лидером. Все говорит за то, что она не готова к Евразии, пока нет ни у кого стройных концепций новых взаимоотношений России с Азией. Нам в этом союзе отводится, похоже, роль вечных благодарных учеников. Ведь одаривающей стороной она видит только себя. И что тогда наше евразийство? Все-таки не таким было изначальное евразийство. Азиатское начало в том евразийстве означало не дикость и

невежество, которые надо преодолеть, но доблесть и благородство. Наше новое бодрое движение к Евразийскому союзу пугает именно легкомыслием этой установки на авось, дичайшим отсутствием какой-либо продуманности, подобия даже осмысленности. Но со смешной апелляцией не более и не менее как к здравому смыслу.

//

И все же нам важнее разобраться прежде с независимостью и самобытностью Казахстана. Совершенно напрасно, думается, мы стремимся обтекать идеологическое измерение столь основополагающих вещей. Было ли сложно записать в Конституции — государственность самоопределившейся казахской нации? Намного сложнее расшифровать, обосновать, разложить по полочкам. Что такое нация? Приходят люди одной крови на землю и пускают в нее корни. Само собой, не просто хозяйствуют рачительно. Были это, как-никак, прежние люди, умевшие жить на пространстве иначе — проводниками между космосом и почвой, и культурное наследие — зримый, конкретный плод союза почвы и космоса. Люди лишь проявляли эту связь всей своей жизнью. Состав подданных мог сколь угодно разнообразиться впоследствии, важно лишь, остается ли при этом изначальное ядро культуры, самое древнее, освященное непосредственной связью с почвой, вовлекая в поле своего влияния всех вновь прибывающих. Первое условие — нация как люди одной крови — меркнет, отступает перед вторым — нация как сообщество любых кровей, вместе духовно живущее на своем пространстве. Культура и язык коренного населения — это не просто частная его атрибутка, которую он зачем-то навязывает другим. Это признание некоего высшего принципа жизни, это посвящение в статус хозяев дома и ключ ко всем его тайникам и загадкам. Ибо каждый казахстанец нуждается в обретении собственного опыта духовной жизни на земле, иначе он становится творчески несостоятельной и бесплодной частицей общества. Только формально отвоеванное равенство заведет в ловушку истинного интеллектуального неравенства. Что, в самом деле, смогут выражать русским языком те, кто добивается его государственного статуса, защищая свое право жить здесь принципиально беспочвенной жизнью? Скорее всего речь их будет действительно передавать голую информацию. Тот же русский у казахов окажется со временем богаче и выразительней, вмещающая больше живых, реально прочувствованных смыслов. Самые деликатные и нежные и в основном культурные материи в юридическом сознании наших граждан превращаются в национальный либо политэкономический вопрос, полностью заслоняя суть проблемы.

Вообще к культурным вопросам подпускают всех подряд, но ближе всех, конечно, бизнесменов. Деятели культуры — последняя инстанция, которую выслушают. Вот хотя бы к вопросу о форме собственности на землю. Во всяком народе отношение к земле — это существеннейшая часть культуры. Не очень, правда, пугает кого-то риск духовного развращения людей, если закрепить и ввести в закон отношение к земле как к товару. Однажды это уже приводило к тому, что, поднимая целину, оскверняли могилы дедов, на земле Абая затевали полигоны. Так откуда взяться культурному сознанию? Что за роковая, однако, страсть действовать прежде, чем подумать? Сегодня уже активно закладываются те самые принципы, что будут вечно держать на задворках культуру, если под культурой не понимать, конечно, балет да выставку. Ну а если культура — это особая магия отношений, которые человек создает между собой и миром, собой и землей, когда небеса для него не пусты, а земля — не огород и не пашня, когда есть предел даже воле человека? Предмет национального вопроса — это на самом деле выбор принципа бытия, спор культуры и бескультурия. В весьма влиятельной и многочисленной русской части населения республики особенно пугает чисто политическая активность при полном, если вдуматься, безразличии к культурным вопросам и к своему культурному самоопределению на земле, где как-никак жить вечно. А разве казахов ждет меньше проблем на пути приобщения к собственной традиции? Традицию в новые времена ведь не перетащишь, как комод из чулана, одним волевым усилием. В одну реку дважды не войдешь, коль поверим древнему греческому человеку Гераклиту. Надо еще подобрать некий хитрый ключик творческого мышления, заново открыть в оболочке ритуала традицию как вечный закон, как высший всеохватывающий смысл. Едва ли можно сказать, что смысл и роль культуры сегодня у нас кому-то вполне ясны.

III

Одна проблема уж точно не может больше оставаться частной тревогой и маленьким делом каждого государства в отдельности, и это осознанная защита духовности во всем мире. В той тонкой сфере, что определяет на самом деле все: шаги политиков, нравственное состояние народов, качество интеллектуальной жизни, способность человека не быть беспомощной щепкой в океане изменчивых обстоятельств, происходят те же катастрофы, что и в природе. И с теми же чудовищными последствиями. Белые поселенцы Америки истребили индейцев, и возникло мощное бескорневое, антитрадиционное государство, чье уникальное порождение — современная масс-культура — с успехом подтачивает старые европейские, а теперь и наши культуры. Казахстан, судя по всему, готовится стать еще одним огромным плацдармом, бастионом воинствующей нищеты духа, и уже отсюда на соседей будут веять засушливые ветры. Не напрашивается ли аналогия с Аралом, с его высохшим дном, с его песчано-солевыми бурями? Свято место пусто не бывает. Сон разума порождает чудовищ, а мир как никогда стал нынче пронцаем для самых разнообразных влияний.

Всякое зло когда-то возвращается к своему автору. Маленький пример, очень точное и тонкое наблюдение из новомирской статьи Марины Новиковой на материале «Прощания с Матерой»: «Экологическая и этическая катастрофа Матеры, «конец» ее «света» — серия уже вторая. В первой серии был «конец света» Тунгуски» (заметим в скобках, «конец света» Тунгуски устраивался предками старухи Дарьи, что явились со своей освоительной миссией на земли народа Тунгуски. А уж для Дарьиных потомков земля логично и закономерно стала простым хозяйственным объектом, с которым любые вольности допустимы).

Это же сегодня всеобщий интерес и корысть — приветствовать и поощрять ростки культурного мышления, поиски уникального стиля где бы то ни было.

Стиль — верный знак готовности и открытости игре. Игра во имя того, чтобы раздуть, расшевелить тлеющие искорки высшего, творческого сознания в человеке. Игра подчас на опережение событий и предпосылок, игра, самым активным образом создающая подобные предпосылки. И если дух утвердился где-то в одной точке, есть шанс, что сей импульс распространится дальше. Благ никому и никогда не покажется достаточно. Удел «совков» и всех экономически мыслящих — постоянная вражда и соперничество. Зато дух множит силы и сближает. Непонимание, разделение, вражда — это при общении на примитивных уровнях. Надо к дружбе предъявлять достаточно высокие требования, чтобы уметь обратить к себе лучшие стороны другого. Так заманчиво просто кажется — поделить народы и культуры на малые, примитивные и великие. Но посредством культуры само пространство выражает свою особенную сущность. Сегодня, когда повсюду дух едва удерживается, распылять его дальше — то же, что продолжать самоубийственные игры с озоновым слоем. Мы же, по определению, пребываем в Кали-Юге, темном веке, и наше мышление и восприятие становятся все жестче, рассудочнее, беднее.

Два пути возможны из Кали-Юги. Либо нынешняя человеческая цивилизация исчезнет, повторяя трагический конец Атлантиды, либо произойдет возрождение духа в максимальном его взлете. В таком случае право человека будет совпадать с его неотъемлемым правом реализовать свои высшие возможности. А судьей и верховным правителем, как и встарь, станет дух.

Эту не самую простую из задач облегчить можно, смелее окунаясь в игру. Понять, что Слово есть Бог — произвести в сознании бурю, колоссальный переворот, целую революцию, стереть в себе одномерного, боязливого, подражательного материалиста и стать творческой личностью. Что, скажем, произойдет с Казахстаном, когда здесь неприличным станет вслух и печатно заявлять хотя бы то, что язык — инструмент общения и не более и, вымолвив подобное, навеки покроешь себя несмыслимой славой? Когда здесь научатся слушать без раздражения о вещах несвоевременных и уважать то, что пока еще не вполне, может быть, понятно — это уже, во всяком случае, будет не полуварварское общество, где демонстративно и бестрепетно расписываются в невежестве.

Что тебе в том, что ты приобретешь весь мир, зато потеряешь душу свою? Что же все-таки мы приобрели и что потеряли?

В активе числим хорошую среднюю образованность, прочие столь же выдающиеся наши умеренные достижения. В весьма дремучие времена, еще до

знакомства с тремя ветвями власти и гениальным механизмом юриспруденции, тяжбы в степи решались обыкновенно судом биев — мудрецов. Порою возможно было выйти в споре победителем, даже не имея на своей стороне формального права. Если находилось то самое пронзительное слово, вызвавшее и будившее голос чести и благородства в сопернике. И степной варвар, еще не успевший закалиться против поэтических аргументов и магии отразившего эту красоту слова, бий-соперник в восхищенном молчании снимал с себя чапан и накидывал на плечи того, кто только что так блистательно и неотразимо разбил его. Можно обрести многое: новые знания, вхождение в цивилизованный мир, успех, но среди всех обширных великолепных приобретений не пропустить бы только, не утратить попутно чего-то, что весь мир уже не сумеет возместить. Боюсь, самую малость таки мы упустили: стихийную изначальную ясность и силу чувства, которая уберегала от великих подлостей и глупостей, от поразительной нынешней мелкости и близорукости. Сколь скучны, неинтересны патристические замыслы и представления о том, каким быть самобытному Казахстану, столь же затхлыми до удивления выглядят мечтания о стандартном наборе цивилизованных благ и хорошеньких коттеджей. Что значит все-таки изъять из общества самый чувствительный и чуткий во всех отношениях слой. Срезали нации аккурат самое темечко. То ли важно было в первых казахских интеллигентах, что они написали, какой политической платформы придерживались? Они были просто иначе душевно устроены. Только и всего. Неподдельность и благородство алмаза, прошедшего тончайшую огранку, не изменившую природы драгоценности. Наличие красоты и умения различать глубокое снимает вопрос об архаике или современности сразу и безусловно. Ибо это уже рассчитано на все времена, на века. Если же призывают к современному мышлению, сразу задают неизбежность морального устаревания, подразумевая сиюминутность, лишенную ядра.

IV

То, что нам нужно, вероятно, очень много, а может, вовсе нет. Может, на первых порах достаточно просто затосковать от собственного вопиющего несовершенства и замечательно скромных запросов и оставить жалкие доводы, что пусть придут более достойные, а с нас, мол, что спрашивать. Отказав себе в опасном соблазне собственную духовную ношу переложить на кого-то, можно хоть немного приблизить наступление лучших времен. Должна быть достигнута верность себе в главном — сильном, гибком, обязательно высоким духе. Суть традиции — сохранять духовное пространство, где небо — земля — человек составляют некую систему. Он — человек — творец, и импульс творчества в нем — это искра действительно божьего огня.

Надо оттачивать и воспитывать в себе поэтически изощренную интуицию, не боясь искать истину на путях парадокса. Найти собственную сказку и вживаться в нее, осваиваться в ней, научиться замечать и ценить изящный, необычный штрих. Сколь многое способен выразить и передать один штрих. Изделия мусульманских ремесленников украшались цитатой из священного Корана. Слово — Бог. Это ни в каких доказательствах не нуждалось. Аллах творит своим Словом. И земной человек спешил подтвердить всякий раз связь своих действий с подлинным источником своего вдохновения. Он жаждал приобщиться к священнодействию. Современный человек — это внутренняя дряхлость, утратившая дар естественного вхождения и пребывания в поле истины. Древний язычник с его свежей, острой интуицией к небу был гораздо ближе. Нам же проще и понятней сегодня подменить дух буквой и тем окончательно закрыться от глубины веры. Необходимо ощутить на себе живую преобразующую мощь и красоту того, что двигало, пересотворяло мир, пока он еще не был старым. Что мы обнаруживаем в исламе прежде всего? Догму, строгое расписание каждого шага. А как быть с тем, что он создал огромный халифат, полный блеска и изящества, халифат, поклонявшийся знанию? Нет иного объяснения этому, кроме того, что люди внимали непосредственно духу Корана. Но мир давно уже не тот, каким был. Дважды в одну реку не ступишь. Просто занимать отчужденную, оборонительную, стороннюю позицию от всего, что кажется скверной, — возможно, и является проявлением большой цельности. Но позиция эта, безусловно, пассивная, нетворческая, а первые мусульмане были именно творцами и не боялись испачкать пальцы в глине. Они были пытливы и любознательны, веря, что разберутся, что плохо, а что хорошо.

Глубокое знание не может приносить окаменелость воображения и ханжескую боязливость, но лишь большую внутреннюю свободу и умение ориентироваться в любом лабиринте. Угасание творческого импульса на этапе реанимирования религии, очевидно, стоит сравнить с первым свободным и могучим истечением ее играющей силы в бесчисленности форм и проявлений. Напротив, восстановление отличается скованностью и унылым догматизмом. Грешный мир, уверенно ощущающий и обживший собственные пропорции земного и небесного, активно и безудержно творит, завораживая своей кипучей энергией. Поборники веры едва успевают отбиваться от его атак, твердя: чур, чур, искушение, прельщение, но игнорируя все же главный вопрос: каково же современное творческое мышление, проникнутое духом веры и знанием должных пропорций? А ведь все средневековые дышало разгулом творящей, беспокойной мысли, так легко, естественно оборачивая на службу себе даже еретические положения и обычаи.

Самый действенный и надежный способ защиты, наверное, — защитить себя изнутри, достигнув той высоты обзора, где рассеиваются ложь и туман. И со средой уже можно не бороться ожесточенно и обреченно, но воздействовать на нее превосходством и могуществом знания. Примечательно, что вчерашнего монастырского послушника Алешу Карамазова можно было бы без копейки денег выпустить в незнакомый город, который, как известно, есть коварные каменные джунгли и тому подобные ужасы. И Алеша не пропал бы и не потерялся. Нежная, хрупкая оболочка таила внутреннюю несгибаемую силу и проницательность, которой не страшны ни грязь, ни злоба, ни обман. Все живое чувствует силу и признает ее, но у каждой силы ведь своя степень обеспеченности, а у этой, наверное, самая высокая, но только культуре доступно создавать подобную породу, что как бы заговорена от зла и обмана. Иным из наших алашординцев было всего по двадцать лет, когда они уже умели с замечательным достоинством и бесстрашием нести бремя ответственности за весь народ. Но вне культуры человек беспомощен перед злом и не ведает, что такое добро.

Вольно было Фрэнсису Фукуяме, атеисту и прагматику, видевшему лишь то, что непосредственно доступно глазу, объявлять конец истории вследствие завершения борьбы идеологий. Но традиции учат нас, что время циклично: расцвет и постепенный упадок цивилизации. И снова закручиваются витки бесконечной спирали.

Французский эзотерик-традиционалист Рене Генон, принявший ислам, в теории цикличности индуизма нашел объяснение духовному коллапсу современного мира. На Западе кшатриев — людей действия — всегда было много больше, чем брахманов — представителей истинно интеллектуальной, духовной элиты. Запад есть олицетворенный порыв к действию. К завершению цикла дух слабеет и возникают благоприятные условия для тех, кем движет воля к действию, к его практическому результату. Даже склонный более к умозрению Восток уступает этому напору и вынужден сдавать свои позиции. Но цикл подходит к концу. Новое начало на подходе. История только начинается.

И еще одно тому доказательство и подтверждение — в разгадке феномена ультрарадикального национализма, столь занимающего умы. Откуда, казалось бы, сей дивный фрукт на территории вчера только интернационального Союза? Но ведь это классические кшатрии — воины и охранители, стражи силы и славы государства.

Те, чей девиз: доблесть или слава государства превыше всего. Каста, за которой по иерархической лестнице следуют вайшьи — торговцы и ремесленники, наши бизнесмены, производственники и экономисты. Возлюбленный средний класс — новый претендент на господство. Когда праздник на улице деловых и решительных и все слишком сложное и тонкое никому особо не нужно, естественно, в противовес вайшьи проще, легче появиться и организоваться кшатриям, нежели действительной элите человеческого общества — мудрецам и поэтам.

Идеал и стихия кшатриев — это величие и подвиги. И культ тельца должен их закономерно возмущать — капиталу нужны умеренность и срединность. Подвиги в такую обстановку совсем не вписываются.

Особый интерес представляет отряд украинской национальной самообороны, или УНА-УНСО. Русские аналоги, более известные, для примера подходят меньше. Не только боевики Баркашова и Жириновского, но и вполне мирные интеллигенты зачастую не мыслят себе Россию без многонационального шлейфа, оттеняющего ее величие. Всплеск воинственного национализма здесь был предрешен, почти запрограммирован и, значит, уже отягчен привходящими обстоятельствами.

Воинственность здесь угрюмая, беспросветно патетическая, обращенная вспять, воинственность — возмездие. Но уж Украина-то империей никогда не была. Кшатрийство здесь — от беспримесно чистого порыва к героике и отвращения к пресным, размеренным добродетелям мира, празднующего конец истории. Яркое, страстное ощущение жизни ставится выше комфорта, купленного ценой отказа от любых идей, кроме идеи комфорта. И оттого УНА-УНСО — это самодостаточное отражение всех сильных и слабых сторон идеологии героизма. Сильных, как оппозиция духу буржуазности и экономизма. Слабых — ибо в ней отсутствуют истинная элита и истинные ценности. Это все-таки попытка редуцировать дух к тому, как его понимают кшатрии. Начнем, однако, с выигрышной стороны. Стиль. К эстетическому компоненту своей программы и имиджа украинцы относятся весьма ревностно. И бонтон — это их принцип. Бонтон как магическое средство озарить и превозмочь унылую местность под названием двадцатый век на его излете. И сразу рутинная жизнь и деятельность партии или организации преобразуется в некую увлекательную игру, где акцент смещен с конкретной цели на само вырванное право жить не в мертвящем ритме добропорядочных лавочников, провозгласивших конец поиску человеческой мысли. Одна, но говорящая деталь. Уже предвыборная программа УНСО — сплошной вызов всем принятым нормам. Мы обещаем производство и выпуск лент Мебиуса по всей стране, а также, что избавим молодежь от гнета четырехзначной математической таблицы. Обещаем уничтожить экономику как науку и как явление. А на том месте, где советские газеты любили призвать пролетариев всех стран объединиться, эти ставят свой лозунг — все и немедленно. Они исповедуют свой особый дзен, воинственный и воинствующий, цель которого — вырвать дух из потока жизни к осознанию себя. И уже поток жизни не тащит тебя за собою. Мы остановились вместе со временем, но вне потока. Мы не ищем соответствий ни в собственной, ни в мировой истории. У нас нет великих предков, на которых мы равняемся и строим себя по ним. Мы сами свои великие предки. Эстетика намеренного эпатажа призвана утвердить и четко обозначить стиль пионеров, дерзко прокладывающих собственный путь вразрез магистральной линии. Эпатаж границ не знает. Украина от Сяну (Сян — река) до Сяну. Вторым государственным языком России будет русский язык. Российская империя — это на самом деле наша империя, строили ее украинские воины. Лорд Байрон, поехавший сражаться за дело далеких греческих повстанцев, хоть, может, и не прямой кумир, поскольку кумиров нет, но повоювать на столь же красивом ландшафте кажется заманчивым. Война, что называется, — дело молодых, лекарство против морщин. Достаточно грозный, без сантиментов, не чуждый при всем том озорства хороший тон, каким его понимают кшатрии. Для которых жизнь — это азарт, риск и острые чувства в водовороте неистовых стихий. «Он не любопытствовал насчет строения травинки или звезды, но, уважая тайну всякой вещи, интересовался лишь взаимосвязью. Вряд ли ему была присуща агрессивность, ибо он старался выбирать сильного противника. Он стыдился своей победы и принимал поражение как стимул к продолжению борьбы, а смерть как метафизический прорыв от одной формы бытия к другой». Из предисловия Евгения Головина к «Вальпургиевой ночи» Густава Майринка о том же предмете — назначении и сущности мужчины, как они виделись в старину.

Сильный противник, возможно, вещь не самая и плохая на свете, если учесть, что на протяжении всей современной истории именно дух старались раздавить и уничтожить в первую очередь, в некое бездумное, беспамятное овечье состояние привести народы, чтобы соперника впредь и быть никогда не могло. Что особенно ненавистно и недопустимо в сопернике — это его достоинство и благородство.

К чему стремится УНСО? К идеократии, и критерий объединения — дух, и дух ставится превыше крови и сознания. Но закона, что может оказаться превыше идеала доблести, крутая украинская вольница пока не обнаружила и не ощутила. То же православие нельзя назвать краеугольным камнем их мировоззрения, тут скорей языческие импульсы действуют. А как долго может горение продолжаться, не превращаясь в адское пламя, как долго сможет сохраняться чистота намерения без опоры на более объемлющую и глубокую идею? Хоть российские националисты и поют осансы духовности и ценностям религий, суть от этого нисколько не меняется. Их истинный идеал еще локальнее, уже. Железный русский порядок ради жизни и добра на земле, наводимый самой твердой рукой. Но когда духовность узурпирована для самих себя,

распределяется одним народом, нуждается в обязательном подтверждении силой, это уже не естественная норма бытия, а условие, принимаемое с массой оговорок. И все равно выходит, что во имя и в рамках конкретной прагматической цели — славы России. Но мир несколько шире России. И дух, выходит, все равно обречен. Короля можно узнать по тому, что его прикосновение исцеляет (Толкиен). Целительное касание, но ведь не гибельная хватка, не так ли? Короля такого наше время пока не выявило. Весьма неоднозначный, в чем-то и симпатичный УНСО в качестве примера выбран был с расчетом, ибо их воинственность пока хотя бы не носит печати явной нетерпимости ко всем прочим национальным проявлениям. Их влечет скорее желание установить иную модель цивилизации. В отличие от российских собратьев они не строят планов защиты соотечественников в ближнем зарубежье, так что разговор об УНСО — это именно разговор о кшатрийской модели мироустройства, где национализм — средство, но не самоцель. И еще это разговор о том, какие модели могли бы весомо оппонировать этому.

В давнем фильме «Даки» римский полководец спешил склонить смиренно гордую выю по одному строгому окрику мудреца. Замечу, это был древний Рим, отнюдь не государство философов, но подлинно кшатрийская империя. Если мерой вещей объявляют человека, реально будет правление эгоизма, недальновидного эгоизма, частных и сиюминутных выгод. И тогда нас ждут войны без конца и наперед заданная неспособность осознать глубинные причины явлений. Духовность будет допускаться: в тех пределах, где она не посягает на интересы бизнеса. Если же дух — мера вещей, общей целью станет Земля как пространство, где гарантированно человек сможет стремиться к совершенству и развитию всех природой заложенных в нем свойств. И доблесть можно будет не задавливать, не видеть в ней непереносимой угрозы, ибо она будет облагораживаться знанием и любовью к вещам высшего порядка. Но пока прагматическое невежество держит дух на второстепенном положении и нет элиты с ее миссией пробудить человечество к совершенству, кшатрии будут вечно поднимать свои головы. И УНСО — это не худший из возможных вариантов. Есть ведь и абсолютно плоский вариант Жириновского, есть и прочие вояки, чья самая яркая характеристика — это косматость. А в этих, во всяком случае, отчетливо выражено бескорыстно романтическое во многом начало, и они-то явно не свободны от эстетического чувства. Их лидер Дмитрий Корчинский, к слову, поэт и археолог и просто красивый человек, полагает, что историю стоит преподавать тайно, как терроризм. Произносится сие в виду пожилых западных туристов в кепочках и с фотоаппаратами, апатично скользящих взглядом, скорее, сквозь Софийский собор.

Кто бы заново научил нас утраченному искусству приближаться к святыням как к святыням, не отгораживаясь слишком музейным, культурологическим, рассудочным подходом от магии их воздействия?

Красивый лидер — это совсем не мало. Вождь, считают унсовцы, это не тот, кто непременно все сам решает и все умеет. Но тот, кто способен пропустить миллион воль через себя, сплавив их в одну, кто одним своим движением умеет представить, выразить весь народ. Символ и олицетворение. Корчинский как раз даже слишком впечатляюще, абсолютно о том не помышляя и отнюдь к тому не стремясь.

Нелишне отдавать себе отчет, с чем имеешь дело. УНСО, повторяю, это самый выразительный образец той касты, что внезапно появилась и стремится утвердиться в мире, но претендует на положение, явно ей не подобающее и не подходящее. Сила как таковая сама по себе не имеет знака ни положительного, ни отрицательного. Все зависит от того, возникла ли она вместе с элитой или без нее. Только элита, и именно элита духовная, в состоянии установить разумную иерархию ценностей. И она бы начала не с второстепенных, не с подчиненных, ни в коем случае не с политических мер, но с просветления разума и открытия высших целей.

Сфера, что принадлежит элите, — дух, не делится на национальные, как принято говорить, квартиры. Дух для нее — без границ и свят повсюду. Допустим, и кшатрии провозглашают своим знаменем дух, но нельзя не заметить несомненных различий в толковании.

Эта каста сознает, что для успешности ее целей полезней, если вокруг не лежит убитое пространство. И понятно, ведь если материя пошла где-то рваться, не залатай вовремя, поползет дальше. Как с Ара́лом — его трагедия аукнется однажды там, где вовсе не слыхали такого названия — Арал.

Падали царства, исчезали народы и прежде, и возникало что-то здоровое взамен — человечество было так избыточно культурно, что бесечно растрачивалось, а сейчас оно вырождается целиком, и каждая мельчающая, истаивающая нация — это безвозвратно утраченная, невосполнимая более частица духа.

Как узнать короля? Его прикосновение животворит, если помним. Обладать или нет народу королевским величием и благородством, едва ли зависит от богатства, силы и даже культурных заслуг. Подобных королей пока, правда, нигде не видно, но пора уже появиться элите, способной объединяться поверх всех барьеров и границ, защищая как таковой сам принцип культуры повсюду. Каждый духовно опустошенный народ — это ведь и угроза, так сказать, общему будущему. И хотелось бы, но сложно понять ту логику, по какой, возлагая на себя юридическую заботу и ответственность за русских в Казахстане и других краях, Россия отнюдь не считает своим долгом помочь своим сыновьям и дочерям культурно вписаться в те изменившиеся условия, в каких они оказались. Между тем они попадают в некую малоприятную ситуацию провисания, не зная, какую позицию занять по отношению к процессу культурного возрождения, что идет повсеместно. Либо им кажется, что все это их никоим образом касаться не может, либо даже — что ущемляет их интересы. Может ли такая позиция не тормозить абсолютно естественного возрождения культурной самобытности, в особенности того же Казахстана? И когда от лица этих миллионов соотечественников в зарубежье рассылаются угрозы и осуществляется давление, то что это, как не самое настоящее прикосновение России, которое королевским отнюдь не назовешь?

Сколь явными ни были бы провалы и слабости интеллектуальной и нравственной программы национальных радикалов, избавляет ли это кого-то от необходимости выработать и противопоставить им нечто интеллектуально, эмоционально и эстетически превосходящее? То, что кшатрийство спонтанно возникло с неожиданной стороны, возникло с мечтой распространить свою волю как можно дальше, и есть подлинный вызов времени, предупредительный звонок близящегося начала истории. Можно посчитать, что все не так на самом деле серьезно, и продолжать отделиваться на редкость неконструктивным и неконцептуальным интеллигентским возмущением и осуждением, сосредоточившись на чем-то более насущном и первоочередном. Но это означает отказаться от мысли предвидеть и опережать возможное развитие событий. Радикально решить проблему возможно лишь на уровне концептуальном. Переиграть идею можно лишь другой идеей. Самые крутые физические решения разве что задвинут ее на час. Должна появиться духовная сила, которую будут вынуждены признать и добровольно ей подчиниться кшатрии. Языческое по своему генезису горение должно встретить и ощутить воздействие другого, более утонченного и могущественного, но именно горения. В общество должны вернуться романтическое измерение и острота восприятия, весь выпуклый волшебный, загадочный мир, что сопровождал человека от рождения. Ибо если природу гонят в дверь, она все равно отыщет себе окно. Сила становится все более пугающей и неуправляемой. А ведь действительным призыванием силы и доблести было всегда подчинение и служение духу и его целям.

Вся власть брахманам, тем, кто сумеет установить принцип: дух превыше всего, и единственно благою заповедь общения — ни в коем случае чудодейственное касание ваше не может угрожать этой вечной ценности и гасить ее.

Интеллектуальное и обязательно эстетическое преодоление не только противника, но прежде всего самих себя, какие мы ни есть сейчас, — кажется, этому просто нет альтернативы.

Геннадий Лисичкин

Есть ли будущее у России



Что Россия больна и больна тяжело, очевидно всем. Тот, кто ведет летосчисление российской истории от своего рождения и рождения своих родителей, болезнь эту приписывает только большевикам, которые, дескать, изнасиловали страну и заразили ее дурной болезнью. Тот же, кто чуть лучше знает близкое и далекое российское прошлое, понимает, что, к сожалению, сам-то большевизм мог вырасти и расцвести полным, естественно, красным цветом на почве тех пороков общественного российского сознания, которыми оно было поражено задолго до 1917-го: общинное сознание; имперские амбиции стать «Третьим Римом», неверие самого народа в собственные силы изменить жизнь к лучшему и отсюда упование на доброго справедливого Царя, который, придя волей счастливого случая когда-нибудь к власти, все устроит по знаменитому «щучьему велению», не тревожа своих сограждан сомнениями, что и как делать¹, — все эти упования кончились, и не могли не кончиться, позорным крахом. Не только Сталин, Хрущев, Брежнев, Черненко, но и ни один сверхгений, решившийся по глупости своей спасти Россию, не отказываясь от нашего векового общественного сознания, не имел бы здесь никакого другого итога, кроме того, который с отвращением и ужасом мы наблюдаем в наши дни.

При виде необъятного взяточничества, роста криминализма, затухания науки, образования, культуры, происходящих сейчас в стране, многие думающие люди всерьез задаются вопросом — а есть ли вообще будущее у России в создавшихся условиях? Давайте и мы, читатель, подумаем над этим вопросом вопросов.

Будущее есть у каждой страны, у каждого народа. Но весь вопрос в том, какое это будущее. Например, у инков, ацтеков, майя была цивилизация высокого класса, памятниками которой по сей день восхищается весь мир. Эти мощные империи, раскинувшись на огромных территориях Южной Америки, были защищены многотысячными армиями, поскольку воином там являлся каждый мужчина. Казалось бы, невозможно одолеть такую силу. Но вот сравнительно недавно, в 1532 году испанцы под командованием Писсаро всего с 62 всадниками и 102 пехотинцами врываются к инкам, одерживают победу, казнят их вождя и захватывают богатейшие трофеи без единой потери со своей стороны. Местное население начинает массово гибнуть и к 1572 году (за 40 лет!) сокращается на несколько миллионов человек. В полные трагизма первые годы колонизации погибал каждый второй индеец. Такая же участь постигла империи майя и ацтеков.

Здесь не место выяснять причины гибели этих и других империй, хотя они весьма поучительны.

Более уместно вспомнить хамский, но, увы, довольно типичный случай из наших дней. Здоровенный парень хлещет баварское пиво. На него с завистью смотрит старенький инвалид — ветеран Отечественной войны.

¹Об этом см.: Дружба народов. 1995. № 10.

Ветеран спрашивает: «Хорошее?»

Парень отвечает: «Очень! Вот если бы ты не был победителем, сейчас тоже пил бы баварское пиво и жил по-человечески».

Вот одно представление о будущем России. Расчет на завоевателей, кстати, весьма распространен, хотя исторический опыт и Нового и Старого Света убедительно доказал, что победители никогда не бывают альтруистами, а побежденные, следовательно, никогда не бывают ими благодетельствованы, они обречены на вымирание и деградацию. К сожалению, в нашем разговоре о будущем приходится напоминать об этих прописных истинах, а также о том, что побежденным можно стать не только в военном, но и в мирном экономическом сражении.

Те миллиарды долларов, которые Запад так расчетливо-ростовщически дает взаимы нашим нынешним правителям (расплачиваться за них, естественно, предстоит не им, не их детям или внукам, а тем, кто жил и живет в нищете, передавая ее по наследству), угтавливают России будущее в позорной долговой яме. Из нее нам уже сейчас предлагают выбраться, распродавая Россию оптом и в розницу. По свидетельству американской прессы, США уже сейчас примеряются купить аж Сибирь за 2—3 триллиона долларов («Правда». 1993. 15 апр.). Так что Ломоносов, заглядывая в будущее, немного, видимо, ошибся, считая, будто могущество России будет прирастать Сибирью. Наблюдая нынешние тенденции развития мировой экономики и практики ведения дел в России, можно предполагать, что Сибирью, может случиться, будет прирастать могущество не России, а США. И это может произойти так же неожиданно, как разрушение Берлинской стены, как вывод наших войск из Европы, Прибалтики, с Украины...

Наши правители, как это у них заведено, окажутся опять в стороне, ни за что, ни перед кем не неся ответственности, а народ российский, хлопая растерянными глазами, будет вновь недоуменно, неизвестно к кому обращаясь, бесполово спрашивать задним числом — как же все это могло в одночасье случиться?

Печаль, конечно, не о том, что военная Россия ушла из многих европейских районов, где ей было не место — нельзя не радоваться возвращению наших солдат на Родину, — речь о том, как бездарно экономически и политически это было сделано.

Именно бездарность во внутренней и внешней политике последних лет и порождает у многих россиян пессимистический фатализм при раздумьях о будущем России. Но такого рода раздумья раздумьям рознь.

Когда человек на бытовом или даже криминальном уровне отказывает России в будущем, рассчитывая мелко, по-шакальи в одночасье поживиться, «половить рыбку в мутной воде», это еще куда ни шло. Хотя тоже обидно — ведь совсем недавно, во время войны, буквально все, независимо от того, кто что думал о будущем России, познали на своей шкуре дорогую цену германского «окультуривания» России. Но вот мнение нашего известного кинорежиссера, а теперь и профессионального политического деятеля — депутата российской Думы С. Говорухина. Оно весьма категорично заявлено в брошюре «Великая криминальная революция» (М., 1995): «России уготовлено позорное будущее. Она превратится (уже превращается!) в колонию» (С. 69). Более страстно об этом же сказано несколькими страницами позже: «Я и два года назад считал, а теперь, когда воочию увидел, как изнасиловали мою Родину, тем более считаю, что **оптимистом в наши дни может быть либо дурак, либо подлец** (выделено мной. — ГЛ.)» (С. 119). Во-первых, думаю, что С. Говорухин искусственно ограничил число оптимистов в России, установив лишь два критерия для тех, кто еще верит в будущее России. Но об этом позже. Во-вторых, непонятно, как человек-фаталист смог согласиться работать в Думе, задача которой спасти тонущий корабль, а не «подбадривать» команду душераздирающими воплями типа: «Остановитесь, ребята! Все равно потонем! Спасайся, кто как может!» Иными словами, С. Говорухин, депутат Думы, то есть видный российский госдеятель, выступает за безоговорочную капитуляцию России и перед Западом, и перед отечественными шакалами и считает, что «только дураки и подлецы» могут противиться этому.

Вот как комментирует позицию С. Говорухина Борис Туманов. («Литературная газета». 1995. 12 июля):

...В армии царят чудовищных масштабов воровство и коррупция. В офицерской и солдатской среде — повальное пьянство. Профессиональная непригодность генералов очевидна, но заменить их просто некем. Высшие чины жертвуют тысячами солдатских

жизней, чтобы угодить сиюминутному преступному капризу верховного командования. Военные операции превращаются в кровавую неразбериху. Сводки с театра военных действий представляют собой столь же наглую, сколь и несусветную ложь. Где-то под Иркутском казаки и местные жители громят поселок кавказцев. Над всем этим витает непреложная убежденность, что во всем виноваты жидаи!..

Узнаете? О, нет, восклицает автор, это я не о Чечне. И вообще не о сегодняшнем дне. Это всего лишь беглый пересказ вересаевских записок «На японской войне». С. Говорухину достаточно внимательно перечитать это свидетельство болевшего за Россию русского врача и писателя, чтобы понять (если, конечно, он в состоянии воспринимать реальность), что ту Россию, о потере которой так скорбит известный кинорежиссер, мы на самом деле НИКОГДА не теряли.

Казенного патриотизма, рассуждает Б.Туманов, усердно поливавшего великодержавным дезодорантом пропотевший зипун общества, Россия нахлебалась вдоволь. Боюсь ошибиться, боюсь сплзнить, но кажется мне, что **при всех апокалипсических превратностях последних лет российское общество миновало то страшное распустье, которое на протяжении веков ставило его перед выбором между бессмысленно-кровавым катаклизмом и ледящей спячкой тоталитаризма** (выделено мной. — Г.Л.). Пореформенные мерзости нашего бытия, уходящие корнями в прошлое, все больше катализируют в обществе осознание того, что патриотизм есть категория личной нравственности и личной ответственности, а не полуистерических заклинаний очередного Агитпропа. К хрестоматийно известному изречению великого писателя осмелюсь добавить: последним прибежищем для негодяев служит ПУБЛИЧНЫЙ патриотизм. Быть патриотом, сознательно не воруя, сознательно не попирая закон, сознательно не позоря Россию своими купеческими выходками, сознательно не спекулируя на ее пороках и не вопя при этом на всех перекрестках о собственной святости, неизмеримо труднее, чем узурпировать это понятие, держа одной рукой за церковную свечку, а другой — за гранатомет.

Придется привести еще одно мнение о будущем России. Но слишком уж тема актуальна и остра, чтобы, сославшись на С. Говорухина, впасть в дидактический монолог. Наталья Иванова в «Литературной газете» (1995, 9 авг.) по этому же поводу пишет: «Сейчас из общества выходят шлаки, и еще долго будут выходить; **но общественный организм все-таки самоочищается, а человеческий материал проходит через отбор**. Конечно, сегодня (и вчера) уезжают многие — лучшие; но на этот процесс я смотрю спокойно: из Португалии уехало несколько миллионов, а как только нормальная жизнь в стране начала налаживаться, многие вернулись из временной эмиграции, да еще с заработанным капиталом. Не думаю, что Россия уйдет в рассеяние — слишком она велика, слишком мощный человеческий и культурный пласт, слишком много энергии (сейчас, может быть, выражающей себя в проявлениях дурных и дурацких, но — энергии)».

Теперь порассуждаем по поводу смертного приговора С. Говорухина, вынесенного им России в его брошюре и еще более впечатляюще обоснованного в одноименном фильме. (Об этом мне уже приходилось писать в газете «Культура» 3 сентября 1994 г.). Ни Бориса Туманова, ни Наталью Иванову, людей давно и хорошо известных читателю по их общественной позиции, уж никак нельзя назвать «дураками и подлецами», хотя их расхождение во мнении с Говорухиным по поводу будущего России автоматически вроде бы отбрасывает их в этот разнородный и многочисленный отряд. В чем же дело? Почему вполне интеллигентный человек, видный кинорежиссер, публицист, политик позволяет себе заглазно обливать руганью всякого, кто посмеет иметь свое, отличное от его, С. Говорухина, мнение?

Сам по себе С. Говорухин в этом, на мой взгляд, не очень-то и виноват. Дело в том, что настоящий русский интеллигент считает признаком хорошего тона костерить своего оппонента последними словами, восполняя недостаток аргументов в споре и вообще уводя сам спор из зоны поиска истины в зону демонстрации мастерства ругательства. Не будем утомлять читателя примерами из этой области, из до- и послереволюционного периода. Их каждый может привести массу, включая ленинское аристократично грассирующее «пгоститутка Тгоцкий». Такова уж у нас «культура» дискуссии. И Говорухин не стал выходить за ее рамки, обсуждая такой большой вопрос: есть ли будущее у России?

Но Бог с ней, с этой культурой ведения дискуссий. Ее не так-то просто изменить, хотя форма ведения дискуссий — дело далеко не формальное. И в нашем,

российском случае она обнаруживает громадный недостаток нашего общественного сознания: отсутствие терпимости, элементарного любопытства к логике и фактам, которыми оперирует оппонент. За это уже дорого заплачено, и предстоит платить впредь, пока спорящие стороны не научатся слушать и слышать друг друга.

Зададимся другим важным вопросом: почему так диаметрально противоположны выводы у весьма образованных людей, болеющих за Россию? Наталья Иванова, на мой взгляд, очень точно обосновала в упомянутой статье свой оптимизм по поводу будущего России. Чтобы государство функционировало нормально, пишет она, надо прежде всего иметь под руками соответствующий материал. «Материал, — рассуждает она, — это мы сами, то есть нас-то уже не будет, но будет выпестованный нами человеческий материал. А так как человек состоит из того, чем он питается, то наша задача подумать сегодня на трезвую голову, чем мы кормим своих детей. Нас кормили пищей отравленной».

Наталья Иванова считает, что «пища» наших детей, внуков и правнуков уже гораздо здоровее, поэтому и судьба России будет меняться постепенно в лучшую сторону. Примерно о том же, как помним, пишет в упомянутой статье и Борис Туманов, связывая надежды на лучшее будущее России с тем, что сами россияне меняются в лучшую сторону.

Вот с этим-то и не согласен С. Говорухин. Он видит нынешнюю бестолковую, всклокоченную Россию только в одном — черном — цвете: «Растет новое — глупое, необразованное, воровское племя. Растет нация рабов. Удел ее, в конечном счете, — служить иностранцам. Китайцам, японцам, американцам, немцам... рикшами, клерками, лакеями... рабами, добывающими руду, пилящими лес, качающими нефть для цивилизованных соседей» (С. 88). Отсюда и вывод Говорухина: с Россией покончено! Да, покончено. Но с какой Россией? С Россией большевиков и неолевых, которые бесчинствовали долгие годы, унижая и уничтожая ее. С уходом красных комиссаров Россия не гибнет, а, наоборот, выбивается на столбовую дорожку, по которой идут все цивилизованные страны и народы. Отсюда оптимизм тех россиян, которые в уходе со сцены «совков» всех мастей и калибров видят рождение новой, свободной России.

Оснований для оптимизма предостаточно

Россию заживо хоронить не впервой. Татаро-монголы, казалось, в свое время окончательно раздавили ее. Нет! Хоть через 200 лет, но вновь из пепла возродилась она. В «смутные времена» смертельная опасность нависла над Россией уже с Запада. Лжедмитрий короновался в Московском Кремле, но дорого заплатил за это удовольствие. Побывал в Кремле и Наполеон, потеряв для себя не только Россию, но и Францию. Во время первой мировой войны все великие державы норовили оторвать от России кусок пожирнее и побольше, считая, что с нею покончено. Тоже просчитались. Наконец, Гитлер, положивший, казалось, Россию на обе лопатки, дойдя до окраин Москвы и выйдя к Волге, закончил жизнь гораздо хуже Наполеона.

Было бы очень глупо, уповая на такую живучесть России, беспечно заниматься каждый своим делом, веря, что историческая кривая вывезет, что непотопляемость России — фактор фатальный. Давайте задумаемся хотя бы над тем, что спасло Россию во второй мировой войне.

Как помним, легендарный Буденный, назначенный командующим одним из фронтов, вывел свою конницу с намерением искромсать саблями немецкие танки. Не вышло. Немецкая броня оказалась крепка, а танки их быстры. Другой герой гражданской войны — Ворошилов, советский боевой нарком, командуя другим фронтом, щедро выдавал солдатам, через одного, винтовки архивного образца с рацией и патронами, как пайку по хлебным карточкам. Тимошенко, самый образованный из командующих фронтами, пытался вести войну с фашистами по-научному, рекомендуя советским командирам использовать карты России, захваченные у противника, поскольку политическая карта мира, выпускавшаяся большим тиражом перед войной, оказалась непригодной для ведения боев в местном, а не мировом масштабе. Ну, а Верховному Главнокомандующему, будущему генералиссимусу, вообще можно было посочувствовать, поскольку он вынужден был доверить ведение войны именно таким

командармам за неимением лучших по причине их поголовного истребления по приказам Сталина.

Почему же тогда Россия выстояла и победила? На место легендарных командиров, проявивших героизм, находчивость, волю к победе над частью своего же народа в гражданской войне, пришли новые люди — Жуков, Рокоссовский, Ватутин, Рыбалко... Но приход новых людей — это еще не магическое средство для изменения сложной ситуации. В таком важном ведомстве, как НКВД, тоже часто менялось руководство: вместо Менжинского назначили Ягоду, вместо Ягоды — Ежова, вместо Ежова — Берию... Но что и в какую сторону менялось от этого?

Командовать Советской Армией пришли не просто новые люди, а люди с принципиально новой концепцией ведения войны, в основе которой был не беззащитный солдат с его допотопной трехлинейкой или саблей, а грозный воин, располагающий в изобилии танками, самолетами, ракетами (знаменитая «Катюша»), замечательными автоматами Калашникова. Но концепция, как бы она умна и красива ни была, всего лишь забава для специалистов, если нет всех материальных компонентов, необходимых для ее осуществления. Как известно, фашисты уже стояли под Москвой, когда, по мановению волшебной палочки, только не так безболезненно, нужное оружие появилось, и в большом количестве.

Когда у армии появились новые командиры с новой стратегией и тактикой ведения войны, когда появилось новое вооружение, одновременно со всем этим сложился и новый солдат, осознавший не в ходе политбесед, а на своей судьбе, судьбе своей семьи и близких ему людей, что речь идет о том, быть или не быть, жить или умереть. И тогда солдаты, все население поднялись на защиту Родины. Не Сталин и его маршалы победили в Отечественной войне, а россияне, народ, выдвинувший своих новых командиров.

Зачем потребовалась эта примитивная схема событий недавнего военного прошлого? Дело в том, что Россия в определенном смысле находится сейчас в том же положении, что и осенью 1941 года, когда фашисты в одно мгновение оказались у стен Москвы. Очевидно, что нам тоже отступать дальше некуда. Но выйти из тупика, как и в прошлой драматической ситуации, можно, лишь приведя к руководству новых людей. И не просто новых людей, толпа которых охоча дорваться до власти, чтобы «поругать», а людей, владеющих новой концепцией развития экономики, а не практикой штопанья дыр, как это происходит сейчас. Такая концепция должна быть подкреплена новыми материально-техническими средствами. Но чтобы все это заработало, людям надо дать почувствовать то, чего они не чувствовали все годы советской власти, то есть что развитие экономики России нужно не для того, чтобы обогнать Европу и Америку по производству чугуна и стали на душу населения, не для ускорения темпов развития страны, не для стабилизации рубля и изгнания доллара с территории России, не для силового наведения угодных властям порядков в строптивых регионах России или за ее рубежами, а для роста благосостояния человека, для улучшения среды его обитания, что, естественно, невозможно и без ускорения темпов роста производства, и без стабилизации рубля и т.п. Однако все эти компоненты развития экономики не должны вырываться из своего ряда и превращаться в самодовлеющую цель, как это было до сих пор. Их надо подчинить главной цели — созданию условий для нормальной жизни человека.

Почему в нынешнее трудное время можно говорить с оптимизмом о возможностях крутого поворота к такой необычной для России цели? У нашего замечательного историка Н.Эйдельмана (в книге о Лунине) есть такое замечание: только второе, не битое татарами поколение россиян могло выйти на поле Куликово и одержать победу. То есть лишь внуки тех, кто был свидетелем нашествия татаро-монголов и резни, его сопровождавшей, очухались от страха и ужаса поражения дедов и начали ощущать российское достоинство, толкнувшее их на открытый бой с татаро-монголами.

Нечто подобное произошло, происходит и с нашим народом. За прошедшие после коллективизации и войны десятилетия он несколько очухался от сталинского террора. Внукам «кулаков» и «подкулачников» и всех тех, кто томился в ГУЛАГах и трудовых армиях, слава Богу, не известен страх от простого стука в дверь квартиры, от вопроса «А кто ваши родители?», от угрозы стать перед коллективом с «персональным делом», потерять партийный и получить «волчий» билет. Все это,

опять же слава Богу, кажется теперь такой чепухой, что если найдется дебил, который пострадает всем этим нынешнего зрелого, а тем более молодого человека, то на него посмотрят как на ненормального.

Победа россиян в том, что унижительный страх перед вчерашним вершителем судеб человека, его семьи, целых народов исчез. И теперь шахтеры, авиадиспетчеры и даже учителя, когда власти их сильно обидят, могут запросто объявить забастовку, не опасаясь, что их, как это было в Новочеркасске, расстреляют. Скорее наоборот, власти начинают побаиваться забастовщиков и всячески заигрывать с ними.

Порадуемся этому, потому что запуганный человек не только жалок, он готов на многие подлости, а не ограниченная ничем власть способна на любые преступления.

Не битое Сталиным поколение обладает еще одним важным преимуществом. Оно освобождается от навязанного властью унижительного аскетизма и хочет жить полнокровно, то есть по-людски. Миллионы россиян, хлынувшие при первой возможности за границу, наши «челноки», туристы, «гастарбайтеры», попав в Европу, поняли, как их дурили большевики, призывая к такой скромности в быту, которая возможна только при скотских условиях жизни. Причем того скота, который содержится в колхозах, совхозах. У российского человека, потребности которого были заморожены ниже прожиточного минимума безработного на Западе, проснулся аппетит. И это, как сказали бы медики, первый признак выздоровления. А вот мнение социологов: низкий уровень потребностей — это и низкая общественная активность, то есть согласие жить на ту низкую зарплату, которую определит работнику чиновник. Низкая зарплата, сверхскромные потребности — это главные условия воспроизводства дешевого, неквалифицированного работника. Вряд ли Чайковский написал бы свое «Лебединое озеро», родился и живи он при советской власти в коммунальной квартире, да еще под опекой Агитпропа.

Демагогия властей вокруг так называемого «длинного рубля» и стремления человека обеспечить сносные условия существования для семьи перестала действовать. Не бедность, а достаток стал престижным в нашем нынешнем обществе.

Порадуемся тому, что у наших людей лопнуло наконец терпение и они не хотят мириться с властями, которые не способны создать условия, необходимые для эффективного и высокооплачиваемого труда.

Новое поколение отличается от забитого «совка» не только растущим сознанием своего гражданского достоинства, не только иным уровнем, качеством потребностей и пониманием, что цена труда не должна быть величиной, стремящейся к нулю, но и самим отношением к приоритетности разных видов труда. Еще вчера приоритетен был труд в разного рода КБ, КГБ и во всех иных учреждениях, работающих на истребление и подавление человека, личности. Быть официантом, парикмахером, продавцом, равно как и врачом, учителем, адвокатом, бухгалтером, считалось непрестижным. Да и государство через систему оплаты закрепляло такое отношение в обществе ко всем видам труда, которые были направлены не против человека, а на его благо.

Рыночная экономика, слава Богу, опрокидывает такой людоедский взгляд на роль труда в обществе. И теперь становится авторитетной и популярной «стюардесса по имени Жанна». Ей и ее коллегам посвящаются песни, стихи.

Порадуемся, что в нашем сознании происходит такой глубокий переворот, что мы начинаем уже уважать труд не тех людей, которые нас подавляют, а тех, кто нас обслуживает, не тех, кто живет за наш счет, а тех, кто умело заботится о нас. И чье благосостояние зависит не от произвола оценок труда высокомерным чиновным государством, а от нас с вами, читатель, от нашего признания уровня квалификации того, кто нас обслужил.

Российский «совок», при всей его забитости, есть человек, компенсирующий свою неполноценность презрением к «совкам» других национальностей — всем этим «тюбетейкам», «людям кавказской национальности», чукчам, которые «не читатели, а писатели». Все это презрение к своим соседям по рухнувшему Союзу благообразно прикрывалось теорией «старшего брата». Но под этим прикрытием накапливалась такая взрывная энергия, которая сейчас только частично прорвалась. Мы являемся свидетелями возрождения наций, национальностей, их оригинальных культур.

Правда, процесс этот происходит болезненно по вине обеих сторон, то есть и России и тех, кто заявляет о своем «совершеннолетии».

Порадуемся тому, что новое поколение россиян обращает все большее внимание не на форму головного убора, не на цвет волос, не на соблюдение чиновной иерархии — «старший» или «младший» брат, — а на способность тех или иных людей поддерживать цивилизованные экономические и культурные отношения, независимо от «пятого пункта».

Очень ярко проявилось новое отношение к разным нациям, народностям бывшего Советского Союза во время чеченской войны. Былого высокомерия у россиян заметно поубавилось. Особенно у молодых. Показательны, в частности, работы абитуриентов МГУ на тему «Чечня. Попытка понять». Об этом пишет «Общая газета» (1995. 8—14 июня). Только один из дюжины пришел к выводу: так им и надо, чеченцам. А в одном из сочинений бывшего школьника есть такие слова: «...Давайте воспитаем новое поколение, которому не захочется повторять ошибки предшественников».

Порадуемся, что россияне наконец собираются уважительно относиться к соседям, не навязывая им своей воли, обычаев, взглядов. Жизнь показала, что это более короткий путь к цели, чем насилие. Западная Германия при поддержке союзников могла в свое время силой добиваться объединения Германии, как это делается сейчас в Чечне. Но она добилась этого мирным путем, не растрачивая напрасно сил и жизни граждан. Берлинская стена рухнула без единого выстрела, погребя под своими обломками советский режим насилия. Почему бы будущей России не воспользоваться этим опытом в новых отношениях с субъектами Российской Федерации?

С. Говорухин считает, что сейчас растет новое «глупое и необразованное племя». Однако, если посмотреть, что читал и мог читать, смотреть в кино или театре тот же С. Говорухин и его (то есть и мое) «племя», будучи школьниками и студентами, а потом аспирантами и учеными, преподавателями, то оторопь берет, и начинаешь удивляться, как запас *той* эрудиции не отбил способности с годами прийти в себя (не всем это удалось) и разобраться в элементарных вещах. Изучение западной литературы ограничивалось Шекспиром, Гете, Флобером и еще несколькими классиками. Современные западные писатели были нам известны в той мере, в какой они прочитывались просоветски. Про западных экономистов, философов, историков мы знали только в размере курса «Критика буржуазных взглядов». О знакомстве с западной эмигрантской литературой не могло быть и речи. Сейчас все эти запреты практически сняты, если не считать того языкового барьера, который будет отделять какое-то время россиян от их западных коллег. Но этот недостаток особенно быстро преодолевается молодежью. **Поэтому порадуемся, что новое поколение растет во много раз более образованным, чем прежние отличники, вызубрившие наизусть «Историю ВКП (б)» (и то до ее знаменитой 7-й «философской» главы) и глотавшие газетную отраву в лошадиных дозах. Информационное поле у новых россиян во много раз шире и богаче, чем прежде.**

Наконец, о начавшемся процессе выздоровления и возрождения россиян свидетельствует растущий интерес к историческому прошлому России. Не тому, которое фальсифицировано большевиками, чтобы лишить народ исторической памяти, традиций и национального достоинства, а тому реальному прошлому, которое поучительно своим хорошим и плохим опытом. Об этом новом качестве россиян свидетельствует активное восстановление церквей, монастырей, являющихся столько культовыми, но и историческими памятниками.

Патриарх Московский и всея Руси Алексей II приводит также ободряющие данные («Литературная газета». 1995. 15 июня): за последние 5 лет было открыто 32 епархии, более 8 тысяч православных храмов. Сейчас их количество достигло 16 тысяч. Было открыто 289 монастырей, 2 академии, 4 семинарии, 23 духовных училища. В Москве сейчас 267 храмов, в которых совершается богослужение. В монастырях, особенно в тех, что находятся в сельской местности, наблюдается возвращение к прежней традиции: здесь создаются аграрные хозяйства.

Порадуемся тому, что россияне восприняли духом настолько, что захотели узнать, кто же они есть, откуда взялись, кто их дальние и ближние родичи, как им стать самими собой, а не теми «совками», в которых их пыталась превратить советская власть.

Вот, на мой взгляд, коренные отличия в сознании поколения людей, которое о сталинском режиме и его ужасах знает в лучшем случае из книжек. Они-то и выходят сейчас на «поле Куликово». На них вся надежда, на них Россия и должна сделать ставку, если рассчитывает иметь достойное будущее. К сожалению, большинство наших политиков ничего не делает для того, чтобы консолидировать и повести за собой это новое «непуганое» поколение россиян, вполне уже подготовленное для жизни и работы по-новому. Повести не под своими лозунгами, знаменами, программами и прочими нео-большевистскими «хоругвями». «Новых русских» уже не купить, как недавно, «на честном слове, на кусочке колбасы». Для них нужно реальное, перспективное, крупное дело. А его пока нет. И это очень опасно. Поэтому умерим свой оптимизм по поводу светлого будущего новой России. Если здоровых, энергичных людей, родившихся и сложившихся в послесталинский период не сумеют занять стоящим делом, они могут наломать таких дров от своей социальной бесперспективности, что прошлый тоталитарный порядок покажется просто раем. О нем уже и сейчас кое-кто вспоминает с тоской. Ну, а о том, что могло бы в наши дни стать «стоящим» делом, я писал в статье «Грандиозность «малых дел» (ДН. 1995. № 11). Россиян чаще всего объединяла война. Хорошо бы, чтобы наконец их объединил мирный созидательный труд.

У оптимизма есть и «НО»...

Рядом с новым поколением россиян живет, не может не жить старое, несчастное, загубленное большевиками. Как сойдет оно с политической сцены?

У Зошенко, как известно, есть маленький рассказ «Приключение обезьяны». Обезьяны, сбежавшей из зоопарка. Людям, лишенным политического чутья, он кажется невинным и малоинтересным. Руководство сталинской партии чутье имело. Поэтому такой партийный иерарх, как Жданов, разнес в пух и прах рассказ, а заодно и все творчество замечательного писателя. И за дело, если делом считать надежную охрану «зоопарка», бдительность его сторожей, упустивших обезьяну из клетки, что не нашло осуждения в рассказе. Речь, конечно, не просто о зоопарке как таковом. И Зошенко и Жданов под зоопарком имели в виду одно и то же, то есть советское государство. Но представим себе на минуту реальный, а не аллегорический зоопарк, где какой-то любитель зверей с ватагой своих последователей освобождает обитателей клеток и выпускает на волю, в которой они рождены, для которой созданы. И что же? Каждый знает, что даже уссурийский тигр, вернувшись в свою родную тайгу, о которой он тосковал в клетке зоопарка, будет отторгнут ею. И он или умрет от голода, или его в клочья разорвут те же зайцы, которыми он в свою дозоопарковую бытность любил закусывать. Такая же судьба ожидала бы освобожденных из неволи львов, волков, рысей, не говоря уж о более мелких и менее кровожадных зверях.

Итак, наш гуманный любитель-освободитель зверей, руководствуясь самыми добрыми намерениями, на деле спровоцировал бы их истребление. Ну, а как эта благотворительная акция отразилась бы на судьбах тех людей, которые добросовестно, по-ударному, по-стахановски трудились в зоопарке? Ясно, что они остались бы без работы. И если тот же главный зоотехник, прекрасный специалист своего дела, не сумеет в свои 40—50 лет переквалифицироваться в высококлассного, скажем, программиста, его ждет та же судьба, что и бывших его подопечных.

В нашем обществе, очевидно, сложилась аналогичная драматическая ситуация. Миллионы и миллионы людей, освободившись от гнета тоталитарного режима, оказались в положении тех самых зверей, которых выпустили из клеток зоопарка. Многие из нас беспомощно тычутся в разные стороны в поисках выхода из тупика, наталкиваясь на острые углы и попадая в тупики новые. Отметим только, что это не из-за нашей российской неприспособленности к жизни. Энгельс как-то напоминает, что, когда в Пруссии отменили крепостное право, крестьяне обратились к королю с просьбой восстановить его. Им, так же как сейчас нам, захотелось опять в клетку, где, конечно, неудобно, но привычно, не очень голодно и, главное, безопасно.

Если сейчас власти, если «новые русские» не возьмут на себя заботу о нуждах нынешних жертв «недоразвитого» и «развитого» социализма, и прежде всего о тех, кто работает в ВПК, служит в армии и полон еще здоровья и знаний, то они разнесут все к чертовой матери. Как в 1917 году.

Нельзя забывать и о «реликтовых» пенсионерах, тех, кто с энтузиазмом

проводил коллективизацию, рушил храмы, выгонял целые народы из родных мест жительства, кто гордо нес службу в ГУЛАГах, прикрываясь спасительной ссылкой: «Я ни при чем. Так начальство велело». При чем! За все эти «ни при чем» Бог (судьба) спросил сейчас с этих слишком уж энергичных в прошлом стариков и, к сожалению, с их детей. Пусть их урок пойдет впредь, и нынешнее поколение, чтобы оно не слишком доверяло «начальству», чтобы призывало в советники собственный мозг и совесть, как это сделали во время войны в Чечне такие высокие офицеры, как Громов, Воробьев и другие. «Реликтовых» стариков надо сберегать, сохранять как наглядное пособие. Будущее России зависит и от этих людей в том смысле, что их пример может научить многому.

Таким образом, россияне, оптимистически оценивающие будущее России, чтобы не казаться, по крайней мере в глазах С. Говорухина, уж совсем полными «дураками и подлецами», делают, как видим, определенные оговорки по поводу возможностей положительного развития событий. И эти оговорки, эти сомнения возникают прежде всего потому, что нынешняя российская жизнь демонстрирует большой разрыв между готовностью «рядовых» россиян решительно идти путем реформ и неготовностью, неспособностью российских высших властей возглавить этот решительный поход народа вспять от пропасти, на краю которой оказалась страна. В общем, ситуация та же, что на первом этапе Отечественной войны, когда Верховный Главнокомандующий, его маршалы и генералы проигрывали войну, а рядовые солдаты и офицеры спасали Россию, выдвигая к руководству новых командиров, способных вести современную войну.

Главный недостаток нынешних властей, пытающихся реформировать Россию, состоит в том, что они в свое время **не учились, да это от них и не требовалось, делать деньги**. Они — узкие специалисты по расходованию не ими заработанного. Ведь любой промышленный гигант, обязательно работавший на войну, жил на всем готовеньком, черпая из бюджета средства по коммунистическому принципу — по потребностям. И вот командирам такой затратной экономики поручают учить россиян делать деньги. Из этого ничего не получается и не получится. **Не может мясник стать Айболитом, не может Айболит стать мясником.**

Действительно, как можно ждать чего-либо хорошего от властей, которые не способны собрать даже небогатый финансовый урожай, выращенный в нашей стране вопреки экономическому климату, складывающемуся все последние годы. У населения худо-бедно есть определенные средства, привлечение которых было бы крайне полезно для экономики. Но власти не способны это сделать. А какой-то Мавроди и его духовные последователи во главе «Чары», «Тибета», «Властилины» и десятки других аферистов на глазах у всего мира беспрепятственно обворовывают население, огребают триллионы рублей и обращают их в личную собственность, нахально посмеиваясь над беспомощностью властей.

А чего стоит причитание тех же властей по поводу бегства отечественных капиталов за рубеж. Придумать же способы, как заинтересовать их владельцев, и не только их, вкладывать деньги в развитие российского производства, они не способны.

О неспособности нынешних властей управлять государством свидетельствует и дискредитация, обесценение рубля. В разрушенной мировой и гражданской войнами России авторитет рубля был восстановлен за два года в ходе реформы 1922—1924 годов. Наши нынешние руководители с сановной многозначительностью топчутся вокруг проблемы стабилизации рубля целое десятилетие, не зная, как подступиться к ее решению.

Ну как в этих условиях говорить об осуществлении конверсии, о земельной реформе, о реформировании армии, когда не решаются даже более частные, но очень важные проблемы. Вернее, говорить-то можно, но перехода от разговоров к делу пока не видно.

Порок наших нынешних властей в том, что они позаимствовали у своих предшественников **распределительную, а не созидательную идеологию**. Они не овладели мастерством стричь овцу так, чтобы шерсть отрастала быстрее и гуще. Второпях наша власть вместе с шерстью сдирает и шкуру. Поэтому россияне и вопят от боли и страдают от наготы.

Неудивительно, что даже люди, оптимистически оценивающие возможности буду-

щей России, с грустью, как это сделал Б.Туманов в упомянутой статье, вынуждены признать: «Если Россия и в двадцать первом веке останется страной, чье общество упорно идеализирует прошлое и страшится будущего, то неизбежное истощение в ближайшие несколько десятилетий ее природных богатств либо вынудит ее смириться со своим полным историческим банкротством, либо толкнет на тотальную войну с остальным человечеством. Именно таким страшным тупиком рискует закончиться судьба великой страны и великого народа, если консолидирующаяся сегодня корпоративная ипостась российской власти вновь, как и в прошлые периоды общественных смут в России, поддастся соблазну патриархально-самодержавной инерции, вот уже которое столетие удерживающей русское общественное сознание на протоплазмическом уровне».

Но это совсем не значит, что надо, как нам советуют, задрать лапки кверху. Наоборот. Надо видеть, что мешает России иметь достойное будущее, чтобы убрать все помехи с ее исторического пути.

И уж если мы заговорили о помехах, то позволю одно воспоминание о факте, который потряс в свое время не только меня, тогда молодого специалиста, только-только пришедшего на работу в МИД, но и маститых чиновников этого высокого ведомства. Между Швецией и Данией, как и сейчас, работает паром. Чтобы попасть на него, надо отстоять очередь, и часто весьма длинную. Чрезвычайный и полномочный посол СССР в Швеции, с государственным флагом на капоте автомобиля, подъезжает к такой очереди и рефлексивно огибает ее, чтобы въехать на паром по рангу, а не как обычный смертный. Какой-то там паромщик вежливо придерживает машину советского посла и объясняет, что вон там, в хвосте очереди, стоит машина тоже с флагом, машина шведского короля. У советского посла после этого тонкого намека хватило такта и разума, чтобы развернуться и стать в хвост паромной очереди. Помню, меня и моих старших коллег удивило и потрясло такое чудачество во вполне цивилизованной стране.

И вот мне кажется, что до тех пор, пока российская власть любого уровня будет переть на россиян, нарушая все писанные и неписанные правила общежития, пока ее представители не встанут в общую «очередь» и эта «очередь» будет в состоянии сама понять и дать понять другим неправомерность претензий нахала и не пускать его впереди себя, отказывая в уважении к себе, будущее России будет так же туманно, как сейчас. Власть не выбирают. Ее заслуживают. А чего заслуживаем мы, россияне, покажут предстоящие выборы президента, которые только формально подтвердят, чего мы на самом деле стоим.

17 октября 1995 г.

Рудольф Баландин

Вселенная живая и мертвая

*М. А. Волошин и В. И. Вернадский
о двух синтезах Космоса*



Пройдемте по миру, как дети,
Полюбим шуршанье осок,
И терпкость прошедших столетий,
И едкого знания сок.

Таинственный рой сновидений
Овеял расцвет наших дней.
Ребенок — непризнанный гений
Средь буднично серых людей.

Максимилиан Волошин

Сопоставить взгляды поэта и ученого на познание природы и природу познания нелегко. Поэт стремится выразить не только идеи, но чувства, неясные прозрения. Он создает образы и своеобразные, порой причудливые мысленные конструкции, мало заботясь о логике и доказательствах. Это похоже на мифотворчество. Взгляд ученого основан на философских рассуждениях или результатах научных исследований, подчиненных строгим научным правилам.

Поэзию и науку можно назвать разными формами интеллектуальных игр. Для их сопоставления вряд ли существует единый язык, а тем более общий метод. Приходится что-то упрощать, приводя к более или менее четким формулировкам и понятиям, когда речь идет о поэтических образах. Здесь нет нужды ссылаться на приоритеты и предшественников, если отсутствуют явный плагиат или очевидное подражание.

Что касается взгляда ученого, в данном случае задача упрощается тем, что в своих рассуждениях о двух синтезах Космоса Вернадский мало заботился о формальностях. Его более интересовали философия и поэзия научного познания, чем конкретные научные разработки.

Самое интересное, что порой поэтические откровения Волошина оказываются более верными, подтвержденными последующим развитием цивилизации, чем логически выверенные обобщения и выводы Вернадского. Это относится в первую очередь к его представлениям о ноосфере. В таких случаях хочется вспомнить слова Марины Цветаевой:

Мы спим — и вот, сквозь каменные плиты,
Небесный гость в четыре лепестка.
О мир, пойми! Певцом — во сне — открыты
Закон звезды и формула цветка.

Волошин и Вернадский не раз встречались в Крыму. Было это в 1920 году. Гражданская война вроде бы мало способствует взлетам творческой мысли и философским спорам. Но хотя содержание бесед этих двух во многом очень разных людей неизвестно, есть все основания предполагать, что затрагивались, помимо всего прочего, проблемы развития цивилизаций, научного познания, сути жизни и разума, бытия

человека. Ведь и тот и другой в то время напряженно обдумывали именно эти вопросы. Вернадский создавал гениальное учение о биосфере и живом веществе, а Волошин — гениальную философскую поэму «Путями Каина. Трагедия материальной культуры».

Мертвая Вселенная

В 1915 году Волошин написал стихотворение в двух частях «Два демона». В нем раскрыты две ипостаси мироздания и два взгляда на мир. По философской традиции их можно сопоставлять с механистическим и органическим мировоззрениями.

Обратим внимание на первую часть стихотворения. Не все здесь поддается четкому толкованию, а некоторые высказывания вызывают недоумение.

Я дух механики. Я вещества
Во тьме блюду слепые равновесья.
Я полюс сфер — небес и поднебесья.
Я гений числ, я счетчик, я глава.

Мне важны формулы, а не слова.
Я всюду и нигде. Но клички — здесь я!
В сердцах машин клокочет злоба бесья.
Я князь земли! Мне знаки и права!

Я друг свобод. Создатель педагогик.
Я — инженер, теолог, физик, логик.
Я призрак истин сплавил в стройный бред.

Я в соке конопля, я в зернах мака.
Я тот, кто кинул шарики планет
В огромную рулетку Зодиака.

(1. С. 83)

Странно звучит в устах «создателя педагогик» и «гения числ» признание: «Я друг свобод». Верно было бы: «Я враг свобод», ибо формулы, числа, машины, логики, инженерные расчеты — проявления полного, рабского подчинения механическим закономерностям. Или этот демон еще и лицемер? Притворяется другом, оставаясь врагом всего живого?

Дух механики пронизывает все мироздание, придавая ему стройность, полную законченность. Шарики планет и звезд покорно кружатся в рулетке Зодиака, не имея никакой возможности преодолеть закон всемирного тяготения.

Такова картина мира, начертанная математиками, физиками. Прямо скажем, картина демоническая, страшноватая, мертвящая. Здесь царит полнейшая несвобода личности, человечества, всего живого. Неужели это и есть непреложная реальность?

Поэтический образ конкретен, зрим, антропоморфен. Жизнью и разумом наделяется гений чисел и счета, осуществляющий слепые равновесья. Если бы в мире царствовал только он, нигде не существовало бы жизни и разума, а бытие такой природы ничем бы не отличалось от абсолютного небытия, вечно покоя тьмы. Следовательно, данная картина мироздания основана на призраке истин, сплавленных логикой в стройный бред.

Но ведь — удивительно! — именно такие физико-математические модели Вселенной лежат в основе современной научной картины мира.

На это обратил внимание В.И.Вернадский в своей работе «Два синтеза Космоса». В полном соответствии со структурой «Двух демонов» Волошина ученый выделяет два типа научных мировоззрений, «едва ли совместимых между собой». Первый, общепризнанный и наиболее разработанный — «отвлеченное представление физика и механика, где все сводится в конце концов на немногие нашими органами чувств и даже нашим сознанием не охватываемые в образной форме представления об эфире, энергии, квантах, электронах, силовых линиях, вихрях или корпускулах. В сущности этот мир Космоса дает нам совершенно чуждое, нас не трогающее впечатление и, очевидно, представляет схему, далекую от действительности...» (2. С. 13).

Таков «дух механики», но не оживленный поэтическим воображением, а сотворенный фантазиями ученых.

Последнее утверждение может показаться по меньшей мере странным. Как известно, научные идеи основаны не на вольных фантазиях, а на фактах, экспериментах, объективных наблюдениях и строго логичных выводах. Таков и *де ал* научных исследований. В наибольшей степени он реализуется там, где речь идет о механических системах, машинах — творениях человека, но не Природы (Бога).

«Эта абстракция, — по словам Вернадского, — является удобной формой научной работы, входит в научное мировоззрение, но не охватывает его всего, не проникает даже все области естествознания; она явно неполна, как неполны по сравнению с природными объектами все отвлеченные и идеальные создания человеческого разума, всегда упрощающие реальные объекты... Эта схема строения Мира слишком рационалистична, проникнута человеческим разумом, подобно религиозным концепциям теологов» (там же).

Механистические научные космогонии (к ним, безусловно, относится и концепция «Большого взрыва»), по мнению великого естествоиспытателя XX века, уподобляются научным догмам. Создав в своем воображении простенькие схемы, многие ученые искренне верят в их соответствие реальности. Возникает парадоксальная ситуация. Разум человека придумывает картину мироздания, в котором жизнь и разум не имеют никакого смысла, необязательны.

Исчисленный Лапласом и Ньютоном,
Мир был точнейшим синтезом колес,
Эллипсов, сфер, парабол — механизмом,
Себя заведшим раз и навсегда
По правилам закона сохранения
Материи и Силы.

(1. С. 230)

Здесь Волошин не совсем точен. Вселенная Ньютона была, конечно, механизмом, но имела всемогущего и всеведующего Часовщика. И когда ученые, неукоснительно следуя правилам науки, вовсе избавились от «гипотезы Бога» (выражение Лапласа), тогда-то и восторжествовали космогонические теории, проникнутые мертвенным духом механики:

Таким бы точно осознала мир
Сама себя постигшая машина.

(Там же)

Этот замечательный образ словно предрек нынешнюю «компьютерную эру», когда научное познание в значительной мере определяется возможностями ЭВМ, их подсказками. В этом определенно проглядывает интеллектуальная зависимость человека от машин. Это и есть физико-математическая модель Мироздания, подчиненного не только законам всемирного тяготения и сохранения материи, энергии, силы (законы равновесия, недвижности, неизменности), но и второму началу термодинамики, постулирующему необратимую деградацию — рассеивание — энергии, рост энтропии:

Мы существуем в Космосе, где все
Теряется, — ничто не создается;
Свет, электричество и теплота —
Лишь форма разложения и распада;
Сам человек — могильный паразит, —
Бактерия всемирного гниения...

Все бытие случайно и мгновенно.
Явления жизни — беглый эпизод
Между двумя безмерностями смерти.
Сознание — вспышка молнии в ночи...

(1. С. 231)

Вернадский полагал, что представители физико-математических наук, строя космологические модели, вовсе не учитывают данные геологии и биологии. Однако дело,

по-видимому, не только в этом. Существенней то, что научные модели строятся исходя из имеющихся знаний и отражают достигнутый уровень... незнания — прежде всего. Потому что, как бы высоко ни оценивали специалисты свои успехи, как бы ни довольствовались массой добытых фактов и стройностью теорий, все это лишь очередной этап в познании природы, расширяющий прежде всего область неведомого. Как точно отметил Волошин:

Мы, возводя соборы космогоний,
Не внешний в них отображаем мир,
А только грани нашего незнания.

Живая Вселенная

Нередко в художественных произведениях отрицательный персонаж несравненно корпоритней, правдоподобней, полнокровней положительного. Так и в «Двух демонах» «дух Жизни» выглядит, на мой взгляд, слишком литературно. Судя по всему, имеется в виду Прометей («ослушник высшей воли», «Клюй, коршун, печень!» и т.п.). В отличие от «духа механики», бросающего «шарики планет в огромную рулетку Зодиака», этот образ более заземлен, приближен человеку:

Луч радости на семицветность боли
Во мне разложен влагой бытия.

(1. С. 84)

Интересное совпадение (или соответствие?): у Вернадского тоже говорится преимущественно о земных проявлениях жизни, причем в наиболее привычных для нас формах разрозненных организмов и их глобальной совокупности — живого вещества. Владимир Иванович совершенно справедливо утверждает, что жизнь не может быть случайным явлением во Вселенной.

Действительно, какая уж тут случайность, если она сохраняется, процветает и развивается на планете по меньшей мере 4 миллиардолетия! Следовательно, «если жизнь есть космическое явление, происходящее всегда в определенных условиях существования планеты, то она всегда проявляется где-нибудь в мироздании, где существуют отвечающие ей термодинамические условия. В этом смысле можно говорить об *извечности жизни*...» (1. С.142).

Такая позиция заставляет вспомнить «Диалектику природы» Ф.Энгельса с ее идеей вечности огоньков жизни, вспыхивающих, горящих и гаснущих то там, то здесь в вечной Вселенной. Как одна из философских материалистических концепций она вполне правомерна. Хотя научного подтверждения у нее нет. Скажем, все попытки обосновать гипотезу естественного происхождения живого вещества (организмов) на безжизненной планете оказались — по крайней мере, до сих пор — безуспешными; они более всего созвучны средневековым представлениям о появлении растений и животных из грязи, пены, почвы.

Для Вернадского подобные умозрения оставались вне основного ядра научного мировоззрения (фактов и эмпирических обобщений, не выходящих за их пределы). Он имел в виду второй синтез Космоса: органический, не разложимый на геометрические формы и не исчерпываемый физическими формулами. Это мировоззрение «пока тесно связано не со всем Космосом, но с его частью — нашей планетой» (2. С.13). В нем непременно присутствуют представления о жизни, о реальной, живой, окружающей нас природе. В этом его принципиальное отличие от физико-математических или химических схем и абстракций.

«Эти представления о природе не менее научны, чем создания космогоний или теоретической физики и химии, и ближе для многих, хотя они так же неполны, как и геометрические схемы упрощенной мысли физиков, но они менее проникнуты призрачными созданиями человеческого ума и дают нам другие стороны Космоса, оставленные последними вне своих абстрактных построений» (там же).

В статье, посвященной Гете, Владимир Иванович сопоставил второй синтез Космоса с поэтическим мировоззрением, подчеркнув, что оно составило «одну из основных струй создания науки» (3. С.246). Для научных формализаций характерно аналитическое разделение Природы на отдельные элементы с последующим конструированием

из них теорий и гипотез. А поэт и натуралист стремятся постичь и выразить жизнь природы пусть частично, но с максимальной полнотой. Такой подход осуществлял, например, Гете — «синтетик, а не аналитик», ярко чувствовавший единство природы, биосферы. Вдобавок, «его целое не было механически прочным, неподвижным, как мог проявляться современникам мир всемирного тяготения. Это было вечно изменчивое, вечно подвижное, в частности неустойчивое равновесие, не механизм, а организованность» (З. С. 286).

Иначе говоря, такое восприятие не строго рассудочное, как у мыслящей машины, а эмоциональное, охватывающее духовный мир человека целиком.

Надо заметить, что это не только естественнонаучный, но и наиболее естественный взгляд на мир человека, осознающего единство с природой. Практически всю историю *Homo sapiens* — около 30 веков — подобное мировоззрение в различных вариантах сохранялось у всех племен и народов до Нового времени. И только три века назад его начало вытеснять механистическое — продукт научных схематизаций. И не случайно в этот период обострились до предела экологические конфликты... Впрочем, об этом — чуть позже. А пока вспомним, как представлял Волошин интеллектуальное и духовное единство человека с природой:

Адам был миром, мир же был Адам.
Он мыслил небом, думал облаками,
Он глиной плотствовал, растеньем рос,
Камнями костенел, зверел страстями,
Он видел солнцем, грезил сны луной,
Гудел планетами, дышал ветрами,
И было все — вверху, как и внизу —
Исполнено высоких соотвествий.

(Там же. С.227)

Конечно же, таков идеал: Микрокосм воплощает в себе Космос, а точнее — биосферу, область жизни. И тогда возникает два вопроса: почему же восторжествовал механистический взгляд на мир? Что можно ожидать в дальнейшем?

Мысль и действие

В последней своей работе «Несколько слов о ноосфере» В. И. Вернадский поставил проблему: «Мысль не есть форма энергии. Как же может она изменять материальные процессы? Вопрос этот до сих пор научно не разрешен» (4. С.328).

Задача, пожалуй, не очень трудна. Просто формулировка не вполне корректна. Ученый выделил абстрактные категории: мысль, энергия, материальные процессы. Но сами по себе они не существуют. Они воплощены в человеке.

В каждом из нас неразрывно присутствуют две ипостаси: материальная и духовная. Чтобы жить, приходится не только думать, но и действовать. Человек создан творцом (в чем наиболее активно проявляется его разум), преодолевающим ограничения, которые определяются окружающей средой и его собственной природой. Не имея крыльев, он сумел взлететь в небо, не имея жабр — опускаться на морское дно... Всех форм и видов преодоления не перечислить. Они — продукт не только мысли, но и действия. При этом появился, окреп, обрел невиданную мощь и удивительное разнообразие посредник между человеком и природой — техника. Она, как некий демон, помогает удовлетворять все материальные и отчасти духовные человеческие потребности. Так что изменяют материальные процессы мысль, энергия и деятельность человека, воплощенные в технике и многократно усиленные с ее помощью.

Наиболее трудно понять и принять простые истины. Обычно они нарушают привычные установки. Вот и у Вернадского было, образно говоря, ослепление вспышкой научно-технического творчества начала XX века (такова его формулировка; в обиход вошло более политизированное выражение — НТР, научно-техническая революция). Как ученый и активный участник этого процесса, он видел в нем преимущественно торжество неутолимо пытливого разума. И старался не замечать обыденной направленности современной технической цивилизации — к удовлетворению примитивных материальных потребностей толпы, миллионов и миллионов обывателей.

Значительно более объективно — как это ни покажется странным — осмыслил проблему поэт, а не ученый. Волошин увидел в дерзаниях человеческого ума трагическую сторону материальной культуры: механизацию окружающей природы, человеческой деятельности и даже личности. В его поэме последовательно показано, как от кулака и меча осуществился переход к пороку и пару, ознаменовавшим наступление эры машин. Причем эры не в аллегорическом, а в геологическом смысле — как нового состояния биосферы.

Волошин привносит в мифологический образ реалии, добытые науками (антропологией, археологией, историей). Он показывает, как первый земледelec Каин — создатель сложной техники и преобразователь природы, бунтарь и собственник — убил простодушного и неприхотливого Авеля. С этого начались войны, преступления, пророчества, ереси, ремесла, искусства и науки. А там, после многих столетий, грянул век пара.

Покорный
Чугунный вол внезапно превратился
В прожорливого Минотавра...
(1. С. 215)

Далее поэт разворачивает картину преобразований, последовавших после «приручения пара». Царь Вселенной превратился в пассажира или смазчика колес. И хотя изобретатели машин мечтали «облагодетельствовать человека», их создания стали основой «новых видов рабства»:

Машина победила человека:
Был нужен раб, чтоб вытирать ей пот,
Чтоб умащать промежности елеем,
Кормить углем и принимать помет.
И стали ей тогда необходимы:
Кишащий сгусток мускулов и воль,
Воспитанных в голодной дисциплине,
И жадный хам, продешевивший дух
За радости комфорта и мещанства.

Вот мир, который создается на потребу и пролетариям, и буржуям, и подпевалам, попутчикам, идеологам и пропагандистам социализма и капитализма — жадным хамам, продешевившим дух, как точно и жестко сказал поэт. Для этого мира наиболее подходит механистическое мировоззрение, олицетворенное демоном расчета, формул и машин. Исповедующие его ученые уверены, будто являются жрецами истины, объективного знания. В действительности же это — самообман. Никто из работающих в тесных коллективах, научных сообществах, кроме отчаянных бунтарей, не может отрешиться от коллективного мнения. Для специалистов это выражается еще и в принятии негласных правил своего научного или технического «клана». Этому способствует длительное обучение, стажировка, защита диссертаций, постоянное общение с коллегами, единомышленниками. Разорвать такие незримые интеллектуальные узы чрезвычайно трудно.

Все это прекрасно понимал В. И. Вернадский. Он писал, что научное мировоззрение не есть синоним истины, не есть постоянно уточняющаяся картина Космоса. По его словам, исследователи часто вольно или невольно противопоставляют себя окружающему миру. Они основываются на своих узкопрофессиональных знаниях, и эти частные выводы, факты, схемы произвольно и неправомерно распространяют на природу (3. С. 39).

Волошин особо выделил феномен механизации самого стиля мышления:

Машина научила человека
Пристойно мыслить, здраво рассуждать.
Она ему наглядно доказала,
Что духа нет, а есть лишь вещество,
Что человек — такая же машина,
Что звездный космос только механизм
Для производства времени, что мысль
Простой продукт пищеваренья мозга,

Что бытие определяет дух,
 Что гений — вырождение, что культура —
 Увеличение числа потребностей,
 Что идеал —
 Благополучие и сытость...

(1. С. 218)

На первый взгляд может показаться, что последние три строчки не имеют прямого отношения к процессу познания, синтезу Космоса. Но в действительности именно такое понимание культуры и общественных идеалов (у идеологов капитализма и социализма они в данном аспекте сходны) формирует мыслителей, ученых, воспринимающих доверчиво картину мироздания мертвого, лишенного — как обязательных качеств! — жизни и разума. Скажем, для взорвавшейся некогда Вселенной совершенно необязательны живые и разумные организмы. И мы в ней являемся ничтожными, эфемерными, случайными созданиями, возникшими на определенном этапе деградации материи на крохотном небесном теле, затерянном среди звездных миров одной из миллиардов галактик («продукт всемирного гниения», как выразился Волошин).

Как могло произойти такое помрачение научных умов? В полном соответствии с тем способом перестройки окружающей среды и с тем методом познания, которые восторжествовали в Новое время, с бурным ускорением научно-технического прогресса:

Наедине с природой человек
 Как будто озверел от любопытства:
 В лабораториях и тайниках
 Ее пытал, допрашивал с пристрастьем,
 Читал в мозгу со скальпелем в руке,
 На реактивы пробовал дыханье...
 Природа, одурелая от пыток,
 Под микроскопом выдала свои
 От века сокровеннейшие тайны:
 Механику обрядов бытия.

(1. С. 236)

Очень сильно и верно сказано. Естествоиспытатели становятся пытателями и палачами природы, расщепляют ее на части, из этих мертвых осколков складывая свои конструкции.

Над подобной методой иронизировал еще гетевский Мефистофель: ученый сначала убивает живое существо, а затем на мертвом изучает сущность жизни. У Волошина — сравнение с сатанизмом, ибо распад, косность, «темная изнанка бытия», только то, «что можно было взвесить и измерить», признано фундаментом и сутью Мироздания.

Встав на этот путь познания, человек «мозги дезинфицировал от веры» и отрешался от всего, «что не сводилось к механизму» (1. С. 236). Такой путь познания был предопределен негласно признанными общественными идеалами: увеличение числа материальных потребностей, благополучие и сытость, а еще желанней — комфорт и роскошь. Действие и мысль человека составили единство, замкнутую систему с обратной связью. А она в полном согласии с законами термодинамики и здравым смыслом стала активно деградировать, разрушая духовный строй личности и божественную стройность окружающей среды.

Ноосфера и техносфера

В. И. Вернадского по праву можно считать крупнейшим ученым XX века. Никому не удалось создать что-либо соизмеримое его учению о биосфере по охвату фактов, грандиозности обобщений и значимости для человечества. Недаром оно легло в основу современного естествознания. Кроме того, он был одним из основателей геохимии, выдающимся историком науки...

Перечисление его достижений было бы слишком велико. Среди них нередко упоминают учение о ноосфере, области разума на планете. Это — заблуждение.

Подобного учения вообще не существует (нелепо выглядело бы учение, тем более научное, о том, чего нет и не было на свете). Сам он конечно же никогда не называл так свои воззрения на славное будущее человека и биосферы.

Концепция ноосферы, выдвигавшаяся Владимиром Ивановичем, весьма противоречива и основана не столько на фактах, сколько на гуманитарном умозрении. Правда, над фантазиями такого рода посмеялся еще Вольтер; его Панглос из «Кандида» постоянно, несмотря на все несчастья, твердил: «Все к лучшему в этом лучшем из миров». Увы, жестокая правда жизни столь же постоянно опровергает подобные благие пожелания-заклинания.

Как же мог великий мыслитель (а Вернадский безусловно был таковым) допустить столь очевидную ошибку? А вот поэт Волошин избежал заблуждений, трезво оценивая реальность: механизация быта и среды обитания механизмирует и духовный строй человека и способствует укоренению механистического мировоззрения. (Справедливости ради отметим: в те же годы проницательный философ Н. А. Бердяев писал, что человек в эпоху техники приобретает образ и подобие машины.)

Владимир Иванович сделал ту же ошибку, которую он ранее подметил у других ученых: позволил себе далекую экстраполяцию, основываясь на выборочных фактах и частных выводах. Он верно заключил, что «человек на наших глазах становится могучей геологической силой, все растущей» (4. С. 326). Но не учел, что эта сила на 9/10 своего действия разрушительна для биосферы и всего живого. Он справедливо отметил, что мощь человечества «связана не с его материей, но с его мозгом, с его разумом и направленным этим разумом его трудом» (4. С. 327). И упустил из виду два принципиально важных обстоятельства.

Во-первых, человек «стал великаном» благодаря созданной им технике, которой он стал рабски прислуживать «за радости комфорта и мещанства»; именно на потребу главным образом технике разрушается и загрязняется окружающая среда. Во-вторых, деятельность человека на планете есть проявление не только разума человека, но и полнейшего безрассудства (вспомним войны, преступления, террор и т. п.), недоумия, несдерживаемых страстей, низменных потребностей. Тут разум, подобно технике, — лишь средство.

Вообще, Вернадский проявлял завидный оптимизм, полагая, будто творящий разум человека продолжает глобальную работу живого вещества и переводит биосферу на новый, более высокий уровень организации, совершенства. Он отчетливо видел сомнительность, а то и убогость механистических моделей мира. Ему казалось, что эти заблуждения вскоре будут преодолены, что пора господства физико-математических и химических наук проходит и наступает время расцвета учения о биосфере, познания природы как целого с позиций прежде всего биологии, геологии, а также философии и психологии, обогащенных идеями современного естествознания...

Увы, завершается XX век, опровергая все светлые надежды Вернадского. Оправдались горькие прозрения Волошина: машинная цивилизация во имя мещанских буржуазных ценностей подавляет культуру, развивая ее техногенные разновидности, обращенные не к личности, но к стаду; деформирует духовный мир человека, губит биосферу. А современный ученый, тешась своей примитивной моделью мира,

Огородил свой разум частоколом
Торчащих фактов, терминов и цифр.
(1. С. 236)

...Оккультисты, сторонники различных тайноведений и суеверий, проросшие ныне невесты откуда, как сорняки, охотно подхватят негативные высказывания Волошина о разуме и научном познании: вот, мол, до чего эти ограниченные ученые довели мир! Изобрели страшнейшее химическое оружие, атомные бомбы и электростанции, ужасную технику; пора отказаться от всего этого, обратиться к откровениям махатм и экстрасенсов...

Безусловно, пришла пора вернуться к истокам познания, проникнуть в глубины человеческой психики и осмысливать духовную, а не только материальную жизнь природы. Но все это вряд ли разумно делать, проявляя самодовольное невежество, дремучее незнание природы и «животный магнетизм». Подобная смесь шарлатанства, внушения и фокусничества не имеет ничего общего с мистикой, которую имел в виду Волошин. Для него мистические переживания были связаны с проникновением в жизнь природы:

Все видеть, все понять, все знать, все пережить,
 Все формы, все цвета вобрать в себя глазами,
 Пройти по всей земле горящими ступнями,
 Все воспринять — и снова воплотить!

(1. С. 34)

Примерно так же представлял себе творчество и Вернадский. Он вовсе не утверждал, будто научное мировоззрение есть синоним истины. По его мнению, «прекращение деятельности человека в области ли искусства, религии, философии или общественной жизни не может не отразиться болезненным, может быть, подавляющим образом на науке... Все эти стороны человеческой души *необходимы* для ее развития, являются той питательной средой, откуда она черпает жизненные силы, той атмосферой, в которой идет научная деятельность» (3. С. 51).

Само по себе отрицание науки нелепо: это все равно, что отрицать все достижения современной технической цивилизации и звать людей в чумы и яранги на шаманские камлания. Обычно те, кто огульно охаивает научный метод познания, или весьма плохо его знают, или имеют некоторые психические изъяны, или просто-напросто таким путем зарабатывают себе авторитет в определенных кругах ради корыстных целей.

Однако в то же время следует ясно осознавать опасность, которую несет преувеличение роли науки в жизни людей и в формировании мировоззрения. И не науки вообще, а именно наиболее формализованных ее отраслей, в частности физики, механики, математики (от чего и предостерегал Вернадский). Они соответствуют технике и техносфере, но дают чрезвычайно искаженную, примитивнейшую картину природы, биосферы.

Оптимизм Вернадского по поводу грядущей ноосферы покоился на «трех китах»: вере в человеческий разум; надежде на скорое отмирание механистического мировоззрения и расцвет органического синтеза Космоса; недооценке процесса технизации жизни и личности человека.

Подобно многим крупным ученым, Владимир Иванович преувеличивал роль рассудка и научно доказанных истин в жизни отдельного человека, тем более целых народов и всего человечества. Людьями движут страсти, предрассудки, чаяния, надежды, любовь и ненависть, склонность к подражанию, зависть, стремление к творчеству... Короче, что угодно, но только не потребность строить свою жизнь по законам науки. Максимилиан Александрович, говоря о высшем предназначении личности, отметил точно:

...человек рожден,
 Чтоб выплавить из мира
 Необходимости и разума —
 Вселенную Свободы и Любви.

(1. С. 94)

Борьба за жизнь

Рассуждения о двух синтезах Космоса имеют не только теоретическое, но и сугубо практическое, актуальнейшее для нашего времени значение. Казалось бы, в нынешней России, испытывающей один из самых безнадежных кризисов в своей истории, не до подобных вселенских проблем. Однако следует иметь в виду, что ситуация, сложившаяся в нашей стране, в значительной степени вызвана господством механистического мировоззрения, даже не столько в научной области, сколько в экономической. Человека сводят к комплексу постоянно растущих материальных потребностей, а общество — к системе механизмов, призванных удовлетворять их. Ни о природе, ни о душе, ни о справедливости и свободе, не говоря уж о творчестве и дерзаниях духа, тут и речи нет: «человеческий фактор»!

Конечно, и при «развитом социализме» господствовали в обществе все те же материальные ценности. Но сохранялись и другие, духовные, хотя и признаваемые за вторичные. Теперь же они отошли на дальний план. Официальная пропаганда, зависящая ныне от владельцев капиталов (практически всегда нажитых криминальными

средствами), внедряет в массовое сознание самые примитивные идеалы, свойственные преимущественно уголовникам. Это выдается за цивилизованный образ жизни. Хотя в развитых капиталистических странах, при явном мещанско-потребительском характере общества, массы не подвергаются столь разрушительной моральной обработке.

Россия, низведенная до роли зависимого государства, находящегося на периферии научно-технической цивилизации, рискует не только утратить свой высокий культурный, интеллектуальный потенциал, но и превратиться в свалку материальных и духовных отходов. И это не просто трагедия русского народа и русской культуры. Это — трагедия для всего человечества. Когда одна из наиболее высоких гуманных культур мира приходит в упадок, ничего хорошего быть не может — ни для природы планеты, ни для людей (исключая самых непритязательных, «наиболее приспособленных»).

...Складывается впечатление, что техническая цивилизация или прошла, или проходит пик своего развития. Она явилась материальным воплощением механического синтеза Космоса; основана на примитивном понимании сути жизни, бытия человека. Это — путь Каина, безудержно «покоряющего природу» во имя своих мещанских идеалов. Ведет он к трагедии материальной культуры и деградации человека и окружающей его среды. Об этом предупреждал Максимилиан Волошин. Его никто не услышал. Попытка построить «альтернативную цивилизацию», переходящую из социализма в коммунизм (что в значительной степени соответствует переходу от биосферы к ноосфере), в настоящий момент явно потерпела крах. Иначе не могло быть, если учесть, какими методами, какими «руководящими отрядами» и с каким лицемерием она осуществлялась.

К сожалению, в нашем обществе нет ясного понимания, что и буржуазная модель развития очевидно тупиковая. Ресурсов биосферы совершенно недостаточно, чтобы удовлетворить непомерно возросшие материальные запросы даже 2—3 миллиардов землян, ориентированных на общество потребления американского типа. Реализация второго, органического синтеза Космоса, создание гуманистического общества, достойного ноосферы, становится еще более несбыточной мечтой, чем полвека назад. Оптимизм Вернадского оказался безосновательным. Тем самым опровергнуты два его принципиальных положения: в своей глобальной деятельности человечество, как видим, не руководствуется научной мыслью и разумом; развитие цивилизации не предопределено никаким законом природы, а осуществляется в соответствии со свободным (хотя и бессознательным) выбором людей. В этом отношении одним из наиболее проницательных мыслителей нашего века оказался Н. А. Бердяев, писавший и об эре техники, и о механизации личности, и об абсолютном приоритете свободы.

Но ведь и Волошин не был безнадежным пессимистом. Он верил в духовные силы человека:

Так будь же сам вселенной и творцом,
Сознай себя божественным и вечным...

...Наш дух — междупланетная ракета,
Которая, взрываясь из себя,
Взвивается со дна времен, как пламя.
(1. С. 237, 232)

И это тоже оказалось иллюзией — в приложении, конечно, к обществу, а не отдельным личностям. XX век прошел под знаком господства масс, демагогии.

Бердяев писал о торжестве буржуазного духа и подавлении сильных личностей... Впрочем, об этом говорили Ортега-и-Гассет и другие. А Вернадский отметил: «Вся история науки на каждом шагу показывает, что отдельные личности были более правы в своих утверждениях, чем целые корпорации ученых или сотни и тысячи исследователей, придерживающихся господствующих взглядов» (3. С. 66). И еще: «В мире реально существуют только личности, создающие и высказывающие научную мысль, проявляющие научное творчество — духовную энергию. Ими созданные невесомые ценности — научная мысль и научное открытие — в дальнейшем меняют... ход процессов биосферы, окружающей нас природы» (Там же. С. 233).

Однако во второй половине нашего века произошло то, что не предполагали все

великие мыслители: появились электронные средства манипуляции общественным сознанием, усиления духовного господства тех групп, которые владеют капиталами и рычагами власти. Техника стала не только самой могучей геологической силой на земной поверхности, но и мощнейшим средством преобразования (деформации, технизации) личности. Механизация интеллектуального труда и творчества посредством компьютеров и компьютерных сетей еще более закрепощает ученого в рамках общепринятых идей и мнений в том, что касается мировоззрения.

Какой же можно сделать вывод?

Представления о двух синтезах Космоса, развивавшиеся Волошиным и Вернадским, раскрывают суть нынешнего конфликта цивилизации с окружающей природой. Однако надежды на скорое — в середине века — крушение механического понимания Космоса не оправдались. По-видимому, само собой оно не сдаст позиции. Чтобы его преодолеть, требуются значительные и целенаправленные усилия поначалу отдельных личностей, затем — групп и, наконец, общественных организаций...

Таков традиционный ход смены мировоззрений. Но возможен ли он при господстве глобальной технической цивилизации? Хотелось бы надеяться на это. В противном случае человечество в ближайшие десятилетия испытает социальные и экологические конфликты и потрясения необычайной силы. И только после этого, на страшном опыте убедившись в гибельности прогресса «путями Каина», люди воспримут органическое мировоззрение.

Примечания

1. *Волошин М. А.* Стихотворения. Статьи. Воспоминания современников. М., 1991.
2. *Вернадский В. И.* Живое вещество. М., 1978.
3. *Вернадский В. И.* Избр. труды по истории науки. М., 1981.
4. *Вернадский В. И.* Химическое строение биосферы Земли. М., 1965.
5. *Бердяев Н. А.* Философия свободы. М., 1989.

Г. Померанц

Одиночная школа любви



Я взял название своей статьи из стихотворения, которым начинается последний прижизненный сборник Бориса Чичибабина «Цветение картошки».

Взрослым так и не став, покажусь-ка я белой вороной.
Если строить свой храм — так уж, ведомо,
не на крови.
С той поры, как живу на земле неодухотворенной,
я на ней прохожу одиночную школу любви.

Школа началась в лагерях, продолжалась на бурных поэтических вечерах 60-х годов, ушла из литературы вместе с «оттепелью», — и все это была школа любви. После недолгого торжества в прямом эфире перестройки, после горечи похмелья Борис Чичибабин оставляет нам эти слова как самое последнее, самое главное, что он сказал, что через него сказалось:

В этой школе поди классов сто, а возможно, и
больше,
но последнего нет, как у вечности нету конца...

Джордж Оруэлл в статье «Предотвращение литературы» писал, что труднее всего предотвратить поэзию. Стихи можно даже не записывать. Они слагались и в лагерях. Так родился «Тост» Варлама Шаламова («Я поднял стакан за лесную дорогу, за падающих в пути...»); так родились и чичибабинские «Красные помидоры», «Махорка». И так же снова рождались стихи застойного времени. Если положить на одну чашу весов современные стихи, напечатанные советскими издательствами до конца 80-х годов, а на другую чашу — то, что не подавалось в цензуру или что она отсекала, то запретная чаша весов, пожалуй, не легче. Не напечатали при жизни ни строчки Даниил Андреев, Людмила Окназова, Александр Солодовников. Не печатались Вениамин Блаженный, Зинаида Миркина. Попали под запрет Семен Липкин, Инна Лисьянская. Целое направление, которое я назвал поэзией духовного опыта (или духовной встречи), официально не существовало. Много лет не печатался и Борис Чичибабин. Во время «оттепели» он был шумно знаменит, но приспособиться к застою не захотел. Писал для себя и для друзей, иногда печатался за границей, работал бухгалтером в трамвайном парке; был исключен из Союза писателей, предупрежден ГБ о возможности применения к нему ст. 190, ч. 1. Это, однако, случилось довольно поздно, а уход из дозволенной литературы совершился тогда, когда можно было еще печатать, по крайней мере, Сонеты Лиле, стихи о Крыме, Армении, Литве, Эстонии («Дружба народов» взяла бы). Отказ от публикаций был свободным нравственным решением, негромким, но твердым отказом от самой возможности фальши.

С предельной искренностью связан недостаток поэзии Чичибабина, из-за которого мы чуть не поссорились. Я внимательно прочел машинописный однотомник и написал Борису, что ему надо бы поработать над некоторыми стихотворениями, где одна-две строфы портят целое. Чичибабин решительно отверг мое предложение. Прошло много лет, пока я понял его резоны. Стихотворение выливалось у него на бумагу под

диктовку непосредственного чувства. Возвращаться назад, входить в прежнее настроение и переживать его, как актер переживает Бориса Годунова или Отелло, он не умел, считал для себя искусственным. Во всяком искусстве есть момент лицедейства, стилизации чувства; у Бориса этот момент исчезающе мал. У Пушкина, говорил он, тоже есть плохие стихи, это неважно. Может быть, действительно неважно: слабых стихов у Пушкина очень мало. Но пушкинский тип творчества (прошла любовь, явилась муза), тип творчества по в о с п о м и н а н и ю чувства — этот принцип Чичибабину чужд. Его стихи напоминают его физический облик (недаром поэт сравнивал себя с верблюдом). И эта угловатая искренность сближает скорее с традицией Достоевского и Толстого, сознательно ломавших изящную тургеневскую фразу.

Виртуозность формы была неприятна царящему Хаму почти так же, как искренность. Но мастеровитость кое-как уживалась с цензурными требованиями и иногда ловко обходила их. Чичибабин оказался слишком прям для уловок. Он не выносил двоемыслия. Куском бесспорной правды оставалась любовь, природа, книги, и Борис Алексеевич отказался выносить свои чувства на сцену. Достаточно было сказать, написать (не печатая):

Не лну к трудам. Не состою при школах.
Все это ложь и суета сует.
Король был гол. А сколько истин голых.
Как жив еще той сказочки сюжет.

Мне ад везде. Мне рай у книжных полок.
И как я рад, что на исходе лет
не домосед, не физик, не геолог,
что я никто — и даже не поэт.

Мне рай с тобой. Хвала Тому, кто ведал,
что делает, когда мне дела не дал.
У ног твоих до смерти не уныл,

не часто я притрагиваюсь к лире,
но счастлив тем, что в рушащемся мире
тебя нашел — и душу сохранил.

Чичибабин ушел из официальной литературы просто, естественно, радостно. Вдруг, в середине жизни, к нему пришла счастливая любовь. Она была несравнима со всем, что он до этого знал, и лучше всего на свете. Это чувство иногда приходит в зрелые годы, после нескольких тяжелых испытаний. В молодости кажется, что чудо можно повторить — и почему не попробовать? А потом сердце становится вялым и не трепещет, как прежде... Так бывает часто, очень часто. Судя по литературе — почти со всеми, кто пишет о любви. По крайней мере, в последнее время. И я думаю, что дар Чичибабина — это жизненный дар. Его специальность, как говорила Марина Цветаева, была жизнь. Жизнь и любовь. Он в сорок и пятьдесят лет любил, как в восемнадцать, со всем удивлением красоте, как будто в первый раз увидел женщину, в первый раз испытал радость от ее радости.

Перед встречей с Лилей было одиночество, хлещущее реками, когда двое в постели отрываются друг от друга с отвращением и ненавистью... Я пересказываю Рильке, но мог бы пересказать и Окуджаву и многих других и поэтому не вспоминаю таких стихов Чичибабина (они есть и у него). Вспоминаю только итог:

Сними с меня усталость, мать Смерть.
Я не прошу награды за работу,
но ниспошли остуду и дремоту
на мое тело длинное, как жердь...

А потом Бог подарил Борису Лилю. И это было как вторая молодость Фауста. Только без помощи Мефистофеля. Маргариту, подаренную Мефистофелем, Фауст потерял и Маргариту погубил. Божий дар оставался с Борисом до последних его дней. И поэт радовался дару, как язычник, и благодарил Бога, как христианин. В поэзии

Чичибабина нет пропасти между царством Афродиты и царством Христа. Все, что от любви, — Божье:

Ты в снах любви, как лебедь, белогруда,
но и слепым душа в тебе видна.
Все женщины прекрасны. Ты одна
божественна и вся добро и чудо,
как свет и высь. Я рвусь к тебе со дна.
Все женщины для мига. Ты одна
для вечности. Лицо твое на фресках...

А потому о прежнем — не спрашивай:

В том страшном сне, минутная, как милость,
чуть видно, ты, неведомая, снилась.
Я оживал, в других твой свет любя.

И сам воскрес, и душу вынес к полдню,
и все забыл, и ничего не помню.
Не спрашивай, что было до тебя.

Лагерные воспоминания не случайно вплелись в рассказ о том, что иногда казалось любовью, что иногда по ошибке зовут любовью. Чувственный плен — та же тюрьма, то же рабство. И даже худшее рабство, чем подневольный труд. Чичибабин это глубоко пережил — но не обвинил в своих падениях чувственность, созданную Богом так же, как цветы и птицы. И когда он говорит о захваченности «звериной» красотой Лили, звериное здесь значит цельность и силу чувства, без всякой рефлексии. Ничего зверского. Ибо рождается из нежности и возвращается в нежность. Ибо одухотворено любовью. Ибо каждый порыв прошел сквозь сердце и чувственный взрыв не заглушил, не отравил ликующую нежность:

...и я, прощенный, нежностью наполнюсь.
В тебе ж, как сестры милые, духовность
и чувственность, грудь с грудью, обнялись.

В юности, когда женская красота меня выбивала из себя, я поразился, что отдыхающей Венере Джорджоне хотелось смотреть на лицо, прежде всего на лицо, а все остальное — потом (это остальное довершает чувство красоты; но потом). И Чичибабин не случайно вспоминает Джорджоне. Он в своей Лиле тоже прежде всего видит кроткое лицо, кроткую душу, принявшую в себя его угловатые страсти, со всеми срывами, взрывами, попойками (об этом и в застольных стихах: «Вечером с получки», в оде водке). Всякое бывало. И сквозь все — как родная гавань — Лилия:

Люблю твое лицо. В нем каждая черта —
от облачного лба до щекотных ресничек —
стесняется сказать, как ландышно чиста
душа твоя, сестра деревьев и лесничих...

Чичибабин принимает счастливую любовь как причастие, как Божье благословение:

Отныне мне вовек не будет плохо.
Не пророню ни жалобы, ни вздоха,
и в радость боль, и бремя — благодать.

Кто прикивал к рукам твоим и бедрам,
тот внидет в рай, тому легко быть добрым.
О, дай Господь всю жизнь тебя ласкать!

А потому в радость, «что я никто и даже не поэт». Не поэт — в смысле, в котором говорят о человеке: поэт, прозаик... Не литератор. Не профессионал. Это потом особо

обдумывалось и разъяснялось. Но если человек родился поэтом, он не может вылезть из самого себя. Вспышки творчества приходят к нему, как страсть. Пусть нечасто. Поэт остается поэтом и без стихов. Достаточно чувствовать в себе творческую силу, образ и подобие той, которая сотворила мир. Чувствовать, как страдание тонет в радости, как грохот событий тонет в тишине, нелепость жизни — в целостном разуме. Николай Кузанский назвал это «совпадением противоположностей» (не гегелевским единством, развивающимся из одного состояния в другое, а простой цельностью движения и покоя). Ум поэта не в силах удержать великую цельность, но творчество стремится к ней и все время вновь ее находит. Поэт открыт боли, но не тонет в ней. Его подхватывает следующая волна, и радость захлестывает боль. А потом снова боль. Так, среди ликования крымской природы, вспоминаются сосланные татары.

Думал о Крыме: чей ты,
кровью чужой разбавленный?
Чьи у тебя мечети,
прозвища и развалины?

.....
Люди на пляж, я с пляжа —
там, у садов и скал,
«где же татары» спрашивал,
все я татар искал.

.....
Родина оптом, так сказать,
отнята и подарена —
и на земле татарской
ни одного татарина.
Живы поди не все они:
мало ль у смерти жатв?
Где-то на сивом севере
косточки их лежат.

Кто помирай, кто вешайся,
кто с камнем на конвой, —
в музеях краеведческих
не вспомнят никого...

Гейне писал, что французский патриотизм расширяет сердце, а немецкий сужает. Я думаю, и во Франции были квасные патриоты, и в Германии — то, что можно назвать патриотизмом вселенского на родном языке, в родном облике. Просто есть два патриотизма, как — по Ленину — две нации в каждой нации (одна из тех фраз, которые Чичибабин у Ленина любил; слово «интернационализм» было ему близко).

Патриотизм Чичибабина расширял сердце. Его любовь к России — без капли ненависти к другим. Больше того: с чувством ответственности за зло, которое Россия, русские сделали другим; ответственности, которой нет у парламентов, спорящих о Крыме.

В 1948 году, в разгар сталинской политики травли народов, он сочиняет стихи «Народу еврейскому»:

Не родись я Русью, не зовись я Борькой,
не водись я с грустью, золотой и горькой,

не ночуй в канавах, счастьем обуянный,
не войди я навек частью безымянной

в русские трясины, в пажити и в реки,
я б хотел быть сыном матери-еврейки.

Это одна из лучших струй в большой реке русской культуры: быть всегда на стороне тех, кого гонят, кого травят. Чичибабин, принимая национал-коммунизм, никогда не переставал быть «красным», никогда не расставался с интернационализмом и с этичес-

ким социализмом (я назвал бы его социализмом сердца). Думаю, что такой «социализм» неотделим от культуры, воспринявшей Евангелие без посредства Кальвина. И если он мешает стране на пути к богатству — Бог с ним, с богатством; была бы совесть чиста.

Чичибабин мучительно переживал отъезд из Харькова своих друзей — и благословлял их бегство:

Дай вам Бог с корней до крон
без беды в отрыв собраться.
Уходящему — поклон.
Остающемуся — братство.

.....

Всяка доля по уму:
и хорошая, и злая.
Уходящего — пойму.
Остающегося — знаю.

.....

Тот, кто слаб, и тот, кто крут,
выбирает каждый между:
уходящий — меч и труд,
остающийся — надежду.

Но в конце пути сияй,
по заветам Саваофа,
уходящему — Синай,
остающимся — Голгофа.

Я устал рубить сплеча,
мерить временным безмерность.
Уходящему — печаль.
Остающемуся — верность.

Благословение борется здесь с горечью, с мыслью об оставленной России. Равновесие неустойчиво, и в другом стихотворении горечь вырвалась на первое место. Хотя по-прежнему — без ненависти к уезжающим. Только с болью:

...Броня державного кордона —
как решето.
Им светит Гарвард и Сорбонна,
да нам-то что?

Пусть будут счастливы, по мне, хоть
в любой дали, —
но всем живым нельзя уехать
с живой земли.

С той, чья судьба еще не стерта
в ночах стыда,
а если с мертвой, то на черта
и жить тогда?..

Это не риторика, не пустые слова. Чичибабин не мог отделить себя от России, не мог отделить Россию от себя. В «Красных помидорах» он пишет о своей личной беде, о потере свободы, но в образном строе стихотворения эта беда, помимо логики, становится бедой России, и даже не только нынешней, а во все века истории:

Кончусь, останусь жив ли, —
чем зарастет провал?
В Игровом Путивле
выгорела трава.

Школьные коридоры
тихие не звенят...
Красные помидоры
кушайте без меня.

Как я дожил до прозы
с горькою головой?
Вечером на допросы
водит меня конвой...

Точно так же становятся личной бедой границы, рассекая страну. Они все шли по его сердцу и разрывали его. Болезненно чувствительный к праву другого, к чужой обиде, Чичибабин считал себя обязанным не противиться борцам за *незалежность* и голосовал за независимость Украины. Но когда раздел совершился — он пережил его как собственную смерть. Вернее, он просто не пережил его.

...С мороза душу в адский жар
впихнули голышом, —
я с родины не уезжал,
за что ж ее лишен?

Какой нас дьявол ввел в соблазн,
и мы-то кто при нем?
Но в мире нет ее пространств
и нет ее времен.

Исчезла вдруг с лица земли
тайком в один из дней,
а мы, как надо, не смогли
и попрощаться с ней.

.....
При нас космический костер
беспомощно потух.
Мы просвистали свой простор,
проматерили дух.

К нам обернулась бездной высь,
и меркнет Божий свет.
Мы в той отчизне родились,
которой больше нет.

Здесь только боль. Здесь нет чувства превосходства, желания сохранить командную роль русского центра. И нет желания свалить несчастье на других. Чичибабин, может быть, еще раз проголосовал бы — против себя — за других.

Спокойно днюет и ночует,
кто за собой вины не чувствует.
Он свой своим в своем дому,
и не в чем каяться ему.

Он в хоровом негодованье
отверг и мысль о покаянье, —
а я и в множестве один,
на мне одном сто тысяч вин.

На мне лежит со дня рожденья
проклятье богоотпадения,
и что такое русский бунт,
и сколько стоит лиха фунт.

И тучи кровью моросили,
когда погибло пол-России
в братоубийственной войне, —
и эта кровь всегда на мне.

Для Чичибабина «национализм» — ругательное слово. Всякий национализм. Достается и русским, и украинским националистам. Нет даже оговорки о различии умеренного национализма (цивилизованного предпочтения национальных интересов) от национального экстремизма. В этом (как и во многом другом) его мысль очень прямолинейна. Я не мог его убедить, например, что без Петра не было бы Пушкина. Есть вещи, которые он всегда ненавидит: деспотизм, национализм, подлость, жестокость. Но никогда нет ненависти к народу. Украине посвящено несколько стихотворений Чичибабина. Русским он чувствует себя на юге, а в Москве — «хохлою». Это две стороны одной души, и она разорвана демагогами, политическими честолюбцами... Ему ненавистны паспорта, анкеты, границы:

Анкетный черт, скорее рви и прячь их!
Я жил без них, о предках не тужа,
а как возник, узнай у русских прачек,
спроси о том умельца-латыша.

Во мне, как свет, небесна и свежа,
приемля в дар огонь лучей палящих,
смеется кровь прабабушек-попачек
и Украины вольная душа.

.....
Творить и думать — вот что хорошо.
А для анкет на кой мне черт рождаться?
Я — человек, вот все мое гражданство.

Можно сказать, что Чичибабин — гражданин мира, космополит. И это верно. Но космополит, который жить не может без своей большой России. Поэзия Чичибабина — живое доказательство, что гражданин мира может любить свою родину страстно и нежно, что патриотизм связан с чужееством не по природе своей, а по желанию найти предмет ненависти и излить на него свою злобу.

В Чичибабине злобы нет. Есть вспыльчивость, горячность, а злобы нет. Слишком много любви, и любовь гасит вспышки гнева.

В творчестве Чичибабина, как в его любимцах, Пушкине и Толстом, любовь раскрывается во всех своих ипостасях: как эрос, филию и агапэ. Это и дружество, щедро диктующее стихи на случай, и крики совести, и «звериное» чувство, заставляющее птиц петь, оленей — драться за самку. Одно очень важное стихотворение Чичибабина называется «Битва»:

В ночном, горячем, спутанном лесу,
где хмурый хмель, смола и паутина,
вбирая в ноздри беглую красу,
летят самцы на брачный поединок.

.....
В поэзии — как в свадебном лесу,
но только тех, кто цельностью означен,
земные страсти весело несут
в большую жизнь — к падениям и удачам...

Поэзия Чичибабина пульсирует в поле напряжения, созданном Совестью и Страстью. Его специальность — жизнь. Он посвятил оду неказистой птице — воробью. Он чувствует себя верблюдом среди литературных скакунов:

Он тащит груз, а сам грустит по сини,
он от любовной ярости вопит.

Его терпенье пестуют пустыни.
Я весь в него — от песен до копыт.

Марлена Рахлина, давний друг Бориса Чичибабина, как-то сказала мне, что его стихи делятся на гениальные и очень несовершенные (передаю по смыслу, как запомнил). Многие стихи на случай рождены скорее дружеским чувством, чем глубинным порывом. Их можно «отмыслить», не включать в корпус избранного, но и в гениальных стихах есть небрежности. За это Ал. Межиров назвал Чичибабина «гениальным графоманом». У среднехороших поэтов нет чичибабинских неловкостей. Но и гениальных стихов тоже нет.

Поэзия Чичибабина, нарушая каноны, выработанные в литературных кружках, вошла в современность, расталкивая мастеров. В ответ на «гениального графомана» Чичибабин ответил:

Нехорошо быть профессионалом.
Стихи живут как небо и листва.
Что мастера? Они довольны малым.
А мне, как ветру, мало мастерства.

Найти чар и свет в оконных рамах,
трава меж плит, тропинка к шалашу,
судьба людей, величье книг и храмов —
мне все важнее всего, что напишу.

Во время «оттепели» Чичибабин, подхваченный волной пробужденного гражданского чувства, блистал на харьковских поэтических собраниях, как в Москве — поэты Лужников. Потом он «стал никем» — и вернулся большим поэтом большой России. Мне хочется привести отрывок из недавнего письма Елены Кувшинниковой к моей жене, Зинаиде Миркиной. Я думаю, таких откликов немало: «Назову вам имя: Борис Чичибабин. Несколько лет назад в каком-то журнале впервые прочла его стихи: «О, сохрани несбыточность любви от прямоты ожесточенной страсти!» Запомнила, стала отыскивать новые стихи. Находила (приходили). Слышала по радио (сообщение о вручении ему премии). И — «Красные помидоры кушайте без меня». И — особенно мне близко (тоненько болит) его стихотворение «Лошадки Бориса и Глеба»...» (Ульяновск, 12 мая 1995 г.)

Это стихотворение без названия, начинается оно просто с первой строки:

Ночью черниговской с гор араратских,
шерсткой ушей доставая до неба,
чад упасая от милостынь братских,
скачут лошадки Бориса и Глеба.

Плачет Господь с высоты осиянной.
Церкви горят золоченой известкой.
Меч навострил Святополк Окаянный.
Дышат убивцы за каждой березкой...

Последние годы Борис часто читал эти стихи. Они стали для него самого словесной иконой:

Ныне и присно по кручам Синая,
по полю русскому в русское небо,
ни колоска под собой не сминая,
скачут лошадки Бориса и Глеба...

Безвременно погибший художник Владимир Казьмин писал, что каждое здание стремится стать храмом, каждая картина — иконой, каждое стихотворение — молитвой. В стихах Бориса Чичибабина, во всей их безыскусственности, есть это стремление. Нет стилизации под святость, но есть то, что составляет самую ее суть: любовь. Любовь как счастье разделенного чувства и любовь как готовность душу свою отдать за ближнего. Не спрашивая у него родословной и не заполняя анкет.

«Зона. Незабвенная шестая часть земли»

Рубрику ведет Лев Аннинский



Смерть страхнула с имени Роберта Рождественского приставшие к нему попреки: слишком ясен, слишком неизменен, слишком «под Маяковского» всю жизнь.

Маяковского в посмертной книге почти нет. Это почему-то даже жаль: мне не хочется, чтобы Рождественский, уступая «зовам времени», отказывался от того, что любил. Я почти с облегчением обнаружил в «Последних стихах» уже едва видимые, но все-таки различимые следы лучшего и талантливейшего поэта нашей советской эпохи. И не столько в «Аббревиатурах», где маяковское поэтическое камлание спародировано в пяти вариациях, а потом спущено в иронию: «Наша доля прекрасна, а воля — крепка!» SOS. ТЧК...» Настоящего Маяковского больше в прощальном «Алене», где басовитый говор Рождественского срывается с размера, и мускульная мощь стиха как бы оступает в «прозу» простого признания.

Но в общем Маяковского почти нет в прощальном томике его верного ученика.

Есть — Мандельштам, в открытую:

Кричал:
«Я еще не хочу умирать!»
А руки вдоль тела текли устало.
И снежная,
непобедимая рать
уже заметала...

Есть Цветаева — в синтагмах:

Пей-пляши-страна!
Бей-круши-страна!
Коль снаружи мир,
так внутри война...

Есть Блок — в саркастически воспроизведенных, паролльно узнаваемых ритмах:

Поговорим о Пушкине.
О Ницше.
О пенсиях.
О ценах.
О еде.

То, что Роберт Рождественский блистательный пародист, признавали даже самые непримиримые критики в моменты самой лютой борьбы с ним. Я бы хотел удостовериться и утвердить другое: это мастер, обладавший, помимо тяжелого и точного словесного удара, органичным ощущением стихового дыхания: его ритма и аритмии. И тут уже совершенно неважно, напоминает он или не напоминает кого-то из предшественников, «взял» или «не взял» что-то у других, «похоже» это или «непохоже» на что-то.

Вспушайте:

По отдельным элементам все это, конечно, можно и признать, и отбросить. Кое-где Рождественский, дрогнув, пытается «исправить». Что-то о «Белом доме», о 91-м годе... И еще в том же духе: демократичное и перестроечное. Немного. Неловко. Мгновенная слабость души переходит в слабость строки.

А правда в том, что ничего «исправить» нельзя. Ни исправить, ни исправленному поверить. Ни переработать прожитое, ни переписать: ни строки.

Только вернуться мысленно. Мысленно возвращается к фигуре «бдительного, полуголодного» парня, сатанеющего в спорах. Это — Рождественский 1952 года. Стоит перед Мавзолеем. Шепчет Отцу и Богу: «Прикажи... и мы умрем...»

Смерть заложена в самое основание этой ликующей, уверенной жизни. Сначала — УМЕРЕТЬ за великое дело, и только потом выяснить: за КАКОЕ?

В сущности, это поэтическое прозрение: жизнь, возникающая из «ничего», носит в своих порах «ничто» и проходит сквозь мир вещей и событий. Насквозь проходит. Бесследно.

Лейтмотив прощальных стихов — вытекание. Не по Гераклиту: у того — живой водоворот. Здесь — течет, высказывая: не удержать. «Все куда-то уходит, течет не спеша... Кран на кухне. Умы из России». Кран на кухне — это опять-таки чистый Рождественский: оборона юмором. Но: реки крови. Вытекание бытия в ничто. Из ничего в ничто. Зачем?

«Чай возник из блюда... (Опять та же усмешка. — Л. А.). Мир из хаоса возник. Дождь из тучи. А из утра — полдень. Ах, как много в жизни мы читаем разных книг!..»

Книги — особая боль. Книги, стихи, строчки. Если это единственная крепость, в которой бытие как-то удерживало смысл, то самое горькое в судьбе поэта — исчезновение стиха. Вытекание литературной судьбы в беспамятство. «С юности зачитанный до дыр, он потом ушел в разряд: «и др.»...»

И вот это, пронзительное:

Постичь я пытался безумных событий причинность.
В душе угадал...
Дане все на бумаге случилось.

Решать, что случилось и чего не случилось на бумаге, оставим на суд потомков. УЖЕ случилось: судьба, строчки, книги, прочное место в шеренге послесталинского поколения «шестидесятников». Это не уйдет в «и др.». Разве что вся шеренга, все поколение, весь исторический пласт сползет в забвенье, но тогда и «не жалко». На миру и смерть красна.

А вот когда весь мыслимый «мир» исчезает... Я не о стихах — я о том, ЧТО в них засвидетельствовано. «Угадал душой»... ЧТО?

ПРИЧИННОСТЬ искал в безумии событий.

Дитя Разума, светлый романтик, мыслящий отпрыск Гегеля, возвращенного Марксом с головы на ноги, верил в практическое счастье земшарного человечества.

Финал: все опять на голове. И даже так: ВСЕГДА на голове, как выясняется. Конечно, с точки зрения постмодерна, поставангарда, постструктурализма и прочих современных концепций это нормально: обыкновенная рутинная абракадабра, где перемешанные «мотивы» составляют то ли взвесь, то ли смесь, то ли слизь:

Мы —
боящиеся озонной дыры, СПИДА и кооператоров,
нашлигованные с детства
лекарствами, слухами и нитратами,
молящиеся, матерящиеся,
работающие и бастующие,
следователи и подследственные,
стареющие и растущие..

Некоторые элементы этого рождественского пель-меля вполне сгодились бы на нынешних пирах духа. Что-то такое: «Говорящие на трех языках и не знающие своего». Что-нибудь «пышущее здоровьем и никотинной слизью харкающее». Что-нибудь из реальности новых кавказских войн: «купальники и бронежилеты».

Но Рождественский в роли сюрреалиста — это, конечно, «полный абзац», как

выражаются на современных тусовках. Дьявольская разница состоит в том, что современная тусовка — это та взвесь, та смесь, та слизь, куда творческий индивид входит как в блаженное лоно: он ничего другого не знает и знать не хочет. Такое безумие теперь — норма. Другого не было и не бывает.

Для Рождественского это именно клиническое безумие. Срыв в хаос. Конец света. Ибо другое — бывает. Как именно, какое именно — он не знает, он не успел засечь, «не случилось». Он только учуял в душе, угадал, поверил.

И когда чаемое счастье, за которое так хотелось в юности умереть, когда мечтаемое мировое сообщество разрушилось, тогда обнажилось «ничто», и ничего более. И тогда осталось одно: «умереть».

Мужество Рождественского — не только в противостоянии подступающей физической смерти, хотя потрясает и это: «Неотправленное письмо хирургу» будет не раз перечитано и под чисто человеческим углом зрения. Но тут больше: мужество духа, глядящего в глаза пустоте. Спокойное отрицание пустоты. Через констатацию.

Именно так: взглянуть в глаза пустоте и НАЗВАТЬ ее. Преодолеть, НАЗВАВ. Это мужество — не из физической, оно из духовной сферы.

Странный путь пролег в этой сфере у молодого сталинца-пионера-комсомольца: начинал как типичное дитя эпохи, кончил — как уникал, как мамонт, переживший ледниковый период, как одинокий метеорит, догорающий в пустоте.

В теперешней ситуации всеобщей хаотической перестройки и повального идеологического сиротства, когда оплашенные неохристиане состязаются с очнувшимися оккультистами и вера накручивается на суеверие, человек, которого коснулась смерть, готов поверить во что угодно: в переселение душ, в рай на другой планете, в перевоплощение, в любую, самую фантастическую или самую жалкую форму «бессмертия» или «потустороннего» бытия — но только не в исчезновение. Он вообразит некую отвлеченную «общность» или некую отвлеченную «личность», только бы не глядеть в ту ослепляющую пустоту, которую и определить невозможно, потому что она — ничто.

Большевизм, сотканный по исторической необходимости «из чего попало», распался на что попало, расплодился на «нити», но если была в нем нить стальная, героическая, не на что другое не годная, кроме самопожертвования ради великой идеи, какой бы она там ни оказалась, эта идея, — такая стальная нить должна была уйти в чистое небытие. Потому что она выкована из «ничего». Из чистой воли. Из человеческого, чисто человеческого... то есть без Бога и без всего, что опирается на Бога.

Рождественский, «не верующий в Бога», отказывается менять это базисное мироощущение. Он не ищет утешений — он глядит в глаза небытию. Небытию общности. Небытию личности. Небытию Абсолюта. Небытию бытия.

Небытие как мера бытия? Нет, жизнелюбивое идеальное здравомыслие, стоически фиксирующее, что жизнь сравнялась с нежизнью.

Формула самозаклания духа: «Захотелось уйти мне в себя, а там — никого».

Личность — базисная ценность, пароль и символ веры. Личность, изначально сотворенная из общности и ради общности. Если там — «никого», значит, это приговор ВСЕМУ.

В картину распадающейся Державы, которой пел когда-то Рождественский самые искренние гимны, ложится ровный, делящий надвое штрих: «Полстраны — угодники. Полстраны — доносчики». В карусель вырождения втянуты все. «Полстраны уже сидят. Полстраны готовятся». И потому виноватых нет: все имеют то, к чему готовы.

Последний горький вопрос брошен при прощании: может, «все мы гарнир к основному блюду, которое жарится где-то там...»

А если и ТАМ — ничего?

Это последняя точка, до которой доходит человеческий дух, роняя и отбрасывая самооправдания. На этой точке он замирает бездвижно. Внешние оправдания бессмысленны. Твоя точка — это точка. «Тчк».

Всю жизнь я смотрел на Рождественского, поражаясь «константности» его поэтического облика. Среди собратьев-шестидесятников он всегда выделялся несдвигаемой верностью однажды принятым ценностям. От него хорошо было отсчитывать, и всю жизнь (всю мою литературную жизнь), вглядываясь в мое поколение, я отсчитывал — от Рождественского. Другие петляли, крутились, кружились, отходили и уходили, менялись, метались, мотались. Рождественский — стоял. «Верстовой столб», — брякнул я когда-то. Конечно, в таком подходе к фигуре поэта было что-то обидное, но, как критик, я не мог удержаться.

Теперь, оглядываясь на его мучительную жизнь, я перед ним преклоняюсь — за эту каменную твердость, за верность себе, за невозможность вильнуть, примениться, приспособиться. Огромный смысл проступил в этой твердости. Следы великой драмы отпечатались на камне...

Поэзия — не отпечаток элементарной жизни и не скрижаль высокого духа; поэзия — это боль контакта между тем и другим. Человеческая черточка, трещина на камне о чем говорит: о слабости человека или о каменной силе его?

И о том, и о другом. Это и есть поэзия: вздох сильного. Что-то свойски-простое — на вулкане, за мгновение до взрыва.

Волга-река. И совсем по-домашнему: Истра-река.
Только что было поле с ромашками...
Быстро-то как!..
Может быть, может быть,
что-то успею я в самых последних строках!..
Быстро-то как!..

Поэзия — срыв каменной воли в тихий стон:

Ах, как мы привыкли шагать от несчастья к несчастью...
Мои бесконечно родные,
прощайте!

Поэзия — стон к Богу, даже когда Его нет:

Радуют не журавли в небесах, а синицы в руках...
Быстро-то как!
Да за что ж это, Господи?!
Быстро-то как...

Последняя книга Рождественского сделана руками его родных: собрана женой, отредактирована дочерью. Напечатана в Нижнем Новгороде и, кажется, поначалу вручную.

Что это? Немошь и атрофия столичных издательств? Или праведность людей, своими руками спасающих память о поэте?

И то и другое. Была страна, охватившая шестую часть земного шара. Потом сказали, что это была сплошь зона. Что же: страна или зона? Уму не вместить. Поэзия — вмещает. И то и другое. Чтобы это почувствовать, надо потерять. Все потерять. И вернуть в стихе: «Эту зону. Незабвенную шестую часть земли».

Мелкодержавный национализм



За свою двухсотлетнюю историю национализм преподавал нам по крайней мере два урока. Первый из них: национализм присутствует уже в безобидном патриотизме. (Недаром Лев Толстой говорил о безнравственности всякого патриотизма!) Вспомним, как легко перешли немцы от благородных идей Тугендбунда к агрессивному национализму («Германия, Германия превыше всего!»), от сопротивления французскому игу — к подавлению свободы других народов, когда даже социалист Фридрих Энгельс отказал австрийским славянам в жизнеспособности и праве на самостоятельность.

Второй урок состоит в том, что хуже великодержавного национализма может быть только национализм мелкодержавный. За что сербские националисты убили наследника австрийского престола Франца-Фердинанда? За то, что он хотел уравнивать славян в правах с немцами и мадьярами. Но националистам нужно не благо народа, а «величие» государства. Выстрел в Сараеве грянул во имя Великой Сербии; с тех пор прошли две мировые войны, возникла и распалась Югославия, а в Сараеве до сих пор стреляют. Не лучше ли было пойти дорогой австрославизма и сохранить триединую Австрийскую империю? Ибо империя — это мир. Право же наций на самоопределение — это бесконечная война. Потому что нации живут не в четко очерченных границах, а иногда, как в Боснии, и вперемешку. И вообще в мире существуют несколько тысяч языков, а государств — менее двухсот, могут ли все народы образовать независимые государства?

Мелкодержавный национализм страдает комплексом неполноценности, он ревнив, завистлив и обидчив. Он не признает языка межнационального общения, который не устанавливается никакими международными соглашениями, он просто существует, потому что в нем есть нужда. (Вопреки чаяниям энтузиастов эсперанто искусственный язык не приживается.) Его роль в Европе долго, в течение более тысячи лет, играл латинский, в XVIII—XIX веках — французский, после второй мировой войны — английский. Из официальных языков ООН только два — английский и французский — действительно являются мировыми (третий — немецкий — не был принят по политическим причинам), остальные три — китайский, испанский и русский — исполняют роль языка межнационального общения только в своих регионах. Такова реальность, не признаваемая националистами-мелкодержавниками.

Так, один автор заявляет: «Понятие «язык межнационального общения» есть продукт лингвистического империализма. В многонациональном государстве все языки должны быть языками межнационального общения (опыт Швейцарии!). (А как быть с опытом США? — П.Н.) В Воронеже, — продолжает наш автор, — Нижнем Новгороде, Саратове языком межнационального общения конечно же должен быть русский. В Северной Осетии — осетинский, в Татарстане — татарский, в Калмыкии — калмыцкий и так далее»¹.

И так далее... Значит, языком межнационального общения в Воркуте до войны должен был быть ненецкий язык, потому что в ту пору Воркута входила в Ненецкий национальный округ Архангельской области. В 1940-м она была передана из Архангельской области в Коми АССР. (Воркута, правда, тогда не подчинялась ни Архангель-

¹Бязрти К. В глубоком покауте. — «ДН». 1995. № 2. С. 162.

ску, ни Сыктывкару, она была в ведении ГУЛАГа. Но не все же тогда здесь сидели, было и несколько человек вольнонаемных выпускников Ухтинского горного техникума. Теперь Коми АССР повысила свой статус до «полной» республики, в которой коми составляют 23 процента населения, русские — 57, а вместе с украинцами и белорусами — все 68. В Воркуте же коми проживает только два процента. Теперь допустим, что встретились в нашем городе два националиста — местный коми и приезжий осетин. На каком языке им общаться? Коми не знает осетинского, осетин не понимает коми. Оба владеют русским, но, как принципиальные противники лингвистического империализма, они не желают говорить на языке «оккупантов». Что же им делать? Изъясняться жестами? Или говорить по-французски, как это пытались делать обиженные националисты во времена Маяковского? Значит, без языка межнационального общения все-таки не обойтись, только им ни в коем случае не должен быть русский?.. «Националистическими кривляниями» называла Роза Люксембург подобные явления.

Жизнь, конечно, заставляет считаться с реальностью, и осетин, приезжая в Казань или в Сыктывкар, не принимается за изучение татарского или коми, он знает, что его поймут по-русски.

Вопреки ожиданиям Ленина, XX век стал не веком пролетарских революций, а столетием национальных войн. Захватив власть в многонациональной России, большевики приступили к решению национального вопроса под девизом: «Казаться, но не быть!» Никакие союзные республики не входили в Союз добровольно и не имели права на свободный выход из него. Никакие автономии не были автономными, и в большинстве из них преобладало русское или русскоязычное население. Все было ложью. Создание (1940) и упразднение (1956) Карело-Финской ССР было еще не самым большим лицемерием советской национальной политики. Во время войны целые автономные республики тайным решением Политбюро отправлялись в ссылку. Царская Россия и в страшном сне не видела таких расправ. Пришло время признать, что «тюрьмой народов» ее называли зря¹.

СССР, по справедливому замечанию А. Авторханова, был не обычной империей, не простым продолжением старой царской империи. Русский народ был в нем первой жертвой, он выролдился в хамский «советский народ», черты которого были привиты в разной степени и всем нерусским народам². Рано или поздно эта «империя зла» должна была пасть, и она рухнула в 1991-м, придавив своими обломками всех членов «Союза нерушимого». В результате весь бывший СССР погряз в хаосе, нищете, преступности и кровавых междоусобицах.

А Западная Европа, пережив две мировые войны, объединилась и благоденствует. Почему бы Восточной Европе (бывшему СССР) не последовать примеру Западной? Почему бы постсоветским людям не отбросить безумное ленинско-сталинское национально-территориальное размежевание и не обратиться к идее национально-культурной автономии, которую Чингиз Гусейнов называет гениальной? Пусть даже не гениальной, а просто здоровой. Ибо, как говорит Чингиз Гусейнов, только культура должна являться носителем национальной идеи.

Как этого достичь?

Мы живем в больной стране. Ни один народ в мире никогда не был в таком положении, как мы. Как нам выйти из него, толком не знает никто. И я не знаю.

Уверен только в одном: путь к выздоровлению лежит не через национализм — великодержавный или мелкодержавный.

5 августа 1995 г.

Воркута

¹Караманов Ю. Империя и ойкумена. — «Новый мир». 1995. № 1.

²См. «ДН». 1991. № 1. С. 217; № 5. С. 214, 216.

³См. «ДН». 1995. № 1. С. 4.

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «ДРУЖБА НАРОДОВ» ЗА 1995 ГОД



	№	Стр		№	Стр
ПРЕДИСЛОВИЕ К НОМЕРУ					
ГУСЕЙНОВ Ч. Вместе и врозь. <i>Заметки о жизни диаспоры</i>	I,	3	ция и подготовка текста М. Давыдова	XI,	90
ПЬЕЦУХ В. О течении языка	II,	3	КУМОК Я. Мелимойе, или Рукопись, прочитанная на бар- рикаде. Роман	II,	8
				III,	61
ПРОЗА					
АДАМОВИЧ А. «Сидели мы на крыше...» Подготовка текста И. Ковалевой. Послесловие			ЛЮБЕЦКАЯ Т. Наполовину о любви. Маленький роман	V/VI,	55
Д. Гранина	I,	7	НЕКРАСОВ В. Из неопуб- ликованного. Предисловие Г. Бак- ланова. Послесловие Г. Анисимова	III,	25
АЗОЛЬСКИЙ А. Розыски абсолюта. Рассказ	XI,	13	ОГАНОВ И. Осень мило- сердия. Притча	XII	20
АЛЕШКОВСКИЙ П. Влади- мир Чигринцев. Роман	IX,	10	ПОБЕДИН К. Харьковская прописка	V/VI,	23
	X,	51	ПЬЕЦУХ В. Рука. Повесть	IX,	66
БУТ В. Орел — решка. Всту- пительное слово В. Быкова	IV,	23	СЕРГЕЕВ А. Альбом для ма- рок. Коллекция людей, вещей, слов и отношений (1936—1956)	VII,	5
ВАСИЛЬЕВА С. Любовь к географии	VIII,	31		VIII,	43
ДОБРОДЕЕВ Дм. Возвра- щение в Союз. Вступительное слово В. Потапова	II,	60	СОВРЕМЕННЫЙ РАССКАЗ (Бутов М., Березин В., Крупник И., Михальчук А., Рахманин Б., Пьецух В.)	V/VI,	90
ДРУЖНИКОВ Ю. Медовый месяц у прабабушки, или При- ключения генацвале из Сакрамен- то. Рассказ	I,	70	(Вишневецкая М., Антонов С., Войтишонок М.)	XII,	46
ЖУРЕК Е. Казанова. Роман. С польского. Перевод К. Старо- сельской	X,	108	СТАХОВ Дм. Из цикла «Разбитая-бутылка -темного-стекла»	XII,	73
	XI,	52	ТЕРЦ АБРАМ. Путешествие на Черную речку	I,	88
ЗЮСКИНД П. Контрабас. С немецкого. Перевод Е. Том	XII,	93	ХОЛОПОВ Б. Воспитание по-военному	IV,	99
КОПЕЛЕВ Л. Будущее уже начинается	I,	49	ХУРГИН А. Рассказы	VIII,	7
КУЗИН Б.С. Воспоминания. Вступительная статья, публика-	V/VI,	123	ШКЕМА А. Вариации на тему Апокалипсиса. Повесть. С ли- товского. Перевод Н. Воробьевой	I,	18
			ЭППЕЛЬ А. Из книги «Шампиньон моей жизни».		
			Рассказы	VII,	62

ПОЭЗИЯ

АРСЕНЬЕВА Т. У яблока я училась... <i>Стихи</i>	I,	44
АЧЯН В. На птицу я похож... <i>Стихи. С армянского. Перевод и вступительное слово Г. Кубатьяна</i>	I,	67
БАЙТОВ Н. Три года. <i>Поэма</i>	VII,	59
БЁРЛИ Х. Непостижимый свет. <i>Стихи. С норвежского. Перевод и вступительное слово А. Графова</i>	VIII,	118
ГОРДЕЕВА Г. Питающий родник. <i>Стихи разных лет</i>	XI,	45
ГОРЗЕВ Б. Как кровь беснуется в висках... <i>Стихи.</i>	X,	16
ГОРЮШКИН А. Застенчивый невольник топора... <i>Стихи</i>	VIII,	3
ДЕЛЮИ А. Из книги стихов «Повторение или различие». <i>С французского. Вольный перевод Г. Гецевича</i>	II,	99
ЕВСЕЕВ Б. Беспощадная жизнь. <i>Стихи</i>	II,	55
ЗАКС Н. Там, где билось сердце. <i>Стихи. С немецкого. Перевод и вступительное слово А. Графова</i>	I,	85
ЗОЛОТОВ О. Мужские собачьи канканы зимою	XII,	68
ЗОРИН А. Стихи, рожденные в цейтнотах	IV,	145
КРЮКОВА Е. Песня в полях. <i>Стихи</i>	III,	19
КУДИМОВА Е. У каждого звука своя тишина... <i>Стихи</i>	VIII,	26
КУТИК И. Кот, зеркала и Стендаль. <i>Стихи. Вступительное слово Г. Айги</i>	II,	188
ЛАПИН В. ...На каком ни смотри циферблате. <i>Стихи</i>	X,	48
ЛЕВИН А. Мне не идет грустить и умиляться. <i>Стихи</i>	XI,	84
ЛЕОНОВИЧ В. Из «Альбома посвящений»	V/VI,	3
ЛИПНЕВИЧ В. Она опустилась с небес... <i>Стихи</i>	X,	105
МОРОТСКАЯ С. Ограничено небом и смертью... <i>Стихи</i>	IV,	96
МОРРИСОН Дж. Оранжевая оратория. <i>Стихи. С английского. Перевод и вступительное слово А. Кудрявицкого</i>	V/VI,	120
НИШНИАНИДЗЕ Ш. На ладони твоей. <i>Стихи. С грузинского. Перевод В. Леонovichа</i>	IX,	61
ОЖИГАНОВ А. Буквенный четвертый чудный Рим... <i>Стихи разных лет</i>	IV,	117

ПАНЧЕНКО Н. Твоим живым огнем... <i>Стихи 1990—1995 годов</i>	IV,	18
ПАХОМОВА В. Секреты из стеклышек. <i>Стихи</i>	VIII,	40
ПЕШЕХОНОВ В. Между небом и небом... <i>Стихи</i>	IX,	94
ПЛАУДИС Э. Вечность рядом... <i>Стихи. С латышского. Перевод О. Петерсон</i>	VII,	82
ПОСПЕЛОВ Е. Зритель зреющих гроз... <i>Стихи</i>	V/VI,	52
ПРОМЕТ Л. Мир, повисший на травинке. <i>С эстонского. Перевод Е. Печерской</i>	XII,	91
РЕЙН Е. После нашей эры. <i>Стихи</i>	VII,	3
РЕЙН Е. Дышать прошедшим... <i>Стихи разных лет</i>	XII,	41
СЕЛЕЗНЕВ И. Глубоко крыло копают... <i>Стихи</i>	XI,	133
СТРОЧКОВ В. Мир становится ломок... <i>Стихи</i>	IX,	3
ТАУН Л., СТУМБР О. Ты повсюду звучишь... <i>С латышского. Перевод и вступительное слово С. Морейно</i>	I,	14
ТРААТ М. Следы пахнут ветром... <i>С эстонского. Перевод Б. Балясного</i>	V/VI,	85
ХЯРМ В. Осенние строки. <i>Стихи. С эстонского. Перевод Е. Печерской</i>	III,	59
ШУШПАНОВ П. Победа. <i>Стихи</i>	IV,	3

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

ГАЗДАНОВ Г. Рассказы. Публикация Ст. Никоненко	X,	21
«НА ЗЕМЛЕ БЫЛА ОДНА СТОЛИЦА, ВСЕ ДРУГИЕ — ПРОСТО ГОРОДА». Петербургский период в воспоминаниях Г. Адамовича. Вступительная заметка О. Коростелева	X,	183
	XI,	161

ПУБЛИЦИСТИКА

БАЛАНДИН Р. Вселенная живая и мертвая. М. А. Волошин и В. И. Вернадский о двух синтесах Космоса	XII,	162
ВЕСЕЛОВА Н. Месяц надежды	IX,	97
ГАЛЛ В. На рубеже войны и мира	III,	125
ДАВЫДЮК С. Цветы в пороховом дыму	IV,	122

ДИДУРОВ А. Столешниковская скрижаль. <i>Объяснительные записки</i>	VII,	117	ЗАТОНСКИЙ Д. «Австрийский вариант»	XI,	3
КОРОЛЕВ С. Донос в России. <i>Опыт социально-философского исследования</i>	II,	132	КОВАЛЕНКО В. Сосед с камнем за пазухой. <i>В каких случаях национальное меньшинство становится пятой колонной?</i>	X,	161
КУЗНЕЦОВ В. Козлиха и ее обитатели	IV,	149	ЛИСИНА Е. На качелях перед боем. <i>Чеченский дневник</i>	II,	103
ЛИСИЧКИН Г. Чем больна Россия	X,	137	МИЛОСЛАВСКИЙ И.Г. Язык не виноват. <i>Некоторые проблемы современного общества с точки зрения лингвиста.</i>		
ЛИСИЧКИН Г. Грандиозность «малых дел»	XI,	136	<i>Беседу ведет И. Дорохина</i>	II,	124
ЛИСИЧКИН Г. Есть ли будущее у России	XII,	152	МИХАЙЛОВ М. Уроки Югославии. <i>С английского. Перевод А. Анастасьева</i>	III,	163
ЛЮБИЦКИЙ В. Война и власть. <i>Заметки из пресс-центра в зоне чрезвычайного положения</i>	VII,	84	МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ		
МАСЛЕНИКОВА З. Литовский семисвечник	VIII,	122	РОССИЯ. Анкета «ДН»	II,	153
МИХАЙЛОВСКИЙ Г. Письма с Белого моря	IX,	115	НЕГРЕТОВ П. Мелкодержавный национализм	XII,	186
НИКИТИН Г. Фет-земле-владелец	I,	137	НУРПЕЙСОВА Ш. Вся власть — брахманам	XII,	143
ОРЛОВ Б. Письма из Рязани	VII,	106	ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ СПУСТЯ. Анкета «ДН»: <i>Писатели о войне</i>	III,	3
ПОЛЬСКАЯ Е. Наши за границей	III,	133		IV,	4
РУДЕНКО Б. СПИД против свободы	I,	132		V/VI,	9
РУДЕНКО Б. Закон зоны	V/VI,	166		VIII,	140
СТУРУА М. Сапожки царицы Тамары	XII,	128	САЛГАНИК М. Хорошо бы. И другим полезно	VIII,	140
ТРУСКИНОВСКАЯ Д. Письма из Латвии	VIII,	152	ТОЛПЫГО А. Осколки и наследники. <i>Украино-российские отношения: конфликт сверхзадач</i>	II,	148
ФУРМАН Дм. Украина и мы. <i>Национальное самосознание и политическое развитие</i>	III,	151	ХАН-ПИРА Э. О праве не быть губернией и о типе лица	I,	129
ЯКОБСОН А. Расходятся ли параллели?	XI,	148	ШЕЛОХАЕВ В. Глупо делить эту маленькую Землю. <i>Беседу ведет Л. Мугалева</i>	VIII,	146

НАЦИЯ И МИР

АХИЕЗЕР А. Где искать самобытность? <i>Специфика исторического пути России</i>	I,	113
АЧИЛЬДИЕВ И. Свобода и равенство	V/VI,	177
ГАЧЕВ Г. Как я преподавал в Америке. <i>Исповесть</i>	V/VI,	191
ГЛЯДЯ ЧЕРЕЗ ОКЕАН (Макс Лернер. Книга об Америке — глазами русских литераторов и ученых. Анастасьев Н. Воображаемые американцы)	IV,	157
ГНАУК Г. Кто видит тучи над Калининградом? <i>Через четыре года после «открытия» области. Взгляд из Берлина. С немецкого. Перевод С. Дадашевой</i>	III,	144

ГОЛОСА

СИНЕГУБ Е. «Социализм бесчеловечия...». <i>Вступление и публикация И. Мочалова</i>	VII,	170
--	------	-----

КРИТИКА

АЛЕКСАНДРОВ Н. «Я леплю из пластилина...» <i>Заметки о современном рассказе</i>	IX,	130
АЛЕКСИЕВИЧ С. Территория отдельного человека в воюющей стране. <i>Беседу ведет И. Игумнова</i>	X,	3
АНАСТАСЬЕВ Н. Станные сближенья... <i>Или о пользе чтения неактуальной литературы</i>	XI,	174

БУЧИС А. Введение в мир		БРЕМЯ БЫТИЯ	
Шкемы	I, 34		
ВЕНОК ТИЦИАНУ ТАБИДЗЕ	XII, 3	КУНИНА И. Век мой, зверь мой... <i>Из книги воспоминаний</i>	VIII, 180
«В КОМПАНИИ С ШЕКС-ПИРОМ И ДАНТЕ» (Кустарев А. Репутация как живое существо. Александров Н. «Быть может, в Лете не потонет...»)	IV, 163 168	IX, 136	
«ДАВАЙТЕ ПОСТАРАЕМСЯ ЕЩЕ ПОЖИТЬ, ПОДЫШАТЬ, ПОРАБОТАТЬ...» <i>Письма А. Эфрон к Э. Л. Миндлину</i>	II, 179	АРХИВ	
ДЕДКОВ И. «Девятого Мая обязательно вспомню Вас...» <i>Из переписки с А. Адамовичем, Г. Баклановым, В. Богомоловым, В. Быковым, Д. Граниным, В. Кондратьевым</i>	III, 169 IV, 172	МАНН Т. «Я сделал из своей судьбы роман». <i>Из дневников 1918 года. Предисловие, примечания и перевод с немецкого И. Эбаноидзе</i>	IX, 176
ЗОРИН А. Веянье веселого ужаса. <i>Заметки о поэзии П.Васильева</i>	XI, 181	ЧЕСТЕРТОН Г. К. О настоящих поэтах и прозаиках. <i>С английского. Перевод Н. Трауберг. Вступительная заметка О.Неве</i>	VII, 148 VIII, 169
ЛИТСОБЫТИЕ-94. <i>Размышляют читатели хороших книг: Н. Иванова, В. Курбатов, Т. Бек, М. Кураев, А. Турков, С. Федякин</i>	I, 150	«Я СТАНУ ГОВОРИТЬ О ФЕДЕРИКО-ДРУГЕ...» <i>Федерико Гарсиа Лорка глазами друзей. С испанского. Переводы Н.Малиновской и В.Кулагиной-Ярцевой. Вступительная статья и комментарий Н.Малиновской</i>	I, 167
МЕЛЬЦ Н. Нас не нужно делить. <i>Беседу ведет Н. Игрунова</i>	I, 159	ЭХО	
МОЧУЛЬСКИЙ К. «Хороший поэт или плохой? Не знаю». <i>Творческие портреты русских поэтов. Вступительная заметка и публикация С. Федякина</i>	V/VI, 219	Рубрику ведет Л. АННИНСКИЙ	
ПАНЧЕНКО О. Русская литература на польском свете	VIII, 162	Так кто же у нас более русский, чем сами русские?	I, 189
ПОМЕРАНЦ Г. Одиночная школа любви	XII, 173	Сапог и башмак	II, 189
РАССАДИН Ст. Старший учитель	VII, 138	Достоинство и превосходство.	
РЕЙН Е. Разговоры за пазухой. <i>Беседу ведет Т. Бек</i>	II, 165	К 70-летию Я. Кросса	III, 189
СПРИНДИТЕ Ю. Империя слов. <i>Беседу ведет Д. Калинаускайте</i>	V/VI, 214	Мягко. Но твердо.	IV, 188
		Что предвидел и чего не предвидел Артур Кестлер?	V/VI, 234
		Из жизни подкидышей	VII, 189
		Что построим на песочке?	VIII, 189
		...С камнем на сердце	X, 178
		Проклятушие вопросы	XI, 189
		«Зона. Незабвенная шестая часть Земли»	XII, 181

IVAN OGANOV. An Autumn of Mercy.

It is a fable of transformations, prose-fiction which trespasses the deepest spheres of human nature, describes interrelations between people, between objects and people, between animate world and still-nature.

EUGENY REIN. To Breath with the Past.

In this selection of poems, which is timed for the author's 60-th anniversary, E.Rein appears again as a master of Russian verse — free in his feelings and precise in the form. Melancholy of memoirs sometimes is cut short with a sigh of disillusion in the present days.

SHUGA NURPEISOVA. All Power — to the Brahmins!

This is a passionate, rather controversial, but sincere reflections of a Kazakh intellectual on the high aspiration of national «intelligentia» in the post-Soviet area.

ПОДПИСКА НА «ДРУЖБУ НАРОДОВ»

в любой рабочий день этого года на любой срок!

Она принимается непосредственно в редакции с 13 час. до 17 час.

Вы будете получать журнал в редакции сами —

это обойдется гораздо дешевле,

чем пользоваться услугами почты.

Любой номер, начиная с № 1 1996 года, можно купить в редакции.

121827 ГСП Москва, Г-69, ул. Поварская, 52.

Тел. 291-62-27

Редакция не имеет возможности рецензировать и возвращать рукописи.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографии-изготовители, указанные в выходных сведениях журнала.

При перепечатке наших материалов ссылка на журнал «Дружба народов» обязательна.

Технический редактор Анна Селиверстова

Адрес редакции: 121827 ГСП Москва, Г-69, ул. Поварская, 52.

Телефоны: главный редактор — 291-62-27, заместитель главного редактора — 291-62-49, заместитель главного редактора и секретариат — 202-52-03, зав. редакцией — 291-62-27, отдел прозы — 291-85-10, отдел поэзии — 291-63-63, отдел публицистики — 291-05-09, отдел критики — 291-64-50, факс: 291-63-54.

Сдано в набор 07.09.95. Подписано в печать 17.11.95. Формат бумаги 70 x 108^{1/16}. Печать офсетная. Усл. печ. л. 16,8. Усл. кр.-отт. 17,5. Уч.-изд. л. 18,85. Тираж 16000 экз. Заказ 2145. Цена свободная.

**Иллюстрированный
христианский
популярный
ежемесячный
журнал**

Истина



и Жизнь

- это наведение мостов
между Западной и
Восточной Церквами
- это «злоба дня»
и былое
- это свидетельства,
публицистика,
поэзия,
искусство
и многое другое

Индекс в подписном каталоге

Роспечати — 72659.

Справки по телефону (095)201-29-10

В 1996 году «Дружба народов» предполагает опубликовать:

Светлана Алексиевич. Чернобыльская молитва. (Хроника будущего).
Борис Антоненко-Давидович. Рассказы. *Из литературного наследия.*
Виктор Некрасов. Из парижской тетради.
Владимир Войнович. Новая повесть.
Артур Кестлер. Приезд и отъезд. Роман. Перевод с английского М. Улановской.
Виктор Козько. Прохожий. Повесть. Перевод с белорусского автора.
Отар Чиладзе. Авелум. Роман. Перевод с грузинского Э. Ананиашвили.
Николай Любимов. Главы из книги: Неувядаемый цвет.
Воспоминания о Борисе Пастернаке.
Ирина Муравьева. Филимон и Бавкида. Повесть.
Леонид Зорин. Новая повесть.
Александр Мацкин. По следам века. Пестрые заметки.
Анатолий Приставкин. Новая повесть.
Вячеслав Пьецух. Новая повесть.
Елена Ржевская. Прошедшее еще предстоит.
Александр Топчян. Требуется определить. Повесть.
Марк Харитонов. Из книги «Способ существования».
Резо Чейшвили. Разбойники. Повесть. Перевод с грузинского.
Рассказы Анара, С. Васильевой, К. Воннегута, А. Гребнева, И. Клеха, А. Кима, Д. Маркиша, А. Мамедова, Е. Попова, У. Сарояна, А. Хургина, Н. Шмелева, А. Эппеля и др.

Новые поэтические произведения:

Булата Окуджавы, Инны Лисянской, Семена Липкина, Евгения Рейна, Геннадия Айги, Владимира Леоновича, Генриха Сапгира, Елены Крюковой, Бориса Евсеева, Ольги Седаковой, Виктора Кривулина, Владимира Строчкова, Александра Левина, Александра Белякова и других.

Из литературного наследия — стихи Бориса Слуцкого, Владимира Еременко.

Новые переводы стихов — немецкого поэта Гюнтера Айха (1907—1972), американца Уоллеса Стивенса (1879—1955); авторов «ближнего» зарубежья Шота Нишанидзе (Грузия), Норайра Багдасаряна (Армения), Кнутса Скуениекса (Латвия), Мадли Морелл (Эстония) и других.

Статьи Дмитрия Фурмана, Юрия Суровцева, Сергея Филатова, Бориса Диденко, Ильи Старина, Андрея Измайлова, Льва Вершинина, Дениса Драгунского.

Серия дискуссионных статей на тему: «Национальные диаспоры. В каких случаях они становятся «пятой колонной»?»

Критические статьи, размышления и эссе Андрея Туркова, Александра Архангельского, Андрея Немзера, Андрея Дмитриева, Руслана Киреева, Аллы Марченко, Агнера Хузангая, Кнутса Скуениекса, Ивана Дзюбы, Сергея Федякина.

Постоянную рубрику ЭХО продолжает Лев Аннинский.

Журнал «Дружба народов» учреждает две литературные премии за лучшие публикации года.